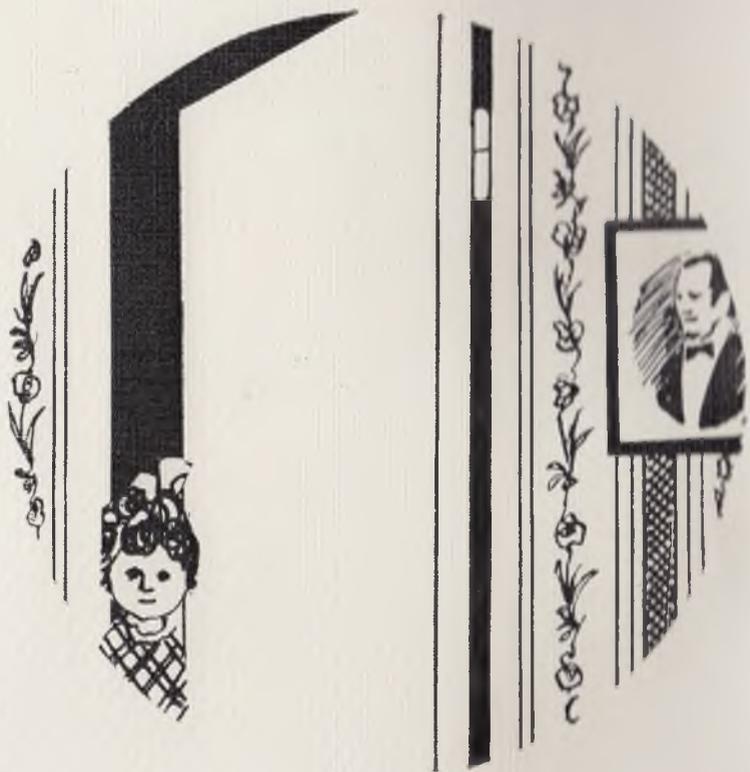


1 руб.



Г

ИННА ГОФФ



ПРЕВРАЩЕНИЯ

ИННА ГОФФ ПРЕВРАЩЕНИЯ



ПОВЕСТЬ ВОСПОМИНАНИЙ

Рассказы



Москва
Советский писатель
1984

ПРЕВРАЩЕНИЯ

ПОВЕСТЬ ВОСПОМИНАНИЙ



Виде воспоминаний чудес-
собрен шора, как для сбора гра-
ды и ягод, как для жайва...
К полевку серво каше
налету уже втягено шма,
зрелиши глазами каше каше.

художник *Г. Ванюшкина*

ГОФФ И. А.

Г 57 Превращения. Повесть воспоминаний: М.: Советский писатель, 1984.—280 с.

Имя Инны Гофф известно широкому читателю. Ее перу принадлежат книги «Телефон звонит по ночам», «Юноша с перчаткой», «Знакомые деревья» и другие.

В новую книгу вошла повесть воспоминаний «Превращения». Второй раздел книги — «Переполненная чаша» — представляет собой рассказ-исследование об истории отношений А. П. Чехова с писательницей Л. А. Авдиловой.

4702010200—294

Г 083(02)—84 35—84

Р 2



Психологи считают, что беспричинные слезы у маленьких детей вызваны отсутствием воспоминаний. Дети томятся, потому что им еще не о чем вспоминать.

Воспоминания — благо, они необходимы душе. Человек рожден, чтобы помнить и вспоминать. И запоминать он начинает задолго до того, как его посетят первые воспоминания.

Комната, залитая утренним солнцем, высокая финиковая пальма с опахалами перистых листьев возле окна, старое пианино с желтыми костяными зубами. На стене картина — мальчик и девочка, бегущие за бабочкой по краю пропасти, и Провидение в виде женщины в длинном одеянии, раскинувшей руки в оберегающем жесте. Нагретый солнцем желтый паркет и детская кровать с сеткой. Летом, когда появлялись мухи, кровать эту занавешивали марлей. Под марлей было душно. Ребенок спал, приоткрыв рот, и мухи, проникнув под марлю, заползали туда. О это отвратительное ощущение мухи во рту, которую иногда во сне ребенок прикусывал и выплевывал! Почему это запомнилось? И почему тогда не приходило в голову сказать об этом взрослым? Пожаловаться? Возмутиться? Ребенок просто терпел это отвратительное, терпел, как терпит животное. Но память, которая была как бы старше, мудрее его, трехлетнего, уже складывала в свой запасник первые воспоминания.

Я думаю, что именно наличие воспоминаний отличает человека от животного и делает его в наивысшей степени человеком. Заметьте, — я не говорю о памяти. Памятью, тем более чувственной, обладают лошади, собаки и птицы. Воспоминания свойственны лишь человеку. И чем более он развит, чем выше потенциал его личности, тем сильнее в нем желание вспоминать.

Главное — правильно выбрать время. Для воспоминаний существует пора, как для сбора грибов и ягод, как для снятия урожая с полей и фруктовых деревьев. К полувеку дерево нашей жизни уже отягчено ими, зрелыми плодами нашей памяти. Перележавши, они потускнеют,

утратят вкус. Собранные до срока, будут зелены и незрелы.

Воспоминания надо писать в молодости, — справедливо заметил кто-то. Во всяком случае — пока голова свежа.

Я родилась в старом городе на Украине, в октябре... Но оставим скучную хронологию. Тряхнем дерево нашей памяти! Пусть дружно сыплются с него спелые плоды и в тени листья остаются лишь те, которым еще предстоит дозреть.

ДОБРЫЕ РУКИ

Ее звали Мария Осиповна. У нее была черная клеенчатая шляпа и кожаная сумка на ремешке, надетом через плечо, как у трамвайного кондуктора. Лицо доброй козы и даже, как положено козе, седая бородка, растущая сбоку, из родинки на щеке. Она гуляла со мной и толстухой Зитой, моей первой подружкой. И первой рифмой. Зарифмованная с паразитой, она ничуть не обиделась и веселилась не меньше меня.

Мария Осиповна водила нас в городской сад. Мы приходили туда утром и гуляли часа три по тихим аллеям, среди опавших мокрых листьев, складывая их в пестрые букеты. Собирали желуди, похожие в своих тубетейках на смуглых бритоголовых монголов, и лакированные шарики — каштаны. Запах прели, капельки висящего в сером воздухе тумана, унылая, как осень, старая одинокая женщина — в холодные дни она мерзла и на ее покрасневшем носу тоже висела капелька — и две жизнерадостные девочки.

Нам с Зитой было тогда года по четыре. Она была румяной, добродушной, смеялась басом, и на одной ее щеке появлялась ямочка.

Такой и осталась она — толстой и добродушной. Работает врачом в роддоме, который стоит на тихой, благой улице, среди чопорных старых домов. Здесь рано ложатся спать.

— А у нас как в кафешантане, — смеется Зита. — Всю ночь горит свет и машины подъезжают...

Как-то в дежурство она вела роды. Ночь была летняя, теплая. Окна открыты. Зита, готовясь принять младенца, бодрила рожицу возгласами:

— Давай-давай! А ну, давай еще!..

В три часа ночи зазвонил телефон. Подошла нянечка, тетя Фрося: — Слухаю! Хорошо, я пэрэдам!.. — И, негромко, Зита: — Звонили из того дома, що напротив. Казалы, щоб кинчалы командовать, бо воны бильш нэ можуть!..

Сколько моих земляков приняли эти добрые руки. Встретили их у входа в жизнь.

— А тяжелые случаи в твоей практике были? — спросила я.

Зита помолчала.

— Каждый врач имеет свое кладбище, — сказала она.

Мария Осиповна никак не походила на гувернантку, и это очень возмущало жену моего дяди, красавицу Асю.

— Дети все выпитывают, — говорила она, высокомерно щури голубые близорукие глаза, — вот вырастет и будет как Мария Осиповна...

Но бабушку не пугала мысль, что я стану как Мария Осиповна. Они вместе учились в гимназии, и, встретив ее случайно на улице — одинокую, в большой нужде, бабушка просто придумала способ, как ей помочь.

Влияние бабушки на меня было слишком сильным, соперничать с ней не мог никто. Даже мои родители. Может быть, потому, что я принадлежала им, а бабушка — мне.

Когда я появилась на свет, ей было под шестьдесят. Она уже овдовела и жила с нами — с дочерью, зятем и внучкой. Она была уже седая, серебряная. Мои подруги называли ее беленькой бабушкой, в отличие от другой моей бабушки — черненькой, матери моего отца.

Та, другая, бабушка приезжала к нам изредка из Одессы, и я называла ее бабушка Вера. А эта была для меня просто Бабушка.

Она родилась в том же году, что и Ленин. По характеру и своим убеждениям Бабушка вполне могла стать революционеркой. С ранних лет она тяготела к свободомыслию

и в годы юности прятала под матрац запретную книжку Чернышевского «Что делать?». И это ей, студентке-медицке в Варшаве, основательнице студенческой столовой, бросил в лицо жандармский чин: «Если узнаю о сходках — сгною!..»

Революционеркой она не стала, но всегда оставалась в рядах сочувствующей интеллигенции.

Написала слово — интеллигенция — и задумалась. Что стоит для меня за определением — и н т е л л и г е н т н ы е л ю д и? Почему так радует сейчас каждая встреча с интеллигентным человеком? Не потому ли, что это редкость?..

Мы слишком часто подменяем этим понятием другие, весьма распространенные. Между тем ни происхождение — «из интеллигентной семьи», ни образование — «У меня как-никак пара высших образований», — сказала в беседе со мной одна киевлянка, — ни даже профессия, сама по себе принадлежащая к разряду интеллигентных, еще не дают права на это высокое звание.

Необходимо сочетание глубоких знаний в избранной области с живостью ума, позволяющей мыслить широко и понимать людей. Не только тех, кто близок тебе, складу твоей души, но и своих антиподов. Склонность к самоанализу, развитое воображение, демократизм поведения.

Как часто встречаются эти качества, не сочетаясь и не образуя того редкого и драгоценного сплава, который чем реже встречается, тем более входит в цену.

Сочетанием этих качеств обладала моя Бабушка.

Рано осиротев, она воспитывалась у своего дяди, инженера-химика, служившего в Сумах, на сахарном заводе Харитоненко. Любимый ученик Менделеева, мой прадед, разработал технологию и выпустил первую партию рафинада — раньше в России употреблялся лишь колотый сахар.

Бабушка выросла на Украине, в окружении полусельского быта. Там выучилась она всякой крестьянской работе — печь хлеб, топить печи, доить коров. Народные песни и сказки, названья цветов и трав — все оттуда, из деревенского детства. Оттуда и юмор, и шутка, порой грубоватая, — жеманство ей было чуждо.

Мечтой ее жизни было возделывать землю, работать

в саду. Наблюдать, как из семени вырастает стебель, а из завязи возникает плод...

Но случилось иначе. Большой город. Гимназия. Репетиторство в плату за хлеб и угол. Потом **Варшава**, медицинские курсы американца Леви, — диплом по их окончании был приравнен к университетскому.

Веселые годы студенчества, голодный обморок на лекции и первый приз за мазурку. Не где-нибудь — в столице мазурок, Варшаве...

И все это осталось в ней потом, когда стройная, с тонкой талией и живыми карими глазами на скуластом калмыцком лице, пани Бомаш — так называли ее в Варшаве — вышла замуж за молодого талантливого экономиста, еврея немецкого происхождения, голубоглазого Пауля Беркмана. Директор крупного акционерного общества, он мог окружить роскошью молодую жену и двух детей — сына и дочь. Но его жена — «мадам Беркман», так называли ее теперь — не любила сидеть сложа руки, к драгоценностям была глубоко безразлична, одевалась со вкусом, скромно. Она сама растила детей, сама готовила Паулю завтрак, провозжая его по утрам на службу. Ее дом славился хлебошольством и сумскими пирогами, которые молодая хозяйка пекла по своим, ей одной известным рецептам.

На одном из обедов — они жили тогда в Херсоне — какой-то высокий приезжий гость спросил моего деда, не уступит ли он ему свою кухарку: «У меня так часто бывают торжественные приемы, а вы живете в глуши!»

Он был несказанно смущен, узнав, что кухарка — хозяйка дома.

Вот такая досталась мне Бабушка. Она мечтала огородничать, выращивать цветы. Но довелось ей растить меня. И если что сделано мною в жизни — это плоды ее воспитания. Я не помню, чтобы она мне прочла хоть одну нотацию. Она читала мне Пушкина и Крылова, Гоголя и Шевченко.

Она все делала весело. Я любила смотреть, как вздымается сдобное тесто под ее руками. Как, выстирав белье, она ловко орудует ребристым деревянным предметом, со странным названием «рубель». Как танцует по солнечному паркету, надев на ногу полотерную щетку.

Когда я болела, мы играли с ней в карты — в «подкидного дурака», «ведьму», «пьяницу»... Но никогда не делали ставок, я даже не знала, что можно играть на деньги.

Перебирали вместе крупу — гречку, пшено. И бабушка говорила: будь в доме курица, она бы вмиг склевала просо — и пшено стало чистым.

Работая, бабушка вспоминала прошлое. Часто пела. У нее был тогда еще довольно сильный, совсем молодой голос — меццо. Помню из «Корневильских колоколов»:

Еще раз, еще раз, еще раз,
Слувик муй, повтуж спев.
Еще раз, еще раз, еще раз
Нехай в жилах звгже крив...

Кроме русского она в совершенстве знала украинский, немецкий, польский.

СКАЗКА О РЕПКЕ

Из куколки стала бабочка, из девочки стала бабушка. Моей внучке Кате четыре месяца. Она родилась в апреле, и дерево моей жизни как бы выбросило новый свежий побег. Мне хочется называть ее не внучка, а внучь. Самое слово в н у ч к а как бы уменьшительное, в отличие от солидного — в н у к. Дочка — внучка, дочь — внучь.

Сейчас ей четыре месяца. Я наклоняюсь к деревянной кроватке, и Катя, лежа на спине, работает руками и ногами, как бы ко мне бежит. Ее маленькие ноги еще не ступали по земле. Пальцы с продолговатыми розовыми ногтями едва научились захватывать пластмассовый шарик. Но два серо-голубых глаза внимательно смотрят на склоненное к ней родное лицо. На шевеленье зеленых ветвей в саду, над коляской, и летнее небо. На яркую вечернюю лампу. Ее пугает стук лифта и радуется песня. Она запоминает то, чего не сумеет потом припомнить. Или сумеет?!

Склонившись над ней, я вдруг почувствовала свое большое лицо. И вспомнила, что надо мной склонялись когда-то большие лица. Значит, память об этом жила в моем подсознании полвека. И только Катя вызвала это воспоминание, которое не пробудил бы иной младенец.

Здесь нужна лишь живая, кровная связь. Третье рождение.

Наше второе рождение — наши дети — еще слишком близки нам. Они являются в мир слишком скоро, не дав нам созреть для великой миссии.

Мы любим их жесткой и требовательной любовью,

как любят старшие братья меньших. Наши истинные дети — наши внуки.

Полноценное детство познали лишь те из нас, кто имел в воспитателях бабуку и деда.

Как тут не вспомнить сказку о репке: «Бабка за дедку, внучка за бабуку, Жучка за внучку...» Постойте! А где же родители? Почему после бабки не следует тятка? «Тятка за бабуку, мамка за тятку»?.. И дальше уж внучка, Жучка и прочие?..

Народные сказки не врут. Тятке с мамкой, видимо, не до репки, и держится внучка за бабуку с дедом. Тянут-потянут, глядь — и вытянули!..

Я училась в шестом классе, когда началась война. Она разбросала нас по земле, но, уцелевшие, мы иногда встречаемся. Мои земляки, приезжая в Москву, приходят ко мне. И я бываю у них, когда выдается случай.

Мы — взрослые и уже далеко не молодые люди — остались одноклассниками в душе, учениками шестого «Б»...

Закончи мы школу вместе в положенный год, кто знает, осталось бы в нас это щемящее чувство?..

Мой одноклассник, крупный клиницист, потомственный врач, — по старой памяти я зову его Юркой — приехал на днях в Москву. В нашем классе он был на виду — отличник, спортсмен, драчун. И теперь, как во всякий приезд, он пришел повидаться. Увидел Катю, спящую, розовую после купанья, и прочувствованно сказал:

— Внуки шестого «Б»!..

Бабушка была деятельна, энергична. Но не напориста, что так неприятно в женщине. Она не лишена была даже некоторого кокетства.

Уже в глубокой старости любила рассказывать, как в гимназии учитель танцев во время урока делил учениц на солисток и кордебалет.

«Грации в сторону! — сказал он. И когда гимназистка Бомаш замешкалась, повторил, обращаясь к ней: — Я же сказал, грации в сторону!» — «Простите, господин учитель! Я не знала, что я грация!..»

Сколько раз я слышала эту историю. И другую. Как в Варшаве к ней привязался лысоватый студент. У поля-

ков, что ее приютили, была горничная Анеля. Студент ей не нравился, не такой, по мнению горничной, нужен жених бардзо пенкной пани Бамаш. Вот пришел он под вечер, стемнело уже, а Анеля все не приносит лампу. И — на вопрос, почему она медлит, — «Мысляла, паньска лысына свѣтел!»...

БАБУШКИНА БРОШКА

У Бабушки была любимая брошка, сделанная по ее заказу, — два соединенных овала и в них белокурые мальчик и девочка. Эти детские лица были мне хорошо знакомы. Они смотрели на меня и с двух больших портретов, висевших в столовой, по обе стороны резного буфета, похожего на замок с башенками. На одном портрете они были сняты со своим сумским дедом. Оба в костюмах типа матроски, в соломенных шляпах, поля которых окружали их головы как ореол. На другом портрете были те же дети, — мальчик сидел на трехколесном велосипеде, а девочка, стоя позади на раме, держалась за его плечи.

Эта девочка с крупными кольцами светлых волос и зелеными, как виноград, глазами давно выросла и была мне мамой. Маму я видела редко — перед сном, когда она приходила пожелать мне спокойной ночи. Или в выходной день, — в то время еще была рабочая шестидневка. А больше летом, в пору отпуска. Девочку на портрете я знала по бабушкиным рассказам, и она была мне еще ближе этой выросшей, взрослой мамы, которая меня любила болезненно, вечно чего-то пугаясь. В отличие от Бабушки, она мало со мной разговаривала, ей больше нравилось читать мне вслух.

После ванны — колонка у нас топилась дровами — завернутую в простыню меня приносили в комнату, укладывали в чистую постель, давали что-нибудь вкусное, лакомое, и мама с книжкой садилась рядом.

Это называлось у нас полное удовольствие. Она читала мне старинные книжки, которые сама любила ребенком. Детскую эпопею Луизы Олькотт, «Маленького лорда Фаунтлероя». Сентиментальные в меру, с ненавязчивой и не скучной моралью, это были хорошие книжки, каждая с благополучным концом. Мне кажется, полное удовольствие в те вечера мы с мамой испытывали в равной степени. Перечитывая вместе со мной приключения Джека и Джиль или читая о том, как бедная малень-

кая принцесса, живя на чердаке, кормила мышку со странным именем Мильхеседек, моя мама заново все это переживала вместе со мной.

Старые города пахнут иначе, чем новые. Город, где я родилась, был пропитан запахом пыльного камня, сухого дерева, раскаленного кровельного железа. Он пропах кошачьей мочой и керосином, жареным луком и гниющими на свалках овощами. Все это, вместе взятое, образует сложный запах, свойственный большим старым городам, будь то Рим или Париж, Львов или Харьков.

Я родилась в большой квартире, где из шести комнат две были наши. Такие дома назывались прежде доходными. Когда дом был построен, моей маме исполнилось десять лет. И в этом же доме я родилась. Деда в живых уже не было. Комната, где мы жили с бабушкой, смотрела окном во двор, а другая — в ней жили мои родители — на улицу. Там было пять окон, соединенных в один закругленный закрытый балкон.

Старинные вещи в соседстве с новыми окружали меня в раннем детстве. Пианино, бамбуковая ширма с желтыми подсолнухами на черной ткани, деревянный лёдник, — холодильников еще не выпускали. В лёднике был металлический резервуар, летом в него закладывали лед, взятый в магазине, и держали там масло, сметану. Зимой он служил обычным шкафчиком для продуктов. Была еще этажерка со статуэтками. Мне особенно нравились фарфоровые японцы, которые к и в а л и. В нашем доме было много японских вещиц — бумажные, разрисованные золотом веера, кимоно, шкатулки, раковины. Все эти вещицы привез в качестве сувениров брат Бабушки, участник русско-японской войны.

Молодым врачом, из Петербурга, он был призван в действующую армию накануне назначенной свадьбы. Боясь, что его могут убить, он отложил женитьбу и уехал, оставив невесту в безутешных слезах.

— Он меня не любит! Не любит! — рыдала она, намочив слезами платье золовки. — Соня, скажи, как мне жить без него?..

И золовка ее, моя Бабушка, сама молодая в ту пору женщина, сказала:

— Езжай к нему! На твоём месте я бы поехала!.. Это сказано было твердо, решительно. И невеста поехала к жениху. Через всю осеннюю Россию, через всю Сибирь и ее заснеженные бесконечные поля. Он встретил ее с хризантемами, и в тот же день они обвенчались. Родилась дочь Любовь, а за ней вторая — Вера.

В глубокой старости брат Бабушки вспоминал иногда те дни. На любительской фотографии он с женой сняты в китайской лодочке-джонке. Он в военной шинели, она в бархатной шубке и круглой шапочке.

Была и еще фотография: молодой врач в военном мундире, с саблей на боку, снят верхом на лошади.

ЗАПОМНИМСЯ ИЛИ ЗАБУДЕМСЯ?

Книги и путешествия — вот что я любила в детстве! (Впрочем, книга сама по себе — путешествие).

Но путешествие все-таки... Чемоданы, портпледы с подушками и одеялами, чайник, еда в дорогу — обязательные крутые яйца, помидоры, соль в спичечном коробке.

Поезда южного направления проходят наш город ночью. Меня укладывают полуодетую среди еще разбросанных, неупакованных вещей, под яркой лампой, и я как убитая засыпаю. А когда меня будят, все уже готово — уложено, связано. Вокзал далеко от нашего дома. Автомобиль везет нас через весь непривычно пустой ночной город. Мне одиннадцать лет. У меня каникулы. И я уезжаю надолго.

Сна как не бывало. Вот безлюдный сейчас переулок, там спит крепким сном моя лучшая подруга. Она похожа на лисичку — хитровато-наивная, смешливая девочка с тонкими чертами лица. Мы смеялись на уроках, и нас рассадил. Но мы все равно смеемся. Стоит лишь встретиться взглядом. И на переменах держимся за руки.

Однажды нас хотели разделить более решительно — по разным классам. К директору школы пошли депутаты — наши отличники в красных галстуках: «Таких подруг разлучать нельзя!»... Директор смирился. А мы еще крепче держались за руки, словно боясь потеряться. Нас разлучила война. Встречаясь, мы стараемся восстановить то родственное общение, то богатство истинной дружбы, которое столь же редко, как истинная любовь.

— Вспомни что-нибудь, — прошу я. — Ну, пожалуй-स्ता!..

Она задумывается.

— Однажды мы навесили на уши вишни как серьги и пошли в таком виде по городу,— говорит она.— И один прохожий сказал: «Вы бы еще огурцы навесили!»..

— У тебя часто развязывались шнурки на ботинках,— говорит она.— Как-то после уроков мы сидели на высоком подоконнике в школьном коридоре, и какой-то мальчишка вызвался тебе их зашнуровать...

Почему тогда нам вместе было так весело? Наши фантазии вызвали у нас тот беспричинный восторг, который способны испытывать только художники и малые дети.

А тогда мне так нравилось покидать на все лето свой город. Теплая летняя ночь. Вокзал освещен. У него своя бессонная жизнь. Перрон с запахом гари. Проводник поднимает фонарь, разглядывая билеты. Плацкартный вагон, полки в два этажа,— на третьей, у потолка, стоят чемоданы. Купе без дверей. Люди спят, кто-то храпит, и чья-то маленькая рука безвольно свисает с полки.

Девочка или мальчик? Не все ли равно! Завтра мы познакомимся и будем рядом стоять у окна. (Поезда в ту пору ходили медленнее, стоянки были длиннее, и все это больше походило на путешествие.)

За опущенным стеклом поворачиваются бесконечные золотые поля, мелькают сторожки путейцев, тянутся села, крытые соломой белены хаты.

Козы смотрят вслед поезду, босые дети машут с крыльца. Запах дыма и сена, постукивание колес на стыках, междупутья и платформы, посыпанные тертой морской ракушкой. Чем ближе к югу, тем более она раскалена...

Ветер первых странствий
До сих пор во мне.
Мальчик коренастый
Промелькнул в окне.

Будто бы на посох,
Опершись на кнут...

Это потом уже, студенткой Литературного института, напишу. Откуда-то выплывет, станет стихотворением — в институт меня приняли за стихи.

Девочка на полке
Не могла заснуть.
Подбегали елки
К самому окну.

Проплывал как в сказке
Месяц над рекой,—
В сказке о подпаске,
Что махнул рукой.

Было так легко мне
Верить в те года,
Что меня запомнил
Мальчик навсегда...

Наивность и мудрость детства. Сочетание это лежит в основе всех трагических ситуаций. Чувствовать мы научаемся раньше, чем понимать.

Пролетел как ветер
Всадник на коне,
Не меня заметил,
Помахал не мне.

В голубом пространстве
Перестук копыт...
Скрылся. И — забыт.

Так кончалось это стихотворение. Мне было двадцать лет.

Наивность и мудрость юности!..
Так что же? Запомнимся или забудемся?!

Шестилетнюю, меня повезли в Лугу. Там, на даче, снятой ленинградской родней, мы провели целое лето. Оно было дождливое, пахло мокрыми елками и грибами. Солнечных дней я не помню, только ясные вечера на закате.

Наша деревянная дача стояла на широкой улице, позади недействующей старой церкви с высокой папертью, на которую мы с детской жестокостью затаскивали девочку лет двух-трех и злорадно смотрели, как она пытается с неё слезть и боится.

Церковь эта была забита, но другая, подальше, видимо,

работала, потому что по нашей улице каждый день проходил поп. И здешние дети научили меня при виде попа хвататься за пуговицу. Тех детей я уже не помню, и речь не о них. Были сестрички старше меня, ленинградки. Две милые девочки, жившие поблизости. Мы подружились, гуляли под надзором взрослых в лесу, где медленно созрела брусника, а спелой черникой наши губы и пальцы были выпачканы, как чернилами. Помню сквозь морось и сырой воздух розовые лица и живые темные глаза этих девочек. В погоду безнадежно плохую мы с мамой под черным зонтиком отправлялись к ним в гости. У них на даче была веранда, и там мы рисовали под стук дождевых капель и переводили картинку, такие же неожиданно яркие под слоем сошедшей бумаги, как ясное небо в конце серого дня.

Но лето кончилось, незаметно перейдя в дождливую осень. Наступил отъезд.

Мы с мамой в последний раз пошли под зонтиком к моим летним подружкам — прощаться. Помнится, — после чая. А к ужину возвратились домой. На другой день — тоже к вечеру — мы уезжали. Сперва в Ленинград, а оттуда — домой, на Украину. Мама справедливо рассудила, что в день сборов ей будет уже не до того, что проститься надо накануне.

Но тут случилось неожиданное. Вечером, перед сном, я начала плакать. Шел дождь, и я, шестилетняя, плакала под его шум так горько, так безутешно, как редко потом плакала в жизни. Помню то ощущение вечной разлуки, потери, вызванной прощанием с маленькими ленинградками, которых я больше никогда не увижу. Откуда взялось это убеждение, что именно — н и к о г д а!.. Может быть, мама, сама того не ведая, слишком обставила это — п р о щ а т ь с я...

Я была неутешна в своих слезах. Я захлебывалась ими, барахталась в них, как в волнах. Мне не хватало воздуха. Мама была растеряна этим приступом детского горя и, когда наконец поняла, почему я рыдаю, обещала завтра еще раз меня туда повести. И утром действительно повела.

Я опять увидела моих подружек. Только что умытых, аккуратно причесанных.

Но накануне я уже пережила разлуку с ними, оплакала их, отторгла их от себя. И спокойно, почти равнодушно восприняла эту лишнюю, добавочную встречу.

Мне об этом никто не рассказывал. Все это я помню

сама — то дождливое лето, и свое горе, и равнодушие на другой день. Спокойные игры перед сном — это прекрасно. Но прекрасны и слезы перед сном, и переживания, и детский восторг...

Так рождается душа.

Сколько разлук, расставаний уготовила мне судьба. Отрочество совпало с войной. Длинное, как товарный эшелон, самое слово — э в а к у и р о в а н н ы е. Перемещения, переезды, кочевой неустроенный быт. Одних только школ переменила я шесть, пока закончила десятилетку, — Харьков, Казань, Томск, Загорск...

А сколько знакомств, этих внезапных магнитных притяжений с насильственным отрыванием, возникало в пути, в суе перронов и плохо освещенных поездах, на станциях, где слово КИПЯТОК было выведено крупнее самого их названия...

Кипяток! Кипяток! Станция Кипяток!..

И РУКА НЕ ДРОГНУЛА

Но еще длится мое беспечное детство...

Скифское золото — воспоминание о Евпатории. Отдельное, как амфора на дне теплого моря. Достаяю ее, и как из волшебного рога сыплется из нее золото — золото пляжа, золото света, золото рыбных коптилен... Золотое детство — не отсюда ли?..

Своя у каждого золотизна.

Отца мобилизовали и как детского врача направили в Евпаторию, в новый, тогда только основанный детский санаторий РККА. Устроившись, он приехал за нами. Было начало лета тридцать пятого года, а возможно, конец мая. Но в городе нашем было уже пыльно и жарко, как в середине июля. Отец — черноволосый, с черной бородкой-эспаньолкой, в белом кителе с красными шпалами, по две в каждой петлице. Майор медицинской службы. Ему очень шла летняя военная форма, и мне нравилось идти рядом с ним по улице, держать его за руку, чтобы все видели — это мой папа.

Врачи санатория жили в длинном доме с двумя верандами, верхней и нижней. На веранду выходили двери всех комнат, и та часть, что против двери, была продолжением комнаты, — в жару здесь было прохладно. Веранды смо-

трели в сад, где росли большие старые акации, шелковицы и абрикосы.

В этом саду мы играли обычно под вечер, перед сном. С утра нас водили к морю. Детей было много, но мы дружили особенно — два брата, Саша и Женя, и мы с Галей. Саша был среди нас самый взрослый, он уже перешел в третий класс.

Но мы, семилетние, воспринимали его как равного. Он был добрый мальчик, и когда, забравшись на шелковицу, целился в меня из рогатки, то лишь затем, чтобы поугагать. Чаше же он клеил на веранде коробочки из картона. Такая коробочка, смазанная клеем, обкладывалась потом ракушками — замочками и веерками. Получался красивый ларчик. Почти такой же красивый, какие продавали у входа на пляж местные кустари.

Саша клеил ракушечные коробочки и всем дарил. Он был высокий, светленький, загар плохо к нему приставал. Зато Женя был как негритенок — худой, подвижный, в красных трусиках ниже пупка. А Галя — плотная, с челкой коротко стриженных волос — была очень самостоятельная. Под ее пятками дрожали полы обеих веранд.

Как-то в самодеятельном концерте на эстраде в курзале, в городском саду, Галя исполняла танец, который назывался «полька с куклой». Я очень завидовала ее успеху, ее розовому, с оборками, платью. Она сажала куклу на стул, грозила ей пальцем, потом брала ее в руки и с ней танцевала. И эстрада дрожала от ее топота, как наша веранда, зрители дружно хлопали, а мы — Саша, Женя и я — громче всех.

Мы очень дружили. Делали бусы, нанизывая на нитку ракушки. У каждого из нас была коробочка с шелковичными коконами, похожими на маленькие войлочные яички. Играли в «санаторий» — брали дома свой ужин и съедали его за деревянным столом, в саду, под акацией.

Существует ошибочное мнение, что единственные дети по натуре — индивидуалисты. Я была единственным ребенком. Но как тянуло меня к детям, сверстникам! Как я жаждала общения с ними! И не просто игр — некоего общего уклада жизни: вместе садиться за стол, в одно время укладываться спать. Так сказывалась неосознанная тоска по сестре или брату, которыми обделила меня судьба.

Как-то Женя и Галя таинственно сообщили мне, что поженятся, когда вырастут.

— А ты поженешься с Сашей, — сказала Галя, как о деле решенном.

Я была не вполне уверена, что хочу пожениться с Сашей, но согласилась, — не разбивать же компанию.

Сохранился снимок — веранда и мы четверо. Впереди Женя и Галя, а мы с Сашей за ними. Галя смотрит исподлобья, Женя — в упор, и пуп торчит у него, как кнопка звонка. Саша застенчиво улыбается, я — тянусь подбородком из-за Женькиной головы, и глаза возбужденно блестят...

Осенью Саша и Женя уехали в Москву. Спустя полгода и мы вернулись в Харьков. Моя мама записала у всех адреса, — она запомнила мои рыдания при отъезде из Луги и с тех пор всегда при перемене мест записывала адреса мимолетных знакомых — для меня. На всякий случай. Адрес маленьких москвичей Саши и Жени хранился у мамы в потертом блокноте. Каким-то чудом он уцелел среди прочих старых бумаг. Предвоенные годы, война, и сверху уже лет пятнадцать. И вдруг этот московский адрес — Усачевка, дом номер... А может быть, есть телефон?.. Оказалось, есть. Значится в телефонной книге. Надо только его набрать — и окажешься в детстве, в золотой Евпатории. Машина Времени даст задний ход. Надо только его набрать, этот номер...

Набрала. И рука не дрогнула. Женский голос ответил: — Слушаю!..

Я не знала, как обратиться. И как представиться. — Я смогу объяснить, если вы мама Саши...

— Да-да! Я его мама... Кто это? Кто это?.. — раздалось испуганно в трубке. Я слышала частое, короткое дыханье.

Сказала, что жили вместе летом. Еще до войны. В Евпатории. И вот случайно нашла телефон — и захотелось узнать...

Трубка молчала. Только частое дыханье на том конце трубки подтверждало, что меня слушают.

— Простите, — голос звучал глухо. — Я взволновалась... Меня давно уже так не называли — мама Саши... — (Молчание.) — Саша погиб в сорок первом году, под Севастополем... А Женя умер два года назад от туберкулеза... Работал врачом на Крайнем Севере и там заболел. Скоротечная форма... Какой он был красавец!.. Дочка осталась, рашу ее. Приходите, пожалуйста!..

Положив трубку, я долго сидела оцепенев. Потом оделась и вышла на зимнюю улицу. Был вечер, светлый от

снега. Я шла без цели, без желания встретить кого-то, поделиться. Машина Времени не игрушка, обращаться с ней надо бережно. Повернул колесо — расплачивайся!..

И теперь я расплачивалась. Через океан разделившего нас времени виделись мне их детские лица, а после, уже невозполнимые зрительно, тянулись две линии — жизнь одного и жизнь другого... Гибель Саши в войну можно было предугадать, — ведь он из того трагического поколения, которого на земле почти не осталось. Но смерть Жени в мирные дни была какой-то жестокой нелепостью...

Я шла по вечерней, уже пустеющей зимней улице, и мне все слышался испуганный, ожидающий голос:

«Да-да!.. Я его мама!..»

ТАКОГО МОРЯ УЖЕ НЕ БУДЕТ!..

Море... Везите детей к морю. Если есть такая возможность — познакомьте их с морем. Его надо увидеть в детстве, лет семи — девяти, не старше.

Такого моря после уже никогда не будет. Будет другое море, спокойное или грозное, не понятное до конца, вызывающее сложные и бесполезные мысли о вечности и о бренности... Море взрослых.

Между детством и морем знак равенства. Беспечность, ликование — и внезапные смены погоды и настроения, ощущение вечности бытия...

Как смело мы в детстве входим в море!

Евпаторийское море, первое в моей жизни. Теплая, солоноватая вода. Золотой песок из перетертой волнами в муку морской ракушки. Мелководье с маленькими крабами и рыбешкой, — они видны сквозь прозрачную воду. Мы руками выкапывали ямки в песке пляжа — за сухим шел влажный, за влажным — мокрый, и наконец, когда глубина ямки уже во всю руку, почти по плечо, — показывалась вода. Получалось маленькое самодельное озерцо. В него мы пускали рыбешку и крабов, которых ловили в море, зачерпнув воду ладонью.

Мама боялась дневного жгучего солнца, и на пляж мы с ней приходили с утра. Было пустынно, море еще слегка туманилось и потом на наших глазах становилось голубовато-зеленым. Морская вода делалась цвета морской воды — а к в а м а р и н о в о й.

В эти ранние часы у моря с нами была лишь мама, приятельница, молодая смуглая женщина по фамилии Доценко. Она и ее муж работали врачами в том же санатории, что и мой отец. У них был мальчик Сережа, слишком маленький, как мне казалось, хотя был он лишь на год моложе меня.

Доценко сбрасывала сарафан и в купальном костюме — сатиновых трусах и лифчике — бежала к морю. Костистая, с острым вздернутым носом, жизнерадостная, она мне очень нравилась. Особенно когда пела:

Выходят в море миноноски
Поздним вечерком.
Гордятся наши краснофлотцы
Кимовским значком.

Эгей, моряки,
Страну береги...

Она была моложе мамы лет на десять, что делало ее человеком другой эпохи. Детство мамы прошло при царе, детство Доценко уже при Советах. И отпечаток этих разных эпох лежал на каждой, был явственным, не мешая общению и дружбе.

Выйдя из моря, она ложилась ничком на песок — он быстро нагревался под солнцем — и загорала. Перекатывалась со спины на живот, погружала руки в песок, задумчиво пересыпая его из ладони в ладонь.

Мы на лодочке катались,
Золотистой-золотой.
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой...

Я это впервые услышала от нее.

Зимой — в Евпатории мы зимовали — мы жили рядом в новом, только что построенном для сотрудников санатория доме. Здесь еще пахло масляной краской, свежеструганым деревом. И этот запах нового жилья, столь же похожий на запахи давно обжитого дома, где я родилась и куда скоро вернусь, навсегда свяжется с Евпаторией, как йодистый запах моря и запах развешанной для просушки копченой кефали, что унизывала натянутые во дворах веревки.

Иногда сам Доценко, Сережин папа, водил нас к странному зимнему морю с мрачной водой, с ледяным припаем

вдоль голого пляжа. С моря дул жестяной ветер. Доценко показывал нам диких уток — зеленоватого селезня, качавшегося вблизи на воде, — и жалел, что с ним нет ружья.

Мы с Сережей знали, что он охотник, и за обедом нам иногда говорили, что мы едим мясо дикого кабана или медведя.

Крымская зима была резко солнечной. Выпавший снег тут же таял, вдоль узких улиц неслись ручьи. Блестели цинком и жестью крыши, сияли омытые влагой стекла. Ослепительная зима, похожая на весну...

Меня отдали в частную детскую группу, к двум пожилым грекам. Это были муж и жена. В группе нас было шестеро, два мальчика и четыре девочки.

Гречанка — рослая, носатая, добрая — водила нас по городу гулять. Мы шли, построившись парами, оглушенные блеском и грохотом талого снега. Вдруг она нервно бросала:

— Идите вперед и не оглядывайтесь!..

И дома, где они с мужем читали нам вслух детские книжки — «Нэло и Патраш», «Гуттаперчевый мальчик», — вдруг звучало:

— В дверь постучат — молчите!..

В этом было что-то загадочное, какая-то тайна. Эта тайна немножко пугала. От кого нас прячут? И что будет, если нас обнаружат здесь, в темноватой тесной комнате окошками во двор, где, нанизанная на веревки, золотится копченая кефаль и ставрида...

Мы умолкали, прижавшись друг к другу, прислушиваясь к шагам за дверью. А все объяснялось так буднично!.. Греки прятались от инспектора, не желая платить налог, положенный за ведение частной группы.

Я это узнала — или сама поняла — много позднее.

Броня детского неведенья охраняет нас от перегрузок.

Мы словно еще находимся в скорлупе, и она, как скорлупа яйца, пропускает лишь воздух и свет — самое необходимое.

БОЛЬШАЯ ЧЕТВЕРКА

Отца демобилизовали, и мы возвратились в свой город. Я не знала, что море увижу теперь не скоро — студенткой. Молодые, самоуверенные — старшему двадцать семь,

а мне девятнадцать, — мы приехали к морю. С рюкзаками, в которых были крупя и комбижир, — еще не отменили карточки, и мы запаслись продуктами на всю дорогу. От о в а р и л и с ь, как это тогда называлось.

В дирекции института нам дали бумагу к местным властям с просьбой оказывать нам, молодым литераторам, всяческое содействие. Северный Кавказ, Военно-Грузинская дорога, потом Тбилиси, Потти, Сухуми. Лютый июльский зной. Так называемая практика.

На открытых эстрадах и в маленьких клубах мы читали стихи, свои и друзей — студентов нашего института. Рабочие порта, сотрудники редакций газет и радио, курортники нас радушно встречали. Нам о к а з ы в а л и с о д е й с т в и е, и только раз за весь месяц нам пришлось ночевать в стогу соломы не по собственной воле...

Защитных очков тогда еще не носили. Мы не знали полутонов. Смотрели солнцу в глаза, и мир был окрашен для нас в ослепительные основные тона — красный, синий и желтый. Защитные очки! От солнца ли только? Они защищают от взгляда в упор, за ними прячутся подлость и боль. Человек защищается от человека, он как бы в маске. Вспомните фильм «Ночи Кабирии», — негодяй в темных очках и откровенные, сквозь улыбку, слезы в глазах Джульетты Мазины. Очки сделались частью лица, их носят зимой и летом, и они все дорожают, — человек защищается от человека...

...Море, с бегущими грядками волн, сияло радостью. Оно было морем моей юности, но не морем детства. И пахло оно иначе здесь, у Кавказского каменистого побережья. Оно вообще не пахло. Ни в Гагре, ни в Сочи море не пахло, хотя одни уверяли, что пахнет, другие просто не понимали меня и смеялись. Потом я прочла у Паустовского о том особом запахе моря, он есть только в трех местах — Евпатории, Феодосии и Керчи.

Мы не были защищены ничем — ни очками с темными стеклами, их тогда еще не носили, — ни хваткой, ни опытом. Опыт военных лет здесь не годился. Нас было четверо, но, вопреки арифметике, на два мы не делились.

Один писал письма невесте и складывал их в рюкзак — не знал ее дачного адреса. Другая скучала о первой люб-

ви, а третья питала нежность к четвертому. Зноем пылало небо, и страсти пылали на костре молодости и юга. Шумел Терек, сухо трещала камнедробилка, — за Тереком, на пологом его берегу, строилась ГЭС. А здесь, на высокоом, стрекотали в траве цикады, предвещая Великую сушь. Воздух днем накалялся, а к вечеру остывал. В ночи загорались звезды. Пахло полынью, кизячным дымом.

Мы жили в Осетинской слободке, на окраине города, в прошлом Владикавказа. И Лермонтов сопровождал нас повсюду... «По камням струится Терек...», и это, которое хочется читать шепотом, — «Ночь тиха, пустыня внемлет богу»...

Юный гений, воистину в пустыне обитала его живая душа.

Мы спали под звездами, возле беленого домика, у родичей осетинки, студентки нашего института. Верней, не спали. Бродили над Тереком, сидели на еще теплых от дневного жара камнях. Со всех сторон нас обступали декорации юга. Прошла неделя — и снова в путь.

По нашей просьбе откинут брезентовый верх машины, везущей нас через Перевал в Тбилиси. Ущелье Дарьяла, дикая, мрачная его красота. Скала «Пронеси, господи». Остановка у подножья Казбека с ржавыми от солей скалами возле источника. Пассанаури с его рестораном — запах цыплят табака и кинзы. Мцхета и ее замок — рукотворный утес, среди похожих природных. Слияние синей Арагви с желтой Курой.

И было такое место, когда дорога, резко взяв вверх, вынесла нас над горами, и мы увидели внизу орла.

Орел парил ниже нас, значительно ниже!..

В Тбилиси прибыли к вечеру. Солнце садилось. На балконах цвели олеандровые деревца. На нас оглядывались. Вьючные — с рюкзаками за спиной, краснокожие от горного солнца. Теперь такое встречается часто, а тогда еще не было в моде. Нам завидовали. Нас осуждали. На нас дивились...

В Большой Четверке — так мы называли себя — я была самой юной и, наверное, самой счастливой. Грусть о первой любви — не есть ли счастье?..

Влажный, потный Поты, минарет и базар. Полуголые эвкалипты — в июле они меняют кору — линяют. Липкая мошкара над Риони, и луна, большая, как дыня. Денег, которые нам выдали, хватило лишь до Тбилиси. Мы стали

выступать с платными вечерами. Стихи товарищей по институту мы тоже помнили наизусть. И так же гордились ими. «Знаешь, Зинка, я против грусти»...

Платные вечера поэзии. И это не было еще в моде. «Молодые московские поэты» — так значились мы в местных афишах — в Тбилиси и Поты прогорели дотла. Едва наскребли на палубные билеты.

Белый теплоход уходил на Сухуми поздно ночью. Лил тропический дождь. Это был потоп. Стена воды падала и испарялась одновременно. За дождем не слышать было голосов, трап едва различим в мокром мраке. Мы стояли на нижней палубе, навесом служила верхняя. Город, который мы покидали, был отделен от нас, словно занавесом, этой грозной, живой, шелестящей во мраке стеной. На мне был плащ из синего целлофана, — тогда они только что появились, эти плащи. С капюшоном, без рукавов, они надевались внакидку и застегивались только у ворота. Я стояла в этом плаще у мокрых перил и самой себе очень нравились. Ночное море в дожде, большой корабль, мои девятнадцать лет и этот плащ из синего целлофана. Я напевала что-то, кажется Штрауса, из «Сказок Венского леса», когда услышала грубый, с южным акцентом, окрик:

— Эй! Слезай с мешка! Помидоры подавишь!..

И правда — вся палуба была завалена торбами и корзинами. Сквозь дождь пахло дынями, персиками, мало-сольными огурцами, — их везли на Сухумский базар.

А наутро выплыл Сухуми. Неожиданно белый на голубом. Переход от черного к голубому мы проспали, пристроившись среди чужих узлов. Не проспал его лишь один из нас — Владимир Солоухин. Он стоял на носу теплохода, обдаваемый крупными брызгами. Его красное от загара лицо было темнее белесых волос, как это бывает на негативах. Лицо деревенского парня, каким он по сути и был, — широколобый, губастый, неторопливый в повадке, за которой скрывались энергия и талант, — он не спал всю ночь. Может быть, сочинял стихи или думал о том, как опишет море невесте, — письма к ней всё лежали в его рюкзаке.

В Поты он впервые увидел море. Никогда не забуду его первую встречу с морем, — как он входил в воду наперерез волнам. Был солнечный ветреный день. Волны накатывались, брызгали пеной ему в лицо, а он, радостно хохоча, шел им навстречу, как в боксе выставив кулаки, — противоборствуя вечной стихии...

А Сухуми все приближался. Уже видны были пальмы

вдоль набережной и слышалась музыка — в ресторане, на поплавке. Началась сухумская эпопея. Молодые москвичские поэты, мы и здесь промышляли стихами. Впрочем, один из нас стихов никогда не писал, он и числился как прозаик. Перед чтением стихов он выходил со вступительным словом, рассказывал об институте, пытался острить — одна острота его повторялась всякий раз.

— Из пятисот, подавших заявления в институт, правда, были приняты не все... И после паузы: — Шестнадцать человек!..

Смеялись, — нравилось. Понимали, что приняли по способностям. А где их набрать — пятьсот!.. Выходило, что мы не какие-нибудь, а отборные. Слушатель был уже подготовлен, — хлопали долго, не отпускали.

Мы были как странствующие гимнасты. Брали недорого — пятьсот рублей дореформенными деньгами на всю компанию, иногда еще и покормят — если люди хорошие...

Выступали в санаториях, у академиков, в знаменитом обезьяньем питомнике, — не обезьянам, конечно, читали...

В студенчестве у нас было принято писать пожелания под Новый год. Мы их писали друг другу, а читали потом, каждый наедине с собой. В одном из таких, адресованных мне, пожеланий я прочла: «Инна, желаю тебе на Новый год написать повесть, такую же веселую и хорошую, как ты сама. И пусть ты будешь всегда веселой, потому что это труднее, чем быть грустной, и потому что быть веселой — значит быть честной...»

Человек, написавший это лет тридцать тому назад, был Юрий Трифонов. Недавно мы вместе с ним выступали у кибернетиков, в зале, расположенном амфитеатром. Нас было на сцене человек шесть. Каждый рассказывал о работе, о своих творческих планах. И я, вспомнив вновь молодость и эту его записку, рассказала о ней.

— Годы идут, и все трудней оставаться веселой, — сказала я. И добавила: — Как, впрочем, и честной тоже...

РАВНОДУШНЫЕ ГУДКИ

В детстве я любила приврать по мелочам. Была — не была, брала — не брала. Мама взялась меня отучать. Не разговаривала со мной иногда дня три кряду. Я очень страдала. Особенно оттого, что она не приходила поцеловать меня на ночь. Мама не говорила — в р е ш ь.

— Ты опять сказала неправду, — говорила она. — Если ты будешь мне говорить неправду, я умру!.. Я не стану жить, если буду знать, что моя дочь мне говорит неправду!..

Я очень боялась, что мама умрет. И когда случалось соврать, ходила бледная и притихшая весь день, а ночью просыпалась в слезах, звала маму, просила ее не умирать. Она обнимала меня, успокаивала. Обещала, что не умрет.

Не знаю, мучила ли ее совесть в такие минуты. Она была дотошно правдива и праведна, моя мама. И от друзей требовала того же.

«Не будешь же такой въедливой!» — иногда восклицал отец, возмущенный ее допросом. Сам он любил присочинить.

Вранье и фантазия стоят слишком близко. Моя праведная, правдивая мама была начисто лишена волшебной выдумки, игры воображения, которое необходимо художнику. Между тем каждый ребенок — художник. Просто некоторые вырастают потом из этой с детства данной профессии, другие же преданы ей до конца.

Будем же осторожны! Может быть, маленькие врали напишут потом правдивые книги?!..

По мелочам я врать отучилась, но фантазировать продолжала. Так появился Артур. Этот Артур был реальный мальчик, приехавший в Кисловодск с родителями. Там и я жила летом, — маме были прописаны нарзанные ванны. Мальчик был красивый, — серые глаза на смуглом лице, уверенный взгляд, походка враскачку, и это броское имя — Артур... Он был москвич, перешел в седьмой класс, и мы, пятиклассницы, бегавшие по курортному парку, пока наши родители занимались водным лечением, — мы были в него влюблены. Это была какая-то радостная, общая любовь, и мы, заражаясь одна от другой, болели ею дружно, как корью. В парке было много цветов, с камня на камень прыгала горная речка Ольховка, влюбленные пары снимались на память у «Стеклопанной струи» и обедали в «Храме воздуха», — ресторане, венчавшем сосновую горку. В концертной раковине по вечерам играл симфонический оркестр, но мы предпочитали эстрадные концерты, где вел конферанс грациозный, как слон, толстый Гаркави. Но главное — был Артур. Он водился с мальчишками своих лет, а нам улыбался чуть снисходи-

тельно, издали, всем одинаково, — не выделял ни одну из нас. И это объединяло загорелых девочек в сарафанах с бретельками, перекрещенными на спине. Стриженных коротко или с косичками, беспричинно хохочущих и беспричинно грустящих. Не испытавших первой любви, но живущих ее предвкушением...

Наступил вечер отъезда. Артур уезжал. У Нарзанной галереи, где девушки в белом бесплатно наполняли и протягивали жаждущим стаканы шипучей, отдающей железом воды, — сразу шесть стаканов, по три в каждой руке, мы с ним простились. Стемнело, зажглись фонари. Артур пожал руку каждой. Вдруг он нагнулся, быстро сорвал с клумбы гвоздику и протянул ее мне, — я стояла к нему ближе всех.

— У тебя есть телефон? — спросила я, осмелев.

Он вытащил самописку — они еще были внове — и написал на уже ненужном пропуске в парк свой телефонный номер.

— Звони, — сказал он и снисходительно улыбнулся.

Первый с ним разговор, в самый миг прощанья. Ведь мы влюблены в него были издали, как зрители в кинозвезду. И вдруг!..

Как мне завидовали остальные! Тем более что они знали, — отсюда меня повезут в Москву, мне обещали, — ведь я никогда там не была...

Телефон в московской квартире стоял на тахте, накрытой чехлом из парусины, — чтобы тахта не пылилась. Все равно пахло пылью, хозяйка квартиры, гимназическая подруга мамы, уехала к морю, оставив для нас ключи. Не успели внести чемоданы, как я бросилась к телефону и набрала номер, который знала давно наизусть. Надо было сначала набрать букву, нарисованную на диске, а потом уже пять цифр, каждая внутри кружка, — в моем городе обходились только цифрами.

Каждая буква — мне объяснили — означает, в каком районе живет абонент. Артур жил на Таганке.

Я набрала номер и услышала в ответ гудки — долгие, мерные. Трубку никто не поднял, должно быть, гудки звучали в такой же пустой, по-летнему пахнущей пылью квартире, в какую мы вошли только что...

Мы прожили в Москве пять дней. Я увидела Кремль, и Красную площадь, и Третьяковскую галерею, и сад Эрмитаж, где шла оперетта «Золотая долина» и каскадная пара исполняла дуэт:

И скажу вам, между прочим,
Не скрывая ничего:
Я люблю, признаться, очень
Это злое существо, — ах!..

Дайте совет, дайте совет!..

Первую встречу с Москвой я восприняла сквозь равнодушные гудки в пустой квартире, — лето продолжалось, был август, и, должно быть, Артур жил на даче. В гулком колодце московского двора звучали незнакомые мне детские голоса тех, кто проводил лето в городе. Иногда слитный радостный детский вопль извещал нас о хлынувшем дожде раньше, чем самый шум его доходил до нас.

Москва была прекрасна и печальна на фоне этих длинных равнодушных гудков. Меня катали на белом прогулочном теплоходе по Химкинскому водохранилищу, — канал недавно открыли. Мы погружались в шлюзы и вместе с водой, хлынувшей из открытых люков, вздымались опять на поверхность, где вместо покрытой тиной, серо-зеленой стены опять были луга и березки и где дежурила девушка в красной косынке, с винтовкой.

В зоопарке — мы побывали и там — рычали львы, плясал в клетке медведь и, выпрашивая сахар, просовывал сквозь железные прутья когтистую лапу. Белые лебеди в пруду заплетали в петли свои длинные шеи и близоруко склонялись к воде, словно искали оброненную иголку.

Я бросалась к телефону всякий раз, едва войдя в дом. Же — два — семнадцать — двадцать — девять... Кажется, так. Сколько важного, нужного позабыто, а это помню.

Возвратившись в свой город, я помнила Артура и рассказывала о нем девочкам в классе. Я не говорила неправду. Не врала. Я — сочиняла. Вдохновенно, почти что веря себе самой. И они влюбались в него, мои одноклассницы. Влюбились в его глаза, походку и звонкое имя. Я сказала, что жду от него письма, — и они ждали вместе со мной. И дождались! Артур в письме вспоминал Кисловодск. Писал, что очень скучает и обещал приехать зимой, на каникулы!..

Сочиняя это письмо, я задумалась, — как мне его закончить. Целую?.. Нет, лучше так: «Крепко жму руку, — твой друг Артур».

Если кто и не верил мне до конца, — теперь поверили все.

Ведь он обещал приехать!..

...Артура я больше так и не видела. И постепенно его забыла, — сочиненная мной дружба с ним заполнила пустую ячейку, затмила живое воспоминание.

Гораздо дольше жил он в сердцах моих одноклассниц, влюбленных в него по моим рассказам. Одна даже встретила с ним где-то, уже после войны. Впрочем, может быть, это был и не тот Артур? Она постеснялась спросить фамилию.

И как-то в поезде я повстречала человека, знавшего его. Они с Артуром вместе учились.

Прошло лет двадцать с тех пор, как оба закончили институт, но видятся и сейчас.

— Какой он? — спросила я.

— Небольшого роста, толстяк... Уже лысеет...

Мне не хотелось увидеть его таким. Пусть он остается там, где был. У Нарзанной галереи, в печальном свете вспыхнувших фонарей, тем, довоенным летом — не последним даже, а предпоследним. Ведь нам с ним не о чем вспоминать!.. Он не знает, что писал мне письма и обещал приехать. Возможно, что он давно забыл номер своего телефона — того, что был до войны, как я давно позабыла свой...

— Же—два—семнадцать—двадцать—девять! — его позывные. На них теперь никто не откликнется.

Как же мы отличим сочинительство от вранья?

Бескорыстие — вот мерило!.. В отличие от лжеца, сочинитель обязан быть человеком честным. И потому сочетаются житейское: «Брось мне сказки рассказывать!» и — просьба: «Спой мне песню, как синица тихо за морем жила»...

Я росла веселой. Много пела, плясала на школьных утренниках гопак за мальчика — в шароварах и расшитой рубашке. Папашой служила мне зимняя каракулевая шапка отца. Я плясала вприсядку, легко выбрасывая ноги в коленях. И петь я любила, хотя мне на ухо наступил если и не медведь, то по крайности маленький медвежонок. Любила смеяться и подмечать смешное в людях, но не смешила сама. И если «занимала площадку», то рассказывала что-нибудь героическое из книг или из своей жизни — сочиняла. Всегда сочиняла себя отчаянно храброй, так как была трусихой. Веселой трусихой, честной вруней — сочинительницей.

Когда-то задуман был мной рассказ — «Почему пела бабушка?»...

В самом деле — почему она пела? Ведь была она не молода, и подагрические кости ее ныли к перемене погоды, и предстояла операция катаракты... И ждал длинный день, стояние у плиты, небольшая стирка, покупки — сметана, хлеб... Почему пела бабушка?

Я — другое дело! Мне десять лет, и я собираюсь в школу, на утренник. На мне платье из сатина-либерти, алое, в мелкий белый горошек, с крылышками и фонариками одновременно, — рукава «фонарики», а над ними еще и «крылышки» из той же материи. Ни раньше, ни потом никогда не было у меня такого нарядного платья. И такого ощущения нарядности своей. Выйдя на улицу, я не могла спокойно идти — подпрыгивала.

— Какая нарядная девочка! — было на лицах встречных. — Какое платье! И какая девочка!..

Идти нормальным шагом было невыносимо трудно... Вся жизнь была впереди, и впереди был длинный весенний день...

Но почему пела бабушка?..

Бабушка пела, потому что я шла на утренник. Потому что мне сшили новое платье из сатина-либерти — алое, в мелкий белый горошек, с «крылышками» и «фонариками» одновременно, — рукава «фонарики», а над ними еще и «крылышки» из той же материи. Потому что от ощущения своей нарядности я не шла, а подпрыгивала. И на лицах встречных было написано: «Какое платье! И какая девочка!..»

Вот почему пела бабушка!

Моя Катя тоже человек веселый. Сейчас ей год и три месяца. Я пою и пляшу для нее, когда мы остаемся в доме вдвоем. Слово м у з ы к а она уже знает. Включаю радио, — там частушки.

Мой миленочек, ты че
Навалился на плечо?
Да я, милая, ниче,
Я влюбился д'горячо!..

Катя любит петь, повторяет мотив и при этом еще пляшет, топчет по полу, выбивая дробь ботинками двенадцатого размера и хлопая себя по груди и коленкам. Получается что-то вроде цыганочки.

Как-то на меня нашел стих, стала я перед Катенькой плясать, размахивая ее косынкой, белой с розочками. Со своих пионерских лет не плясала я так лихо и весело. И откуда что вспомнилось, какие выходы и кренделя!..

Катя смотрела восторженно, а потом и сама затоптала, закружилась. И когда я, задохнувшись, плюхнулась на стул — она принесла мне свою косыночку, — вставай, мол, бабка! Пляши опять!..

Будь веселой, Катя! Быть веселой значит быть честной...

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ТРУСОСТИ

Существует «Похвальное слово глупости», но нет «Похвального слова трусости». Я по природе своей — трусиха. Не та же ли самая фантазия тут виной? Я боялась в детстве воров — хотя нас никогда не грабили. Волков — хотя видела их лишь в зоопарке. Собак — они меня еще не кусали. Пьяных и сумасшедших — потому, что они не походили на обычных людей. И темноты...

Когда меня посылали в детстве за чем-нибудь в темную комнату, я с сильно бьющимся сердцем врвалась туда и, схватив нужную вещь, выскакивала из темноты, как из огня.

И совсем не боялась грозы, — этот страх развился позднее, в зрелые годы. А тогда, ребенком, я бежала к окну смотреть грозу. Это было именно зрелище, веселившее душу. Мрак, сгустившийся среди бела дня, огненные зигзаги молний раскалывали его, как трещины, пушечные удары грома и внезапный обвал воды.

В стеклянном фонаре, составленном из пяти окон — им оканчивалась одна из наших комнат, — я стояла, не ведая страха, наблюдая явление природы и не внимая голосу старших: «Отойди! Зачем она там стоит!»

Наверное, это был голос мамы. От нее же услышала я выражение в о р о б ь и н а я ночь. Той ночью, на окраине города, Шатиловке, когда мы с ней сидели, прижавшись друг к другу, разбуженные грозой, в чужом доме. Там мы снимали в то лето дачу. Нас разбудила гроза, молнии не прекращались, гром бил по хлипкому деревянному дому

прямой наводкой. Небо все время распахивалось, как будто кто-то резко отдергивал темную штору, становилось на миг светло, и в этом коротком внезапном свете я видела мамино испуганное лицо. Оно противоречило голосу, которым, желая меня успокоить, мама говорила со мной.

— Это большая редкость, такая гроза! — говорила она. — Знаешь, как это называется? Воробьиная ночь! Любопытно, почему ее так называют? Ты как думаешь?..

Изю всех сил мама старалась меня успокоить, и меня больше всего пугало несоответствие будничного ее голоса и испуганного лица. И то, как она прижимает меня к себе, как, наверное, прижимала бы в минуту гибели корабля или самолета, случись это с нами.

Гроза прошла и забылась, — на Украине они не редкость. И много чего было потом куда страшней воробьиной ночи. Но спустя много лет эта ночь на Шатиловке в пустой даче всплыла и сделалась страхом — грозобоязнью...

Что же такое трусость, как не излишняя впечатлительность? Результат развитого воображения, которое нам услужливо предлагает свой огорчительный арсенал. Бездумная, неоглядная храбрость очень часто соседствует с глупостью.

Истинная храбрость не отсутствие страха, но его преодоление. Страшно, однако идешь. Страшно, однако летишь. Страшно, однако выскажешь все в глаза!..

Девочка очень боялась волков, хотя видела их только в книжке — рисунки к сказке, да еще в зоопарке. Зоопарк примыкал к городскому саду. Однажды девочка — ей было лет семь — гуляла в саду с двухлетним двоюродным братишкой и его няней. Няня оставила их на скамье и пошла покупать мороженое, его продавали у самых ворот, далеко от аллеи, где сидели они с братишкой. На соседних скамьях о чем-то судачили няньки с детьми. Вдруг они все подхватили детей и устремились в сторону выхода. Одна из них крикнула девочке: «Из зоопарка волк убежал!.. Бегай где-то тут, может, бешеный!..»

Девочке стало очень страшно. Первой мыслью было — бежать!.. Но братишка был мал и неповоротлив. И потом — няня велела оставаться на месте, пока она не придет!..

Девочка усадила братишку возле себя, поджала ноги и велела ему сделать так же. Всех вокруг как смелó,

только они сидели — маленький брат, который еще ничего не боялся, и семилетняя девочка, которая очень боялась волков.

ВЗРОСЛЫЕ ИГРАЮТ ВО ВЗРОСЛЫХ

В этом саду был фонтан, формой похожий на примус, и круглый цирк шапито, серое здание — дань конструктивизму. На нем было крупно написано — Д у ш и.

Меня оно тоже пугало, надпись читала я так: «Д У Ш И!»

Угол сада занимал пединститут. Однажды осенью, когда я гуляла с бабушкой, собирая в траве каштаны, меня «одожили» у бабушки две студентки и увели к себе в институт. Как я теперь понимаю, меня испытывали при помощи тестов. Проверяли быстроту реакции. Меня усадили на высокое кресло, передо мной вращались какие-то барабаны с карточками, на них были нарисованы цветные предметы — арбуз, булка, дом. Надо было назвать предмет, определить его цвет, качества — соленый, сладкий, твердый... Я отвечала. Барабаны вращались — сначала медленно, потом все быстрее, быстрее... И мне приходилось быстрее называть мелькающие картинки. Меня пытались запутать — подсаживали, что дом — сладкий, а огурец — красный. Но сбить с толку меня было трудно. Вернув меня наконец бабушке, они торжественно объявили, что у меня очень хорошие показатели. И бабушка была довольна, хотя поняла в этом опыте — зачем и кому он нужен — так же мало, как я.

С годами экзамен, которому я подверглась, легко объяснился, — я попала на удочку педологии, которая процветала в то время. Возможно, мои показатели легли в основу чьего-то диплома.

Нынче тесты применяются весьма широко. Среди них есть серьезные и шуточные — игра в да и нет, с помощью которой человек может сделать выводы о себе самом. Да, Да, Да, Нет, Да, Нет, Нет, — и вывод готов: один — мягкий интеллигент, другой — дитя с неразвитым вкусом, третий — воинствующий мещанин... Не слишком серьезная, но занятная игра.

Человек хочет познать самого себя.

Преуспев в искусстве делать искусственное — от ис-

кусственной кожи до искусственных спутников Земли, человек потянулся к естественному. От нейлона к хлопку, от пластмассы к дереву. Это не сложно.

Но как вернуть естественность человеку, который ее утратил?!

Детство обещает слишком много, и возвращаться к нему — значит сверять обещанное с исполненным. Расстаться с самим собой, восторженным мальчиком или девочкой, проще всего в юности. Но потом приходит восторженная старость!..

В определенном возрасте люди как бы стесняются уже воспринимать жизнь серьезно, оставляя это детям и старикам. Сами же воспринимают жизнь как некий средней руки фильм, поставленный посредственным режиссером. Фильм, в котором им отвели весьма бесцветные роли.

Дети играют во взрослых, но взрослые никогда не играют в детей, — им это не под силу. Для этого надо быть гением.

Взрослые играют во взрослых. Особенно люди искусства. Художник тот, в ком уцелел ребенок. Оставаясь ребенком, он всю жизнь играет во взрослого. Он раним, впечатлителен и тщеславен. И его ровесники часто не понимают его и смеются над ним — взрослые над ребенком.

ТЕТЯ СОФЬЯ

Я называла ее тетя Софья. Она и в самом деле приходилась мне теткой — младшая сестра моего отца. Хрупкая, сероглазая, с прямыми иссиня-черными волосами, чем-то похожая на японку. Это сходство особенно подчеркивало кимоно. Кимоно было из тонкой шерсти, очень красивое, — в нем сочетались три цвета — кирпично-коричневый, белый и голубой. Тетя Софья носила его много лет, оно заменяло ей домашний халат. Сначала нарядный, а потом поблекший, изъеденный молью. Напрасно я упрашивала тетку подарить мне его — она была неумолима. Как все одинокие люди, она привязывалась к своим вещам и не любила расставаться даже с теми, которые не были нужны.

Впрочем, вещей у нее было немного. А любимых, пожалуй, только две — кимоно и микроскоп. По профессии тетка была врач-микробиолог.

Но однажды мне удалось пощеголять в этом наряде. Я училась в первом классе и должна была выступать во Дворце пионеров — и о к т я б р я т, старательно добавляла я тогда, так как была октябренком, — на праздничном утреннике. Я танцевала японский танец, и тетка скрепя сердце одолжила мне свой наряд.

Помню, как меня облекли в него — оно мне было до пят, — как перепоясали широкой розовой лентой, ведь кино не имеет пуговиц. Как прикололи в волосы две белые хризантемы. Как дали в руки настоящий японский веер — бумажный, черный, расписанный золотом...

Танец имел успех, даже снимок потом был помещен в местной газете. Она и сейчас хранится у меня — пожелтевшая, с моим перевернутым именем. И на снимке теткино кино.

Тетя Софья была миловидна, но замуж не вышла. Может быть, из-за астмы, которой болела смолodu. Она, уже взрослая, продолжала жить у родителей и старела, не взрослея. Потому я и не ощущала разницы в возрасте между собой и ею. А тогда, до войны, она была еще по-настоящему молодой. Иногда она заходила вечером, и мы шли гулять.

— Подожди тут, — говорила она. — Мне надо позвонить...

И она входила в кабинку телефона-автомата, и долго с кем-то говорила. И выходила грустная. Потом мы шли в кондитерскую, и она покупала два пирожных — себе и мне. И мы ели их, стоя у мраморного столика и глядя в стеклянную витрину на прохожих. Тетка была сластена и любую грусть могла заесть пирожным.

— Ты будешь меня вспоминать, когда я подохну? — спрашивала она. Не «умру», не элегически — «когда меня не станет»...

— Неужели я доживу? Ты будешь писательницей и купишь мне торт!..

Не автомобиль, не дачу, не меховую шубу... Торт! Мерило роскоши, предел мечтаний.

Мне было лет одиннадцать, когда летом мы с отцом, по дороге на юг, заехали к тете Софье. Она работала тогда в Ессентуках, в большом санатории. Там на Кавказе, в сухом горном климате, ее меньше мучила астма. И каждый день тетка обещала пойти со мной в дальний парк.

— А там много ящериц? — спрашивала я.

Почему-то я собиралась ловить ящериц. В ящерицах

меня привлекало то, что их за хвост не поймашь, — они тут же отказываются от этой, столь важной, принадлежности своего тела и потом отрачивают новый хвост, оставив прежний в руке неудачливого ящеролова... Когда-то я об этом прочла, и мое детское воображение было покорено. К тому же я знала, что в парке действительно есть ящерицы и даже змеи. Но змеи меня не пугали...

И как-то, в солнечный выходной, мы с тетей Софьей отправились в дальний парк. На ней было светлое чесучовое платье, на мне красный, в белую горошину, сарафан. Мы шли по южным улицам, где тень перемешалась со светом, и свет от этого был ярче, а тень темнее. Мы шли под кленами и каштанами, которые уже ощетились своими колючими ежиками, пересекли скверик с фонтаном, бившим из пасти каменной рыбы.

И тут мы увидели это кафе — по-утреннему пустое, с вымытым, еще не просохшим полом, с белыми кисейными занавесками, которые ветер надувал, как паруса. Оно только что открылось.

— Хочешь пирожное? — не устояла тетя Софья.

Мы заказали два пирожных и кофе со сливками. Медлительные, словно еще не вполне проснувшиеся, официантки не торопились. Не спешила и тетя Софья, — ей тут нравилось, ящерицы ее привлекали куда меньше. Кроме нашего столика было занято еще два-три. Тихие курортники, пришедшие сюда позавтракать.

— Взгляни на ту старушку, — сказала тетя Софья. — Немного похожа на Лидию Эрастовну... Редкий был человек! Я только что кончила институт, приезжаю в чужой город и заболеваю. Температура сорок, знобит, сердце выпрыгивает. И вот Лидия Эрастовна...

Принесли наш заказ. Я давно съела свое пирожное, выпила кофе, а тетя Софья все говорила:

— ...редкая душа...

— Куриным бульоном кормила с ложечки...

— ...никакой благодарности. Я ведь ей чужой человек!

А она: «Чужих людей не бывает, бывают только незнакомые»...

Я слушала скучая. В это время в зал вбежала большая лохматая дворняга. Пошла вдоль столиков, поглядывая заискивающе и пугливо, — привыкла, что ее гоняют. Старушка, похожая на Лидию Эрастовну, бросила ей половину сосиски. Собака с жадностью проглотила.

— ...потом я часто думала, — доносился голос тети.

— ... выражение доброты...

Я ее уже не слышала. Моим вниманием завладела дворняга.

— Лидия Эрастовна! — позвала я негромко.

Это относилось к собаке. До сих пор не понимаю почему. Может быть, это была просто шалость. Протест против скуки, которую вызывал у меня рассказ тетки. Или протест против сентиментальности и скрытой морали, которые были в этой истории.

— Лидия Эрастовна! На! На! — звала я собаку.

— Перестань сейчас же! — сказала тетя. — Как тебе не стыдно!..

— Лидия Эрастовна, на!

Я протянула собаке кусок сахара. Она подошла, цокая по метлахской плитке, словно ее только что подковали, — старая, со слезящимися глазами.

— Мне неприятно! Если ты сейчас же не прекратишь!..

— Лидия Эрастовна!..

Собака съела сахар и благодарно вильнула растрепанным хвостом, в котором висели репы.

— ... немедленно, а то никаких ящериц!

— Лидия Эрастовна!.. На, на!..

Меня уже нельзя было остановить. Тетя Софья, гневно раздувая тонкие ноздри, подозвала официантку. Собака испуганно отпрянула, спрятав хвост между задними лапами.

— Лидия Эрастовна! — крикнула я ей на прощанье. Уже почти плача. Понимая, что терять уже нечего.

И вот мы снова идем по тенистым, в колеблющихся пятнах света, улицам. Идем домой. Никаких ящериц!.. Тетя Софья идет впереди, сама по себе. Я сзади, прячась за деревья. Мстительно размышляя о том, как испугается тетка, если, оглянувшись, вдруг обнаружит, что я исчезла, — ведь она отвечает за меня перед отцом!..

Но она ни разу не оглянулась. Должно быть, я причинила ей боль своей глупой выходкой. Но если бы этого не случилось — как запомнила бы я имя доброй женщины, которую никогда не видела. И ее мудрые слова о том, что нет чужих людей, — есть только незнакомые...

Тетя Софья была одинока. Потеряв родителей, она жила в казенных комнатках при санаториях, где работала. Последнее лето своей жизни она провела под Москвой. Астма ее усилилась, эфедрин уже мало помогал.

В то лето, в июле, я гостила у нее и, просыпаясь от

яркого солнца, видела тетку, сидящую в постели с пузырьком камфарного масла. В девичьей рубашке с узкими бретельками, бледная. Поднимая острые плечи, она жадно вдыхала, — в этом вдохе участвовали не только легкие, грудная клетка, а все ее хрупкое тело.

Но приступ кончался.

— Зато вы, здоровые, не знаете этого счастья — свободно вздохнуть! — говорила она мне, комкая в руке платочек.

Тетка шла на работу. Санаторий стоял в подмосковном лесу, за которым начиналось поле поспевающей пшеницы. Отдыхающие собирали в лесу землянику, громко перекликались. Это были работники профсоюзов — тучники и сердечники. По вечерам к ним приезжали с концертами известные артисты, тоже все тучники и сердечники, — так во всяком случае мне казалось.

Обеды мы получали в санаторной столовой. В полдень я отправлялась туда с тремя алюминиевыми судками, которые вставлялись один в другой и держались на общей дужке. Есть мне не хотелось.

Мне шел двадцать первый год, я была студенткой и томилась от придуманной любви, которая в этом возрасте иногда заменяет нам настоящую. После полудня, когда у санаторских начинался «мертвый час» — теперь его принято называть «тихим», — я бродила по лесу, рвала на полянах землянику, слушала птиц и плакала. Как бывает всегда с придуманной любовью, я придумала, что он меня не любит. Мне было тяжело оттого, что я такая молодая, а он не здесь, а день так прекрасен. И солнце под вечер сидит на сосне, красное, как белка.

Я жалела, что приехала. Но в то лето мне никуда не хотелось. И тетя Софья так меня приглашала...

Однажды, придя из лесу с большим букетом ромашек, дикой гвоздики и колокольчиков, я увидела незнакомого человека. У него было красноватое от загара, веснушчатое лицо. И светлые, выгоревшие брови. Ему было за сорок. Примерно столько же, сколько тете Софье.

Был канун выходного. Он спросил, скоро ли она придет с работы. Рядом с ним на крылечке стояли потертый портфель и коробка с тортом.

Вскоре пришла тетя Софья. Она смутилась и обрадовалась. Мы сели обедать втроем. Человек ел торопливо, шумно, — видно, приехал издалека. Насытись, он закурил,

спросив разрешения у тетки. Он курил и посматривал то на меня, то на тетю Софью.

— Почему вы мне не написали, что у вас живет племянница?— спросил он, злобно улыбнувшись.

— Она у меня не живет,— сказала тетя Софья поспешно.— То есть всего неделю... Она скоро уедет...

— Ну, зачем же,— сказал он.— Зачем ей уезжать? Что это меняет?..

Мы пили чай с тортом. Потом тетя Софья пошла его провожать. Был уже вечер. Красное солнце давно спрыгнуло с сосны и спряталось в траве. Зажглись звезды, и смолкли птицы. На столбе у главного корпуса запело радио — модные песенки тех лет. Во мраке, на санаторных скамейках, сидели пары.

Тетя Софья вернулась. Она задыхалась, но не от астмы на этот раз.

— Ты все испортила!— говорила она.— Он хотел остаться! Если бы не ты!.. Почему я такая несчастная?! Почему?..

— Зачем же было меня приглашать?— Я была обижена. Возмущена.— Ты же звала меня на все лето!..

— Откуда я знала, что он приедет! Он столько раз обещал...

Тетя Софья всхлипнула. И, подойдя к столу, отрезала себе большой кусок торта.

— Я завтра уеду,— сказала я.— Успокойся!..

Она и сама уже успокоилась.

— Что это меняет?— повторила она его слова.

В СОРОК ПЕРВОМ

В июле сорок первого года мы с мамой и бабушкой приехали к родственникам в Казань. Отец остался в Харькове, ожидая распоряжения военкомата — на фронт или в госпиталь, и рад был, что нас отправил в безопасное место,— враг наступал стремительно, в городе появились первые беженцы из Львова и Киева.

Стекла окон были в бумажных крестах — на случай бомбежки. Выполняя приказ о затемнении, вечерами окна завешивали одеялами и лишь тогда зажигали свет.

На темных улицах дежурили патрули, останавливали поздних прохожих. При свете карманных фонариков проверяли документы. Подозрительных задерживали, отводили в комендатуру,— ловили диверсантов.

В Казани было жарко и пыльно. Наша дальняя родня, у которой мы поселились, жила на улице с веселым названием Пионерская. Улица эта вела к вокзалу, ночью по ней проходили строем войска. Проходили молча, чтоб не тревожить спящих. Это были кадровые наши части, помню сквозь сон слитный четкий чеканный шаг, столь отличный от разнобойного топота новобранцев. И молча провожали тех и других силуэты женщин у темных окон.

Привокзальная площадь была как ковчег,— беженцы из западных областей ожидали каких-то составов, которые их повезут на восток. Эти люди уже испытали бомбежку и арналеты, на глазах у многих догорел и рухнул их дом. Под открытым небом, среди узлов и чемоданов, уложенных наспех, они спали крепким глубоким сном — потому что над ними было спокойное небо.

Днем мы, привокзальная ребятня, бродили по этой площади, мечтая бежать на фронт. Мечтала и я, собирала спички и соль, считая, что на фронте они необходимы. И сбежала бы, но пожалела маму. Она все ждала от отца известий и крутила без конца пластинку, на которой отец записал свой голос еще до войны в Кисловодске. Там была студия «Говорящее письмо», где каждый мог наговорить слова приветов или спеть песню и послать в подарок близким. Теперь в редком доме нет магнитофона, тогда это развлечение было в новинку, а мой отец всегда был к новинкам неравнодушен.

В июле сорок первого мама слушала, обливаясь слезами, старинный романс, записанный им на нестандартной, из тонкой пленки, пластинке:

Вы слишком хороши, чтоб вас легко забыть,
Я слишком вас люблю, чтоб позабыть так скоро...

У отца был красивый голос довольно редкого тембра — баритональный тенор, извинявший некоторое несовершенство слуха. Мама не знала, доведется ли им увидеться вновь, и вспоминала слова отца, сказанные на прощанье:

— Соскучишься, послушай пластинку...

Наш город уже бомбили, и на конвертах появился штемпель: «Просмотрено военной цензурой». А над Казанью, над ее белым кремлем, с похожей на высокий мавзолей башней Сююмбеки, над величавым Кабаньим озером, над Волгой, до которой приходилось ездить трамваем, сияло голубое, совсем мирное летнее небо. Если бы

не эти негромкие военные команды в ночной тишине и вокзальная площадь, похожая на ковчег...

Но вот появились автобусы. Необычные. Они тянулись гуськом от вокзала, медленно, вереницей, и останавливались у большого дома в квартале от нас. Здесь была старинная гостиница, и еще виднелась вверху витая надпись — название. Теперь в бывшем «Казанском подворье» разместились военный госпиталь, и к нему один за другим причаливали автобусы. Мы впервые увидели раненых. Землистые от потерянной крови лица, забинтованные руки и головы. Костыли...

У меня есть фотография. На ней тимуровская команда, в которой мне довелось быть капитаном. Шестнадцать ребят, живших в одном дворе на Пионерской. Почему меня выбрали капитаном? Не сыщешь пророка в своем отечестве. Я была здесь новенькой, и я очень любила гайдаровского Тимура. Думала ли я, читая о нем до войны, что стану Тимуром сама?..

Нам отдали старый сарай под штаб. У нас были посыльные, санитары, горнист. На каменных белых воротах мы красной краской нарисовали звезду — знак команды — и черной вывели:

«Смерть немецким захватчикам!»

С каким рвением мы собирали металлический лом, унося даже из дому нужные вещи, и отвозили на тачке в приемный пункт. За лом нам платили. Мы купили на все деньги карандашей, конвертов, носовых платков и отнесли их в госпиталь.

Нам доверяли патрульную службу в нашем квартале — до десяти вечера, потом нас сменяли старшие.

Решили выступить в госпитале с концертом. Составили список «номеров». Каждый делал, что умел. Черноглазая Шеша — так во дворе звали Шарлотту — играла на скрипке, Инна Новцева — на рояле, Назим Шарипов — пел, я читала стихи своего сочинения...

И вот мы отправились в госпиталь — торжественные, в белоснежных рубашках и блузках с красными пионерскими галстуками на груди. С цветами!..

После недели дождей выдался солнечный яркий день. Мы волновались.

Нам предстояло впервые войти в госпитальные стены, очутиться рядом с теми, кто был ранен в огне сраженья!.. (Свои подарки бойцам в первый раз мы переслали через дежурного у входа.)

Был час отдыха, около пяти вечера, после чая. Все, кто могли ходить, были во дворе. Дежурный доложил о нас по телефону. Вышел молодой военный, взглянул на часы и как-то небрежно сказал:

— Может, в другой раз зайдете, а? Люди только на солнышко вышли погреться, они сейчас в дом не пойдут...

— Как это не пойдут?! — раздался чей-то голос, и человек на двух костылях крикнул: — Товарищи раненые! К нам пришли дети! Хотят показать свою самостоятельность!..

И они пошли. Хромая, ковыляя, держась за стену и помогая друг другу, — с летнего солнца в полумрак госпитальной столовой, где была сцена и на сцене стоял рояль.

Черноглазая Шеша играла на скрипке, Инна Новцева на рояле, Муза плясала «яблочко», я читала свои стихи «Кровавый пес с цепи сорвался» — так они назывались.

Он жаждет крови, жаждет смерти,
Он жаждет плача малышей,
Но он гулять не будет, верьте,
По славной родине моей...

Они верили. Они пришли оттуда, и большинству из них предстояло туда вернуться.

И если надо, все мы встанем
И все пойдем на смертный бой,
Чтоб Родины любимой знамя
Сияло гордо над страной...

В первые месяцы войны поэтами стали многие и много написано было искренних, вдохновенных хороших, а больше плохих стихов. Порой даже испытанные поэты писали хуже, чем несколько лет спустя, — избыток чувства мешал проявиться форме.

Потом выступал Назим. Он пел, уставясь глазами в пол, — очень смущался:

— «А на руках у сестры умирает красный балтийский моряк»...

Из зала подбадривали его:

— Парень, смелей! Не тушуйся!..

У них были свои дети. Где-то далеко, дома. А у кого детей не было, те недавно еще детьми были сами. И они хлопали нам изо всех сил, а начальник госпиталя,

с орденом Ленина на военном кителе, объявил нам благодарность.

Потом перед ними выступало немало знаменитых артистов, но они, может быть, вспоминали и тот первый концерт, что для них устроили дети. Им, наверное, даже нравилось, что поем и пляшем не бог весть как и стихи не ахти какие. Что такие, как мы, «артисты», а то и получше, есть в каждом дворе.

А я навсегда запомнила: «Как это не пойдут?!»

И то, как они шли нас слушать — хромя, держась за стенку и помогая друг другу, — с летнего солнца в полумрак госпитальной столовой.

В Томске, куда с госпиталем прибыл отец, мы жили во флигеле, в госпитальном дворе. Но это потом, не сразу. Сначала нас поселили у молодой учительницы. Ее муж был на фронте, а сама она целыми днями работала в школе, — там занимались в три смены. Дома оставалась няня и две маленькие белокурые девочки.

Мы жили в большой проходной комнате, и девочки то и дело заглядывали в щель занавески, закрывающей вход. Им хотелось знать — что там, за занавеской. Там был беспорядок и неуют временного жилья, а в их комнате было опрятно, пахло глаженной байкой и вскипающим молоком.

Хозяйина я не видела даже на фотографии, но легко могла представить себе, как тяжело ему было покидать свой дом, молодую жену и двух маленьких белокурых дочек.

Как в затишье, между боями, ему вспомнится вдруг запах глаженной байки и горячего молока — эти главные запахи мирной жизни, защищать которую он ушел.

Ушел, как потом я узнала, — чтоб никогда не вернуться.

Здесь трещали в печи сухие поленья и было тепло. А за окнами падал нескончаемый снег. Город тонул в нем, зарылся в него, как елочные игрушки в вату. Потом, когда кончился снегопад и снег стал оседать под слепящим сибирским солнцем, стали проступать городские черты, контуры старинных домов и лабазов. И словно елочная верхушка заблестела на солнце маковка церкви.

Наш небольшой бревенчатый дом показался из-под снега последним. Мы там жили совсем недолго, но эти

мирные запахи для меня стали символом верности, чистоты, ожидания. Я не помню лиц — ни хозяйки, ни девочек, только отчетливое ощущение счастья, свившего там свое гнездо...

Оно возникало во мне не однажды вместе с воспоминанием о войне, — бревенчатый дом, занесенный снегом, треск поленьев в печи, запах глаженной байки и горячего молока...

Прошло много лет. На этот раз не я окликнула прошлое, а оно меня — женским голосом в телефонной трубке.

— Здравствуйте!.. Я только что слушала по радио вашу песню «Русское поле». Вспомните сорок первый год, Томск, двух маленьких девочек...

РУССКОЕ ПОЛЕ

Ответ

— Как ты написала «Русское поле»?

— Написала, потому что люблю поле.

Люблю русское поле, потому что родилась в России. Таких нигде и нет, наверное...

Как мала суша в сравненье с «равниной моря», так малы города в сравненье с ширью наших полей.

Полей...

Этот ничем не заслоненный вид на край света, из-за которого утром всплывает солнце и за которым оно прячется к ночи.

Поле, русское поле!..

Светит луна или падает снег...

Маленький хутор в сельской глуши. Амбулатория. Отца командировали туда врачом на три месяца. Был июнь. Он взял нас с собой — маму, меня и мою подругу Таню Соколову.

Там нас застала война.

Золотое шумящее поле налитых колосьев было последним мирным видением моего отрочества... Мне было тринадцать лет.

Счастьем и болью,

Вместе с тобою.

Нет, не забыть тебя сердцу вовек,

Русское поле!..

Отцу тут же пришла повестка из военкомата. Таня погибла. Она лежит на солдатском кладбище в городе Вроцлаве.

Выхожу в поле. Как далеко видно!.. Сердце щемит. Вдыхаю запах полыни.

О любви легче сказать в песне.

Поле, русское поле...

Я, как и ты, ожидаю живую.

Верю молчанью,

Как обещанью,

Пасмурным днем вижу я синеву...

Не сравнятся с тобой

Ни леса, ни моря,

Ты со мной, мое поле,

Студит ветер висок...

РАЗГОВОР С КАТЕЙ

«Скоро осень, за окнами август...»

Город, беременный арбузами, — их продают на каждом углу, всякий третий тащит арбуз — кто в плетеной сетке, кто просто в руках.

Катя вчера рассталась с коляской. Пришли две молоденькие, у каждой словно арбуз спрятан под платьем, и забрали. Им скоро понадобится, у одной коляска уже есть, и она привела подругу.

Укатили коляску, и в доме стало просторней. Как скаламбурил кто-то, — когда вырастают дети, в доме становится больше места. Как садовник в тонком, гибком прутике видит дерево, украшенное плодами, в тени которого он будет лежать когда-нибудь на траве, так я пишу сейчас и вижу вдаль свою книгу и Катю, уже школьницу. Вижу, как ее длинные тонкие пальцы перелистывают мою жизнь, выбирая места, где написано про нее, и негодуя, что их так мало.

— Но ведь тогда и ты была еще маленькая, Катюша!..

— Это ты назвала меня «Катя-Сядька»?

— Да, я тебя так назвала. Потому что, научась садиться, ты хотела сидеть и сидеть без конца... Перед тем как стать «Ванькой-Встанькой» ты была у нас «Катя-Сядька»... Потом, научась вставать, ты все время

стояла, а после — бегала, и мы бегали вместе с тобой, боясь, что ты упадешь...

— Расскажи еще что-нибудь!..

— Ты не любила одна оставаться в комнате, но могла долго играть сама с собой, когда кто-то из нас был рядом. У тебя были очень ловкие пальцы, и ты лихо развязывала любой узелок и расшнуровывала свои ботинки...

— Я была не жадная?

— Нет, не жадная... Но ты любила свои игрушки — рыжую пластмассовую рыбку и красного мишку, который умел пищать, когда на него нажмешь. И тебе приходилось сделать усилие над собой, чтобы дать их мне или твоей маме, когда мы тебя просили...

— Но я их все-таки вам давала?

— Да, на секунду и тут же отбирала обратно. И это была уже наша победа. И твоя победа над самой собой, — ведь ты нам протягивала то, что любишь сильнее всего...

— Мама говорит, что я была очень умная, и какой-то профессор сказал, что по умственному развитию я впереди своих сверстников на полтора-два месяца...

— Он даже сказал — по интеллекту... И когда ты задвигала горшок под кровать, не желая его запачкать, я меняла тебе штанишки и спрашивала: «Катя, где же твой интеллект?»...

— А что еще обо мне говорили?

— Что у тебя не ротовой интерес. Это значит, что ты предпочитала рассматривать предметы, а не тянула их в рот... Есть выражение — быть выше сытости. Тебе еще не исполнилось года, а ты была уже выше сытости.

— Ну, вот. Возьми и вставь это в книжку. Кроме горшка...

— Нет уж, вставлять, так все!..

НАДЕЮСЬ НА СОПРИЧАСТНОСТЬ

Кто-то велит убрать одно, кто-то — убрать другое!..

Вчера у нас с Галей возник разговор об искусстве — живописи и вообще. Моя дочь художница, и, как у всех художников, вкусы ее пристрастны. Она согласилась со мной, когда я сказала, за что, мне кажется, любят искусство. За то, что оно, как ничто другое, есть проявление свободы — свободы выражения и свободы оценки.

Вот что влечет к нему — с в о б о д а !

Право сказать, выразить цвет или мысль по-своему

и право принять или не принять. Пусть он гений, но кто-то не признает, не принимает. Говорит: «А мне не нравится!» — и никто не волен над ним. Это его свобода. И твоя свобода — признать его критику или отвергнуть...

Одни заглядываются на детей, другие проходят, не замечая. Сопричастность — даже малая — влияет на восприятие жизни. Не говоря уже об искусстве, спорте. Тот, кто в детстве играл в футбол, смотрит матч сопричастно. В детстве меня учили музыке, я занималась в балетной студии — танцевала, плясала. Я играла на рояле и пианиста, — пусть даже это Рихтер! — слушаю сопричастно. Когда же играет скрипач, воспринимаю его лишь внешне, не вникая в действие, но постигая его результат — глазами и слухом.

В своих детях мы удаляемся от себя, в своих внуках — вновь к себе приближаемся. Пишу о себе, потому что надеюсь на сопричастность.

Столь же отдельно, как золотая амфора Евпатории, хранится в моей памяти голубая финифть Загорска. Рисунок на эмали — заросший крапивой и лопухом пустынный двор заброшенного монастыря — Троице-Сергиевской лавры. За оградой — действующая церквушка, и рядом, на горке, школа, где я кончала десятый класс. Еще длилась война, но отца уже демобилизовали, и он перевез нас из Томска в Загорск, где работал теперь в городской больнице, — по старинке она называлась земско́й.

Старина и старинка тут пробивались повсюду, как лопухи из-под каменных плит в монастырском дворе. У входа в церквушка ютились нищие и богомолки, на голубой эмали летнего неба как нарисованные высились башни старинной лавры.

Лавра, со всеми своими башнями и соборами, с обвалившейся местами оградой, напоминала начатый торт.

Война откатывалась к границам, — шло последнее военное лето. И хотя в Москве не сняли еще затемнения, отсвет грядущей Победы лежал на всем.

Вместо военного госпиталя — обыкновенная, сельского типа, больница, состоящая из отдельных, разбросанных среди зелени, домиков — корпусов. Сразу за больницей — небольшое поле, лесные перелески, поляны и вырубки, усыпанные спелой земляникой. А за ними — большой, настоящий лес. Но все-таки лес, а не тайга!

Тайга осталась уже позади, как и город Томск, и первая любовь, и три долгих трудных военных года. Но впереди была Победа, а за ней — целая жизнь!..

В Москву ходили электрички, и я часто ездила в них — набитых народом в любую пору, — электричках последнего военного лета. В вагоне стоял глухой шумок, — это люди рассказывали друг другу свою судьбу. Со случайным попутчиком делились горем и радостью, словно с любимым братом. Плакали, спрашивали совета, клялись.

Человеческая общительность в дни народного бедствия вызвана общностью переживаний — радостей, потерь, трудностей быта. Когда это кончилось, люди замкнулись. Общность исчезла, и общительность перестала быть потребностью души. Трудности сделались личными, частными. Неудачи — чем-то почти постыдным, что надо скрывать, чего стыдятся рядом с удачами других — бывших друзей, соседей по дому и по купе. Возможно, и у тех неудачи, но свои, скрытые от глаз и потому как бы несуществующие.

Тогда, в сорок четвертом, в поездах было шумно, и шумно было в залитой солнцем, ждущей Победы, Москве. Родителям было не до меня, занятия в новой школе не начались, и я часто уезжала в Москву одна на весь день и ходила, ходила пешком по ее бесконечным улицам. Так я оказалась однажды на Курском вокзале. Не знаю, почему на Курском, — ведь я ездила с Ярославского. Но в тот день мне зачем-то надо было на Курский. Я даже приехала на трамвае. До цели он меня не довез.

— Дальше вагон не пойдет, — объявила кондукторша, примостившаяся на высоком сиденье у задней двери. И добавила: — Немцы!..

Еще ничего не понимая, я пересела в троллейбус. Он был свободен наполовину, и люди продолжали из него выходить.

— Троллейбус дальше не пойдет, — сказал мне кто-то из выходящих. — У Курского немцы!..

Я не слушала утром радио и не знала о прогоне пленных немцев через Москву. Не знаю, кому принадлежала идея свершить этот акт — показать пленным немцам Москву и Москве показать пленных немцев, но этот победный акт свершился.

Это было грандиозное зрелище. Немцы не шли, их

гнали. Не в обыкновенном смысле слова — в том новом, что ему придает война.

Пленные не ходят строем, их гонят, даже в том случае, когда они идут медленно. Так они шли в тот день. Не шли — брели, текли нескончаемой серо-зеленой массой, во всю ширину мостовой, — текли без конца и края, разоренное, безоружное, пленное войско. Текли, сопровождаемые молчанием толпящихся на тротуарах людей, тех, у кого они отняли близких — братьев, отцов, сыновей. На чью жизнь и свободу они посягали. На них смотрели с балконов, из окон. Никто не выкрикивал вслед им проклятий — проклятие притаилось в молчанье, в грозной той тишине, которая их окружала.

Помню сложное чувство ненависти и скрытого торжества, владевшее мной в тот день при виде этой серо-зеленой змеи, у которой вырвано жало. Я стояла на тротуаре, среди столпившихся москвичей, пока не увидела хвост процессии. Его венчали мочные машины со щетками. Струилась вода, щетки крутились, гадливо сметая след немецких сапог и ботинок с московских улиц. Высокая символика! Кто все это задумал? Спасибо ему! Он позволил людям испытать торжество Победы задолго до самого ее главного дня. До него еще надо было дожить...

Спустя многие годы я увидела тот исторический день — прогон пленных немцев через Москву в сорок четвертом году — в многосерийном документальном фильме о Великой Отечественной войне. За пределами двадцати его серий, снятых нашими и иностранными операторами в те годы, осталось многое важное, выпало самое определение Бобруйский котел, не показаны грандиозные сражения у озера Балатон, в Венгрии, предварившие продвижение к Вене. Даже в двадцать серий невозможно оказалось вместить четыре года Великой войны. Но этот летний день уцелел, и, сидя перед телевизором, я вновь увидела его — душноватый, синий, — на черно-белой пленке его синева не сохранилась, ее сберегла в своих запасниках моя память. Знакомые кадры — пленные и толпа, малую частицу которой я составляла. И плотное чувство своей причастности Истории пронизало меня.

Сопричастность!.. На ней держится жизнь человека, и литература — та же самая жизнь в ее отражении.

Надеюсь на сопричастность.

ПРЕДМЕТ ВОЗДЫХАНИЙ И СТИХИ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Начались занятия в школе, где я была новенькой. Тогда еще было отдельное обучение, его ввели во время войны, и класс состоял из девочек. Вернее, девушек, — ведь мы учились в десятом, и многим было уже восемнадцать. Одна даже рожать собралась — к концу учебного года. Ей разрешили закончить школу, и, не помещаясь уже за партой, она восседала на отдельном стуле в проходе возле окна.

Будущий папа тоже учился в школе, через две улицы от нас, и тоже в десятом. После уроков он заходил за ней и провозжал ее до дому. У этих двоих была своя взрослая жизнь, мы ей не завидовали, — скорее, сочувствовали.

Образовалась Компания, четыре девушки и три парня — из мужской школы. Они нас встречали, но не потому, что нас надо было встречать, просто им это нравилось. Занятия шли во вторую смену, на улицах было темно и скользко, и мы, выйдя из школьных дверей, были рады увидеть своих рыцарей, кутивших в сторонке, под горкой. Они отбирали наши портфели и плелись рядом с нами — взрослые мальчики, с первым пушком над верхней губой. Мы их всерьез не принимали.

Думаю, что и они нас тоже. Разве что им всем нравилась Роза, ее темно-карие татарские глаза и золотистые волосы, разделенные на пробор. Две косы, уложенные на затылке крест-накрест. Белозубая, с широкой щелью между зубами — признак везучести, она писала письма в Ленинград своему жениху, курсанту военно-морского училища. Это обстоятельство, которого она не скрывала, казалось им особенно привлекательным, — можно было соперничать с неизвестным счастливецом. Нам, остальным, нечем было похвастать.

Впрочем, один из троих, незадачливый и картавый, был в меня влюблен. Когда он умер потом, едва мы закончили школу, — неожиданно, сидя за шахматами, — только успел подойти к зеркалу и провести рукой по лицу, — мы узнали, что у него был порок сердца. Его смерть в те счастливые дни — был июнь сорок пятого и Победа уже свершилась — произвела на меня сильное впечатление. Отца вызвали вечером, в одиннадцатом часу. Сказали: с Борисом что-то. Я удивилась, что пришли за моим отцом, — у Бориса отец был тоже врач. Но пришли за моим, и я не

легла, ждала его возвращения. Отец вернулся в два часа ночи.

— Ну, что там стряслось? — спросила я нарочито грубо, чтоб скрыть волнение.

— Плохо стряслось, — ответил он. И, помолчав, добавил: — Борис умер.

И тут мне все вспомнилось. Как он чинил мне лыжи. И как однажды сказал, что в меня влюблен, и хотел поцеловать, но я его оттолкнула. И его бледное лицо с естественно ярким ртом...

Нет, он мне совсем не нравился. Тем более мне было жаль его. И поражала его смерть вблизи тех, необходимых смертей, которых еще так недавно требовала война. Уже в Литинституте я написала о нем стихи:

Октябрь. Уныло смотрят дачи
В кладбищенский, заросший сквер, —
Там погребен нескладный мальчик,
Не выговаривавший «эр».

А где-то в Троицком посаде
Пустует в сумерки квартал. —
Там он, неся мои тетради,
Мне о любви пробормотал.

И попрощался неуклюже,
Ногой запнувшись о порог,
И зашагал, ступая в лужи
Размытых глинистых дорог...

Я в жизни ухожу все дальше
И редко вспоминаю сквер,
Где погребен нескладный мальчик,
Не выговаривавший «эр».

Стихи нравились. Однокурсники знали их наизусть, были даже пародии, — «не выговаривавший «а», «не выговаривавший «б», «не выговаривавший «ы»...

Для моих товарищей это были только стихи, но нравились они потому, что за ними была живая жизнь, живое ощущение утраты.

«Я в жизни ухожу все дальше...»

А тогда, учась зимой в десятом, я придумала себе героя. Предмет Воздыханий. Он жил в домишке у церк-

ви — высокий, иконообразный. Он пел иногда в церковном хоре и, по слухам, учился в Московской консерватории на композиторском отделении.

Его звали Сергей, — может быть, в честь Сергиевской лавры. Русые мягкие волосы, что-то чеховское в чертах лица. Дубленый черный полушубок из овчины и брюки, заправленные в валенки с высокими голенищами.

Дорога из школы шла мимо его домишка, в окнах горел приветливый свет и слышалась музыка. Я знала, что он не женат, живет вдвоем с матерью и что они держат козу. Предмет Воздыханий вызвал прилив стихов искусственных, как самое чувство. Я вручала их Лиде — толстухе из нашей компании. Она звонила в дверь и молча их ему отдавала. Стихи были без подписи.

...Но этим чувством имену
Я чувств своих водоворот.
Я и козу к вам приревную,
Привязанную у ворот.

Она ведь ваша, ваша тоже,
И вам, пожалуй, дорога.
Но, впрочем, мы немного схожи, —
У ней и у меня рога.

Обычно он молча брал посланье, благодарил и захлопывал дверь. Но вдруг передал через Лиду, чтобы я пришла. В воскресенье, днем, часов в двенадцать... «Ровно полдень. Воскресенье...» Всегда вспоминаю эти стихи, когда всплывает тот день — солнечный и морозный.

Пришла. Он встретил меня в прихожей, помог снять пальто и ввел в темноватую после яркого дня комнату. Сел к роялю.

— Вы пишете стихи? — спросил он. И меня удивил его басовитый голос и то, что он обратился ко мне на «ы», — так никто никогда еще ко мне не обращался. — Хотите, напишем вместе романсы? Я сочиню музыку, а вы стихи... Знаете что? Давайте возьмем пишущую машинку и отнесем ее в поле... Там, среди природы, должно хорошо получиться. Вы печатать умеете?..

Я не умела печатать. И машинки у меня не было. Самое предложение мне показалось странным, — я полагала уже тогда, что не машинку надо нести в поле, а впечатление от поля унести в себе.

— Вы читали Ахматову?— спросил он и протянул мне тонкую книжку, я прочла на обложке заглавие: «Четки».— Почитайте!..

Он говорил еще что-то о Скрябине — о том, что по-настоящему оценят Скрябина лет через сто. И о том, что хорошо бы мне написать поэму о Троицкой лавре.

Он достал из книжного шкафчика толстый альбом, в нем был общий план лавры, как бы ее архитектурный проект, и, на отдельных страницах, все соборы ее и башни — уже сами по себе, и под каждым рисунком — название.

После ахматовских «Четок» я вновь вернулась к стихам, но теперь они были о моей первой любви — о мальчишке, бросившем школу, недоучась в седьмом.

Ему хотелось взрослым быть вполне,
Чтоб быть по-настоящему любимым.
Он каждый раз закуривал при мне,
Давая табачной горечью и дымом.

А я была капризна беспричинно,
И как-то раз заметить мне пришлось,
Что он бессилен против женских слез,
Что он уже не мальчик, а мужчина.

Его отец был кадровый командир, преподавал в военном училище. В Томске мы жили в одном доме. Он набрасывал на плечи артиллерийскую шинель отца и, стоя на крыльце, декламировал из «Маскарада»: «Что стоят ваши эпoletы?», — «Я с честью их достал, — и вам их не купить!»...

Он как-то особенно — смачно, с вызовом — бросал это: «... не купить!» Так бросают перчатку, знак вызова на дуэль. Любимым героем его был Печорин, артиллерийская шинель ему очень была к лицу. Он был красив, — даже взрослые женщины с ним флиртовали, не говоря о девчонках, что жили у нас во дворе. Мы с ним целовались на том же крыльце, когда темнело. Из соседнего сада приторно горько пахло черемухой, ее крепкий настой не мог раствориться даже в ночном открытом пространстве, кружилась от него голова. Молча вспыхивали зарницы, освещая на миг белые гроздья в чужом саду, крыльцо и нас двоих...

В канун разлуки мы поссорились. Не оставили друг другу ни адреса, ни надежды на встречу. И теперь, в Загорске, я скучала о нем, как и он, возможно, скучал обо мне. Если остался жив, — в сорок четвертом его должны были призвать в армию, а война еще длилась...

Две луны — в темном неое звездном
И в холодной ночной реке.
Очень ветрено, очень поздно,
И руке хорошо в руке.

Вдруг берешь ты меня за плечи
И, сквозь зубы, — «Люблю, пойми!»
Серебристую гладь калеча,
Ветер воду рябит в Томи...

Со стихами, ему посвященными, я поступала потом в Литературный институт, — там был объявлен творческий конкурс. Первый послевоенный набор.

Сероглазый, высокий, смуглый, —
Это помнится до сих пор,
И поверь, не остыли угли,
Там, где мы разожгли костер.

Они жгут мое сердце, губы,
Разъедают до слез глаза.
Дым клубится, и в серых клубках
Мне тебя разглядеть нельзя...

На конкурсе это стихотворение было признано одним из лучших.

Но когда станет уголь черным
И усыплет золой крыльцо,
Этот уголь в руке покорной
Нарисует твое лицо.

И в ту ночь будут вновь зарницы,
Свежим ветром пахнет с Томи.
С этим ветром к тебе домчится, —
«Я любила тебя, пойми!»...

Невозможность встречи и подлинность переживания...

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сорок пятый — счастливый! Его веселая поступь, салюты в честь взятия нашими фронтами чужих городов.

Приказы о награждении отличившихся в битве соединений, прочитанные по радио Левитаном, были подписаны лично генералиссимусом. Латинское звучание самого этого непривычного длинного слова...

Каждый день приближал к Победе, и пришла она все-таки неожиданно. Хотя уже взят был второго мая Берлин и радио в домах не выключали ни днем ни ночью...

Цвела сирень в больничном двореке, под нашими окнами. Маляры белили стенки в инфекционном корпусе — два инвалида, уволенные из армии по чистоте. Они белили неторопливо — голые до пояса, с рубцами шрамов на смуглых спинах, в известковой пыли, словно в муке. Белили и пели — тоже неторопливо, протяжно.

— Не для меня придет весна, — заводил один.

И другой, вторя ему, подхватывал:

— ...весна придет, и он вернется, но это все не для меня!.. Не для меня!..

Это было накануне объявления о том, что враг полностью капитулировал, и запомнилось мне вместе с синим ветренным утром, когда эти же маляры кинулись обнимать друг друга, и один вытирал второму слезы...

Звякнул под окнами велосипед — так обычно меня вызывала Роза.

— С Победой! — крикнула она, задрав голову и сияя белозубой улыбкой. — Я за тобой! Мы едем в Москву!..

Дождей давно не было, и уличная пыль, кружась от свежего ветра, попадала в глаза. От этой ли пыли, от солнца или от радостных слез глаза людей были красны и чуть прищурены. В Москву ехали многие, вагон был набит людьми, у которых был общий Великий Праздник. И когда на одной из остановок вошли двое военных и один из них сказал, обратясь к пассажирам: «Здравствуйте!» — в вагоне никто не удивился. Потому что в тот день не было во всей стране людей незнакомых, — везде были только свои, родные.

Мы в обнимку шатались по праздничным улицам до самого того часа, когда грянул салют — главный салют Победы. В небе рвались ракеты и гасли россыпью звезд, прожектора крутили «сетку», в их голубых лучах, пересекая их, проносились птицы — не то голуби, не то галки.

Люди плакали, целовались, пели от счастья. Нас стискивало людским горячим теплом и несло куда-то в общем потоке. А орудия все били, и красный отблеск коротких вспышек пробегал по потрясенным небесам.

Прошло тридцать лет со Дня Победы. Стояла удивительная весна семьдесят пятого. К Девятому мая все распустилось и расцвело, и опять так много было сирени...

И было что-то щемящее в этом пышном праздничном людях и природе. В том, что люди, которым дарили цветы, терялись среди дарящих. Пусть еще вдалеке, но предвиделся день — Девятое мая, — когда эту сирень, эти огненные тюльпаны будут уже не дарить, а просто класть на могильный холм или мраморную плиту.

«ТО НЕ ТЫ!»...

Я не была на фронте. Моим фронтом был госпиталь. Его длинные коридоры, его сложные запахи — смесь мази Вишневского и йодоформа. Стук костылей и скрип протезов. Протезный завод доставлял их партиями, и тогда каждый выбирал среди сложенных в вестибюле свою кожаную, на шарнирах, ногу и, взяв ее, как ружье, на плечо, на костылях скакал в палату. С этой кожаной штукой надо было смириться, привыкнуть к ней, ощутить ее как свою.

Приходили шефы, приносили подарки раненым — вышитые кисеты, одеколон. Я смотрела на них с высока своих пятнадцати лет — потому что была тут своя. Мой белый халат был подкорочен, пригнан по росту, на голове — белая шапочка. Они звали меня сестренка, хотя я была в должности санитарки — нянечки, а сестренкой им приходилась скорей по возрасту. Поэтому я была сестренкой, в отличие от сестрички, — ласковое название сестры милосердия. Я не умела делать уколы и перевязки, но я могла вымыть полы в палате, остричь ногти, подать стеклянный сосуд, по сходству названный «уткой». Открыть форточку или окно, написать письмо под диктовку безрукого, прибрать в прикроватной тумбочке, свернуть «козью ножку». А когда прибывал эшелон с новой партией раненых, помогала таскать носилки. Однажды тащили уже четвертого, тяжеленного дядю, в соседний корпус, через дорогу, и — рука развилась. Мне потом объяс-

нили, что есть такое определение — р а з в и л а с ь. Это когда мышца внезапно отказывает. Солнце палит, раненый в полубеспамятстве кроет нас почем зря, а я не могу нести, — мышца перенапряглась, рука в запястье обмякла. Спасибо, мальчишек каких-то встретили, помогли до-тащить...

(Как тут не вспомнить таинственное русское в с т у п и л о — непередаваемое и непереваемое ощущение в теле, дискомфорт, который сам человек не может ничем обосновать, а только отмечает как некую внешнюю силу в применении к себе — В С Т У П И Л О...)

Тимуровская команда, в которой мне довелось стать капитаном, была прекрасной, но все же детской игрой. Военные госпитали — полевой, номер пятнадцать — ноль шесть, и двенадцать — двадцать девять — протезный, — помогли мне рано избавиться от того домашнего, инфантильного, что было во мне и что до сих пор многим мешает. Тем, чьим главным университетом остался самый университет.

Большинство раненых не закончили даже средней школы, — у каждого были на то свои объяснения. Один не успел, другой опоздал. Собранные в госпитальных палатах, прошедшие сквозь огонь войны — Сталинграда и Курской дуги, разноязыкие — один туркмен едва говорил по-русски, называл старшую сестру «страшный сестра», — они представляли всю страну, которую редко еще тогда именовали старинным ее названьем — Р о с с и я.

Среди них был Иван Отрешко. Один из тех, кто диктовал мне свои письма. Он был воронежский, немцы только что были оттуда выбиты. Он писал домой, и письма не доходили. А может, и доходили, потому что назад не возвращались. Но только ответа не было. Иван был ранен в правую руку, когда сняли гипс, оказалось, что не работают пальцы. А рубец на вид был совсем маленький.

Иван заплакал — оттого что не сможет играть на гитаре. Музыкальный, как все украинцы, он играл и на гитаре, и на гармошке, веселил до войны родное село, Старую Калитву. Иногда в конце долгого госпитального дня мы с ним пели пели его любимую:

Карые очи, мылые очи,
Свитли як зирка, ясни як день,

Карие очи, очи дивочи,
Де ж вы навчились
Звóдити людэй...

За высоким госпитальным окном был виден город и, между домами, узкая полоска Томи. Ему было девятнадцать лет. Он был шупленький, долговязый. Бязевые кальсоны торчали из-под короткого байкового халата. Верхние веки, чуть скошенные к вискам, тяжеловатые, придавали его зеленым глазам выражение диковатости и тоски. Особенно когда он смотрел в окно, на полоску речной воды за домами.

Чи вас ворижка приворожила,
Чи вам цыганка чари дала,
Шо я так пыльно вас полюбила,
Так шо за вас бы все виддала...

Спустя много лет он нашел меня с помощью адресного стола, проезжая через Москву, и мы повидались. Он рассказал, что, приехав из госпиталя домой — его откомиссовали по чистой, — попал в оккупацию, — немцы вновь захватили Калитвянский район, и земляки его прятали в погребе до прихода своих.

Иван плакал, курил, роняя пепел в тарелку. Спрашивал про моего отца, называя по имени-отчеству. Говорил:

— Хороший был доктор, Анатолий Ильич! Обещал, что пальцы потом разработаются, и — точно!.. Сказал, что теперь на баяне играет его старшая, а младшая пляшет. Ну, и он им на гитаре подыгрывает. В общем, целый ансамбль!..

— А жена что делает? — спросила я.

— Жена? — переспросил он. — И повторил: — Жена...

Я подумала, что его любимая песня относилась к другой, — «...так шо за вас бы все виддала», но не стала спрашивать. Слишком все это было давно — война, Сибирь, госпиталь. И он сам мало похож был на того шупленького раненого солдатика, в бязевых кальсонах из-под байкового халата. Должно быть, и он тщетно искал во мне ту, прежнюю. И когда моя дочка, румяная с улицы, вошла в комнату, закричал радостно:

— То не ты! — махнул рукой в мою сторону. — А от это — ты!..

Но едва заметный рубец на его правой руке утверждал, что все это было не с кем-то другим, а с нами...

Этот термин я услышала недавно. Детский невропатолог сказал о нашей Кате:

— Она скоро заговорит, потому что все понимает. Ее внутренняя речь уже полностью сформировалась...

Внутренняя речь. Человек все понимает. Словарь сформировался...

А у писателя?.. Сформировался замысел. Внутренняя, произнесенная речь. Все понял, осмыслил, но пока молчит. И если будет молчать, его никто не услышит. Внутренний монолог героя был моден еще недавно и звучал за кадром. Я не об этом. О внутренних, никогда не написанных книгах.

Об ораторах, которые молчат, набросив платок на роток. Об их внутренних ярких речах.

Молчат, хотя все понимают. Они — заговорят ли?..

Я писала стихи. Но я не была уверена, что хочу стать писателем. Впрочем, и ничто другое не манило. Стихи я писала не для того, чтобы написать стихотворение. Тем более не было мысли увидеть его в печати. Была потребность высказать переживание в форме стиха. Мой эмоциональный склад соответствовал определенному ритму, получал законченность в рифме.

Все, что переполняло меня в семнадцать лет, укладывалось в стихи и находило в них успокоение. Я не знала, хороши они или плохи, но не писать стихов не могла, — это было моим естественным состоянием.

В один из жарких дней июля, приехав из Загорска в Москву, в набитой по военному времени электричке, я очутилась на Тверском бульваре. В глубине сада, за чугунной решеткой стоял старый барский дом в два этажа. У чугунных ворот при входе в сад была укреплена большая доска с условиями приема в Литературный институт имени Горького при Союзе писателей СССР. В ней сообщались условия приема и было сказано о предварительном творческом конкурсе — сколько стихотворений или рассказов

надо сдать в приемную комиссию и какие экзамены ждут тех, кто будет допущен.

Я вошла в калитку и пошла по дорожке, ведущей к зданию. Стояли ведра, щетки, пахло краской, — шел ремонт. У входа меня никто не встретил, я поднялась по ступенькам и, свернув налево, оказалась в светлом коридоре, где висела еще к маю выпущенная стенгазета. В ней были помещены стихи студентов, — под каждым фамилия и указание курса — первый, пятый, третий...

Стихи были слабые, мне они не понравились. И — странно — именно это убедило меня в том, что я могу и должна поступить в Литературный институт. Что меня примут. Появилась уверенность в себе, а вместе с ней и желание стать студенткой, учиться в этом старинном особняке, писать стихи, соревноваться с кем-то, кого-то опережать...

И самый старинный дом в глубине сада, его элегический вид — я еще не знала тогда, что здесь родился Герцен, — и этот зеленый сад, где сейчас пели и щебетали птицы, тоже как-то располагали, привлекали к себе. Обещали что-то высокое, прекрасное...

Так пришло решение. Но стихов было мало. И я решила писать поэму. Времени было достаточно — целый учебный школьный год.

Почему поэму?.. Нравилось самое слово — поэма... И было время поэм — «Зоя» Маргариты Алигер, «Сын» Павла Антокольского, даже о «Теркине» тоже говорили — поэма. И читались тогда поэмы. Теперь их как-то трудно и скучновато читать.

Всех ближе был мне Твардовский. Его стиль, юмор. И герои его — я их в госпитале перевидала, дружила с ними. Свой Теркин там был в каждой палате.

В поэме, которую я писала в школе, часто во время урока, были нотки теркинские — оттуда...

... Из соседнего вагона
Песня грустная слышна.

Песня русская, родная,
Про несчастную любовь.
Наизусть ее он знает,
Но приятно слушать вновь.

Эх, дойти бы до вагона,
Увидать того бойца,
За плечо легонько тронуть,
Посмотреть, каков с лица.

Что, товарищ, так тоскливо?
Не испил любовь до дна?
Ты несчастный, я — счастливый,
Нам обоим не до сна.

Едем мы навстречу буре,
Ты солдат, и я солдат.
Так давай, дружок, закурим,
Угощаю,— самосад...

Поэма моя называлась «За счастье». Ее герой, по имени Володя, уезжал на фронт после десятого класса и, став политруком, погибал на Дунае. Все мне было знакомо. Война, первая любовь, разлука, ранения, горе потерь. Старалась лишь избегать описания самого боя, обходясь главами перед боем и после боя...

...Ты прав, я не трушу,
Привык я тонуть и гореть.
Но вот что сегодня тревожит мне душу,—
Не хочется здесь умереть.

Пусть здесь соловьи и дубравы Дуная,
Воспетая эта река.
Пусть, Вовка! Но как умирать, если знаешь,
Что наша земля далека.

Но как умирать, если девушки наши
Твой холм не украсят венком...
Но как умирать, не последовав дальше,
На запад, за нашим полком!..

Так говорит перед решающим боем на Дунае Алеша, друг главного героя поэмы. И Володя — политрук — ему отвечает:

Ты знаешь, Алеша, мне это знакомо,
Я думал об этом не раз.
И что говорить,— далеко мы от дома,
Но помнит Россия о нас.

Россия — одна, и другую не сыщешь
Ни встарь, ни сейчас и ни впредь,
И, где б ни случилось, не страшно, дружище,
За счастье ее умереть...

Писала на уроках. И по дороге в школу — до нее было добрых полтора километра, мимо Троице-Сергиевской лавры, на горку и с горки, под нереальным пушистым снегом, а после весенним теплым дождем. Записывала на клочках бумаги, а потом в общую тетрадь с серой клеенчатой обложкой.

Шла последняя военная зима. По радио передавали сводки о наступлении на всех фронтах, читали солдатские письма, адресованные неизвестным подругам. Звучали песни и музыка. Вот на этом фоне писала я поэму «За счастье». Работалось легко, хотя отдельные главы не давались, и я их несколько раз переписывала.

Я старалась. Ведь впереди был творческий конкурс!.. От него зависело, попаду ли я в Литинститут...

Поэма «За счастье» и стихи о первой любви были моими единственными ходатаями. Позднее, уже студенткой, узнала, что многие запаслись хвалебными отзывами знакомых писателей. Сдавали их приемной комиссии вместе с папкой стихов или рассказов. У меня знакомых писателей не было. Я надеялась на себя.

Настолько надеялась, что, сдав следующим летом в институт папку с поэмой и лирическими стихами, даже уехала в Харьков, на родину. Родители обещали мне эту поездку, когда закончу десятый и получу аттестат зрелости.

И я его получила в свой срок. Но до зрелости — житейской, литературной, да и просто человеческой — было еще далеко. Предстояло долгое созревание...

Летом сорок пятого мой город хранил резкие черты пережитого. Стоял пустотелый остов Госпрома, насквозь просвеченный солнцем. На домах меловые надписи — «Мин не обнаружено» — и фамилия сапера. Вместо школы, где я училась, груды развалин. Туда, на камни и щебень, я положила букет гвоздик. —

Я жила у моей школьной подруги Нины. Одноклассник принес нам вишни в пробитой немецкой каске. А бывшая соученица, пережившая оккупацию, сказала, ткнув паль-

цем на двух молодых военных, сидевших в фойе кинотеатра и оживленно обсуждающих что-то:

— Нахалы! Разве немецкий офицер позволил бы себе сидеть, когда мы стоим!..

Мы все посмотрели на нее.

«Разве немецкий офицер позволил бы себе...»

Семь ребят, учившихся вместе с нами, лежали в глубоком рву, за Тракторным.

Памятник Шевченко в пулевых оспинах, погибшие здания и выжившие деревья. В доме, где я родилась,— свет и чьи-то неясные тени. В городском саду военный оркестр по вечерам и танцы, и освещенная цветными прожекторами толпа гуляющих, и неестественная в свете прожекторов красно-голубая листва. Лето победителей. Люди не сидели по домам. Здесь, в вечерней гудящей толпе, они полнее чувствовали свою принадлежность миру, победе, общей радости.

Уезжая из Москвы, я поручила родителям справиться в середине августа о результатах конкурса. Сама я как-то отошла, отключилась от мыслей об институте. Слишком сильно было впечатление от встречи с родным городом. И я удивилась и обрадовалась, как чему-то неожиданному, получив телеграмму из дома: «Отзывы очень хорошие, говорят, что будешь безусловно принята»...

До занятий оставалось дней десять, а уехать было не просто. По этой телеграмме мне выдали бесплацкартный билет в воинской кассе. Как я догадалась туда обратиться? Должно быть, из чувства веры в тех, кто принес победу.

Поезда брали штурмом. Друзья с трудом затолкнули меня в битком набитый вагон. Чемодан просунуть не удалось, его вбросили на ходу, в окно — благо окна в вагонах тогда опускались.

«СДАМ КОЙКУ СТУДЕНТКЕ...»

В том сорок пятом — счастливом — занятия в Литинституте начались поздно — семнадцатого сентября. Не знаю, что была за причина, нам не объяснили.

Мы, принятые, прошедшие главные врата — творческий конкурс, ждали вступительных экзаменов. Возможно, в них и коренилась задержка. Их откладывали со дня на день, и однажды, когда я, в какой уже раз, зашла спрашивать об экзаменах, секретарь учебной части, милостивая женщина, сидевшая в тесной комнате в самом

конце длинного темноватого коридора, спросила улыбаясь:

— Вы очень огорчитесь, если узнаете, что экзаменов в этом году не будет? Приходите на занятия семнадцатого сентября!..

Ее улыбка явно относилась к моему юному возрасту, румяным щекам и всему облику, выдававшему недавнюю школьницу. Дружеские, нежно-насмешливые подначки моих товарищей сопровождали меня на первом курсе, частично и на втором, — принятые в институт после фронта и ранений, они обращались со мной, как с младшей сестрой. Это напоминало мне госпиталь, где раненые называли меня сестренкой. Тех радовало, что я рядом, у этих сквозила досада, — то, что меня, девчонку, приняли в институт наряду с ними, как бы снижало значительность их поступления.

— Выйди, — говорили они. — У нас серьезный разговор!..

— Детский сад! — говорили они. — Тебе еще рано рассуждать о таких вещах!..

Они говорили при этом о литературе, спорили о Сельвинском и Пастернаке. Я начала курить, чтобы казаться взрослой и независимой. Они отнимали у меня папиросы:

— Это еще что такое?!

Они добились своего, — я не пристрастилась к курению. А они постепенно смирились с тем, что за соседним с ними столом, в той же аудитории сидит похожая на школьницу студентка.

Студентка!.. И новые, еще непривычные термины — лекция, семинар, зачет, стипендия. Ощущение непривычной свободы, — слушаешь, запоминаешь, записываешь, а спросят не скоро, через полгода. «Студент бывает весел от сессии до сессии, а сессии всего два раза в год».

Эту песню я услышала впервые тогда же, осенью.

Вставал вопрос — где мне жить? В общежитии? Там еще шел ремонт, — из Переделкина его решено было перевести в самые институтские стены, в пустующий полуподвал. Те, кому жить было негде, ночевали пока на столах в какой-то подсобной, не учебной комнате.

Да и возьмут ли меня в общежитие? Осенью сорок пятого отец перевелся в Люберцы. Это было еще ближе к Москве, но больница, где он работал, стояла в открытом поле и, хотя значилась как Люберецкая, была скорее уже в Панках, где останавливались не все поезда.

Родители поселили меня в комнатке на Пушкинской улице. Кто-то сосватал, или просто отец прочитал объявление где-нибудь на столбе: — «Сдам койку студентке»... Скорее всего, так и было. Прочитал, прикинул, что до института будет не более получаса ходьбы, пошел по указанному адресу и дал задаток. Отец был человек решительный.

В комнатке было тепло. На подслеповатом, с весны не мытом окне, в пластмассовой вазочке стояли матерчатые ромашки. Была кровать с высокой пышной периной и крупно вязанным покрывалом, похожим на невод. Был круглый обеденный стол у стены и фотографии в рамках — моя хозяйка в далекой молодости.

Шляпки, сумочки, туфли — все было оттуда, из кинофильмов с участием Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд. Теперь ей было под шестьдесят, она страдала одышкой, ее лицо, густо покрытое жирным кремом, сонно лоснилось, а на некогда голубом атласном халате было множество желтоватых пятен.

— Ирина Львовна, — сказала она басом. — Не подумайте, я курю астматол... Ваш отец знает, что это такое, он ведь врач... Мой последний муж тоже был врач. Хорошо иметь своего врача, не правда ли?.. Вы можете располагаться. На ночь мы будем отодвигать стол и ставить сюда раскладушку. Нет, не сомневайтесь, все поместится. Соседи у меня очень приличные, я их предупредила, что у меня будет жить девочка, они не против...

Дверь в коридор была приоткрыта, и из кухни долетали громкие, отнюдь не мелодичные голоса.

— Не обращайтесь внимания, — сказала она и плотно прикрыла дверь. — Это они любя. В каждой семье бывает шум по пустякам...

Я стала жить у Ирины Львовны. Приходила под вечер, — после лекций нам жаль было расставаться, и мы всем курсом отправлялись в музей или в кино.

Все мы были голодные, безденежные. Я брала с собой на занятия две или три картофелины, сваренные «в мундире». Когда шла в институт, они весело перекатывались внутри коричневого лакированного чемоданчика, — его привез из Берлина маме в подарок ее брат, профессор, еще до войны. Чемоданчик этот был размером как ныне вошедшие в моду прямоугольные «дипломаты», но поглубже, с шелковой полинялой подкладкой.

К институту меня приодели. Сшили мне бархатное

платье, переделав из бабушкиного. В этом черном бархатном платье, отделанном белым кружевом, я ходила и на занятия, и в кино, и в гости — оно было у меня вообще единственное, на все случаи. Ходила на поэтические вечера в Политехнический. Иногда меня провожал кто-нибудь из наших.

— Как жаль, что вы так плохо живете! — говорил, проводив меня до дверей, галантный кавказец Расул.

Другие откровенно радовались, что близко. Ирина Львовна терпеливо открывала мне дверь — из-под халата белела длинная ночная рубашка, — и я укладывалась на свою скрипучую раскладушку. Однажды, вернувшись, я раскладушки не обнаружила, и стол стоял под-дневному.

— Залезай в постель, — сказала Ирина Львовна. — Места хватит! Если хочешь, ложись к стеночке...

Я брезгливо легла в уже согретую, пахнущую чужим телом постель, отжалась к прохладной стенке. И долго не могла заснуть, слушая мерный храп. В нем было две интонации, одна словно вопрошала о чем-то, а вторая отвечала ей в тон.

Вопрошала — отвечала, вопрошала — отвечала...

Это не то что в детстве — забраться среди ночи к бабушке под бочок, спасаясь от страшного сна и находя здесь покой и спасение.

Нет, думала я, не буду здесь жить. Не хочу!..

Но утром, выстояв очередь к коммунальному рукомынику, как всегда побежала в институт, стуча отварными картошками, катавшимися в лакированном чемоданчике. Снова лекции, тесная аудитория нашего первого курса, красно-желтый осенний сад за окнами. Каждая лекция по два часа с коротким перерывом. На первом курсе я еще записывала, потом бросила не только писать, но подчас даже и слушать. Как на концерте — музыка звучит, а думаешь о своем. Но что-то подсознательно западает, остается в памяти.

Вечером снова теплая, согретая чужим телом постель, несвежий запах лежалых простынь и прохладная стенка, к которой жмусь, боясь коснуться моей рыхлой хозяйки. И ее храп в две интонации: вопрос — ответ, вопрос — ответ...

Однажды я сварила себе суп из консервов, горох с мясом. Сидя на лекциях, я все время помнила, что суп

в кастрюльке еще остался. Одной идти домой не хотелось, и я позвала однокурсника, назовем его здесь Венькой. Этот Венька всегда хотел есть, впрочем, как и все мы. Он был безалаберный, неряшливый, и хотя и носил шинель — она, как и многим, тогда заменяла ему пальто, — но в его нелепой фигуре ничто не напоминало о том, что он был в дни войны солдатом. Венька тоже любил дразнить меня, попрекал молодостью, но добродушно.

Мои стихи ему нравились, и он помнил их наизусть и читал знакомым, тоже поэтам, даже на улице, гордясь, как своими. Читал, как тогда было принято, — ритмически, рубя воздух рукой.

Я знаю, что вы иностранец,
А это звучит, как прощай.

Я знаю, вы рано или поздно
Найдете на родину путь,
По солнцу, по ветру, по звездам,
Еще по чему-нибудь...

Я их только что написала, а он уже знал. И я любила его стихи. Он писал их на лекциях крупным, словно неустоявшимся, детским почерком, не закончив, комкал и бросал в ящик стола. У него было забавное лицо — с толстым носом и близорукими глазами. Он их постоянно щурил, как от яркого света, и при этом еще морщил нос. Но он был талантлив, а в институте у нас это считалось главным. Любый красавец, оказавшись бездарным, тут же обращался в урод.

Вот этого Веньку я позвала доедать со мной вместе гороховый суп. Мы пошли сразу же после лекций. Нам открыла соседка. Увидев Веньку, его красное с лиловым оттенком лицо, шинель без двух пуговиц, сощуренные глаза — и отшатнулась. Хотела быстро захлопнуть дверь, но тут увидела меня.

Вечером Ирина Львовна, покуривая свой астматол, сказала:

— Не надо сюда никого приводить. Соседи недовольны. Еще что-нибудь стащат, а мне отвечать!..

Я была потрясена. Венька что-нибудь стащит? Наш талантливый, наш — может быть — гениальный Венька?! Или Расул? Или Игорь?.. Значит, я никого не могу накормить супом?..

Я твердо решила, что уйду в общежитие. Как только оно откроется. Но все случилось раньше.

Как-то под вечер я услышала, как позвонили в дверь и сварливый голос соседки сказал:

— Ее нет дома!.. — И добавил: — И не ходите больше сюда!..

— Венька! — Я рывком открыла дверь на лестницу. Венька уже спускался, громко топая по ступенькам. — Венька, вернись! — крикнула я.

Он помог мне собрать и связать мои вещи. Их было так мало, что он их легко нес в одной руке, а я шагала рядом со своим чемоданчиком.

Было немного жаль, что накануне отец заплатил Ирине Львовне за месяц вперед, — она брала пятьдесят рублей.

Так я ушла в общежитие. Оно еще не открылось, стены в подвале красили голубой краской. Краски не жалели. Словно кто-то добрый хотел возместить для нас нехватку солнца и ясного неба.

Подложив под себя какое-то тряпье, предназначенное для увязыванья в стопки библиотечных книг — библиотека переезжала в другую часть здания, — я со счастливым вздохом улеглась на одном из учебных столов. Вокруг были свои, и спалось мне на твердом столе так сладко, как спится в родном пределе тому, кто бежал из долгого плена.

Не знала я только, что мне скажут на это родители. Мама первая узнала, что я ушла от Ирины Львовны. Я ждала, что она рассердится, но она сказала:

— Возможно, так даже лучше...

Мы сидели в садике института, где еще не было памятника Герцену и было светло от желтых листьев, устлавших землю.

— Ты знаешь, что она предложила вчера папе? Чтобы он развелся со мной и фиктивно на ней женился. Тогда она сможет его прописать у себя. Она собирается уезжать из Москвы и хочет продать кому-нибудь свою комнату... А потом мы с папой опять распишемся, и комната будет наша...

— Ну, и что папа? — спросила я. Мне вспомнились слова моей хозяйки: «Хорошо иметь своего врача».

— Ты же знаешь его! Твой отец уже загорелся этой идеей... Но мне это что-то совсем не нравится...

— Мне тоже, — сказала я.

Мой отец трижды менял свое имя. Новорожденного, его назвали Харитоном. По его деду со стороны отца, Ильи Харитоновича. Домашние звали его Тоня, что звучало бы по-женски везде, кроме Одессы. Там, в Одессе, человека могут называть как угодно. А мой отец был одесситом. И когда он подрос, имя Харитон ему не понравилось. Учеником четвертого класса гимназии он тайком взял свое свидетельство о рождении и без ведома родителей переделался из Харитона на библейского Изекиила. А домашние звали его как прежде — Тоней.

Потом, уже взрослым вполне человеком, решил стать Анатолием. А домашние звали все так же — Тоней. И жена звала его Тоней.

Они познакомились, когда ей было девять лет, а ему одиннадцать. Он учился в гимназии с ее старшим братом Яковом, сидел с ним за одной партией и списывал у него задачи — был не силен в арифметике. Женившись потом на сестре своего друга, моей матери, он всегда помнил это его превосходство и подчас смотрел на него как троечник на отличника — с почтительным восхищением. Основания для этого были. Мой дядя, Яков Павлович, был человек незаурядный — видный химик, профессор. Получил Сталинскую премию в самый год ее учреждения, еще до войны. С острым аналитическим умом, несколько щеголеватый — о таких говорят блестящий человек, — дядя равно покорял собеседников и собеседниц. Он свободно владел иностранными языками, а у папы в анкете, найденной мною в его столе, — на вопрос, каким языком владеете, сказано: «Французским — слабо»... Владение папино французским заключалось в двух или трех фразах, которым он выучился у моей матери, преподававшей французский.

В детстве науки не влекли его. Он был лентяй. Гонял по двору обруч, лихо катался на роликах. Его занимало, как во дворе у немца-колбасника Францке лошадь ходит кругами, вращая гигантскую мясорубку.

Мой отец не был книжным человеком. Книги он любил потом.

Его ранние впечатления необычайно конкретны и

ярки. Теперь я знаю, что часто вовсе не книжникам уготована доля художников и поэтов...

Папа был троечник. И его взяли из гимназии, чтобы он помогал своему отцу в аптеке. В ту пору семья моей матери уже Одессу покинула, — они жили там временно. Но переписка между мальчиками продолжалась. Может быть, она и заглохла бы, если бы мой отец не был влюблен в золотоволосую, зеленоглазую Зою, сестру своего друга. Он писал как бы сразу двоим — на конверте ставил ее имя, а обращался в письме к ее брату.

Якова — Яшу — он нежно любил всю жизнь.

— Но есть одна вещь, — сказал мне отец уже в старости, — которой я ему не простил... Меня взяли из гимназии Панченко, я работал аптекарским помощником. Готовил лекарства по рецептам, принимал заказы. И вдруг очень затосковал, и в письме спросил у Яши совета — вернуться ли мне в гимназию?.. Я сам все решил. И я не в совете нуждался — в его поддержке. Он ответил, что учиться мне вовсе не обязательно, что можно прекрасно прожить и без всякого образования. И в письме философствовал долго на эту тему... Помню, я читал письмо и плакал от обиды. Ведь я уважал его, верил ему... А вскоре пришло письмо от Зои. Твоя мама писала: «Тоня, Вам обязательно надо учиться...» Я вернулся в гимназию. Сидел, великовозрастный балбес, в пятом классе. Учился прилежно, два учебных года проходил за год. Я уже мечтал стать врачом...

В медицинском институте он тоже прошел два курса за год. В его дипломе, выданном ему в двадцать третьем году, сказано: «Предъявитель сего, гражданин (следует имя, фамилия, год рождения и перечень экзаменов и зачетов за десять полугодий)... на основании всего, выше изложенного... по прохождении им медицинского стажа имеет право на получение звания В Р А Ч А».

Он был прекрасным врачом. И, не имевший никаких званий, всю жизнь воспринимал свою должность врача — как звание.

Еще студентом, в мае двадцать второго года, пройдя специальные курсы, он возглавил противохолерный прививочный отряд в Одесском уезде. Окончив институт, проходил стажировку в Боткинской больнице, в Москве. Однажды в его дежурство привезли Мейерхольда, — он поранил руку на репетиции. Молодой врач обработал

рану, сделал перевязку. На другой день Мейерхольд прислал отцу два билета на свой новый спектакль.

Все было вновь — Москва, врачебное дело. Каждый день таил неожиданность.

Он снял квартиру в двухэтажном доме на Рождественском бульваре и решил открыть медицинский кабинет.

Заказал табличку на эмали. Повесил у входа, — она не имела вида. Дом был старый, облезший. Папа пригласил маляра, заплатил ему, и тот побелил фасад, — одессит, где бы потом он ни жил, остается всегда одесситом.

Младший брат папы, Филипп, приехал к нему погостить из Одессы. Папа встретил его на извозчике с крытым верхом, — в Одессе их называли «штейгеры», ездить на них считалось шиком. Когда подъехали к дому, он показал на свежесмытый фасад с табличкой.

Сказал с гордостью:

— Красота!..

Брата он заставлял сидеть в прихожей — изображать очередь к врачу. Но играть было не перед кем, — больные сюда не спешили...

К частной практике он остыл навсегда и никогда потом ею не занимался.

Маленькая квартира, в две комнаты, на Рождественском бульваре, в Москве... Папа простился с ней, женившись на моей матери, — она жила в Харькове и покидать его не хотела. Папа так и не смог полюбить этот пыльный город. Он был одессит и как настоящий одессит мечтал жить в Москве или в Ленинграде.

В своей семье папа был первенец, Филипп — младший, между ними сестры Александра и Софья. Папа дружил с Александрой — Шурой. Она была очень музыкальна, училась в Одесской консерватории одновременно по классу вокала и фортепьяно. В нее был влюблен террорист Блюмкин, будущий убийца посла Мирбаха.

Чтобы увидеть Шуру, он под видом обыска врвался в дом, держа в руке бомбу. Мой дед, Илья Харитонович, бледнея, просил: — Пожалуйста, эту штуку положите сюда... Здесь ей будет спокойно...

И указывал на кровать. Блюмкин клал бомбу на подушку. Входила Шура. Спокойно говорила:

— Оставьте нас, нам надо поговорить...

Они недолго оставались вдвоем. Вскоре Блюмкин уходил, как-то боком, униженно, со своей бомбой в руке.

— Что ты ему сказала? — спрашивали домашние.

— Сказала, что его не люблю...

Шура умерла от тифа, когда ей было двадцать лет. А Софья, миловидная, инфантильная, страдавшая астмой, замуж не вышла. Она была врач-микробиолог и умерла, не дожив до пятидесяти.

К концу жизни их осталось двое — Филипп и папа. Трудно найти братьев менее схожих. Только иссиня-черные волосы, цвета воронова крыла, долго сопротивлявшиеся седине, да любовь к технике во всех ее видах сближали их.

Обоих влекли магнитофоны, проигрыватели, транзисторные приемники. В папиной любви к технике было что-то мальчишеское, — хотелось иметь все новейшее, самое современное... В правилах пользования он разбирался долго, посапывая от напряжения, и в конце концов постигал азы. Я подшучивала над ним, говоря, что у него к технике любовь без взаимности. Впрочем, у братьев было еще одно общее качество — доброта. Но у каждого она проявлялась по-своему. И еще то, что оба они были одесситы.

Филипп стал писателем. Начинать он весьма удачно. В конце двадцатых годов его часто печатали в тонких журналах. По его рассказу «Два Бульди два» был снят одноименный фильм, вошедший в историю кинематографа. Болезнь Паркинсона лишила его возможности активно участвовать в жизни, в последние годы он вовсе не покидал свой дом. Сидел на диване, покрытом большим ковром, спускавшимся со стены, и смотрел телевизор, — возле него их стояло два, на случай, если один испортится, — цветной и черно-белый. Или диктовал своей жене Ане воспоминания — о бурной молодости, о многих литераторах, с которыми общался, и о своем друге Юрии Карловиче Олеше, которого боготворил как писателя и называл по имени — Юрой, но на «вы». Воспоминания Филиппа напечатаны в двух номерах журнала «Звезда», первый номер вышел за месяц до папиной смерти. Папа просил почитать ему вслух, — самому уже было трудно. Хвалил, удивлялся — в Филиппа он никогда не верил. Папа был чужд богеме. Филипп же смолodu, да и позже, не пренебрегал ни крепким словом, ни рюмкой. Отец из напитков предпочитал кагор и шампанское. В последние

годы стал выпивать рюмочку коньяку — чтобы поддержать компанию. И просто нравилось...

Как-то он пришел к Филиппу, сел в кресло возле дивана, покрытого ковром, спускаясь со стены, и, глядя значительно на младшего брата, тоже старика, хотя и моложе его на девять лет, произнес:

— Сегал!..

Так звали домашнего врача, который лечил их в детстве. В семье папы существовала легенда, что Филипп — незаконный сын Сегала, к которому их мать, моя бабушка Вера, была якобы равнодушна.

— Так вот почему ты меня не любишь! — вскричал Филипп.

— Почему «не люблю»? — возразил папа. — Я питаю к тебе определенные чувства...

Филипп рассказывал это, смеясь. «Определенные чувства»... Папина характеристика его отношения к брату была на редкость точна.

Филипп был красив. Болезнь не коснулась его лица — матового, с гипнотическим взглядом огненных черных глаз, восприимчивых к меткому слову и шутке и загоравшихся нетерпеливым блеском, когда он слышал о вышедшей книге или новой марке магнитофона. Или ждал, когда гости сядут за стол. Он любил людей, и люди тянулись к нему. В своем рассказе «Один билет до Одессы» я описала его жизнь в четырех стенах, среди книжных полок, и этот диван, покрытый ковром...

Что же папу отталкивало в моем дядьке? Не грехи ли собственной молодости?..

Я часто бывала там. Особенно после смерти отца, — тянуло к его брату. Говорили о папе, Филипп вспоминал прошлое. И вдруг сказал:

— Ты думаешь, что твоя мама — его первая жена?..

Я ответила, что, по моим сведениям, она у отца вторая.

Я узнала об этом не скоро, мне было уже за тридцать. О том, что папа успел жениться еще до того, как вновь встретился со своей первой любовью. Женился на миловидной, тоже студентке, медичке.

— Ее звали Шура, как нашу сестру, — сказал Филипп. — Ее фамилии я не помню... А у второй фамилия была турецкая...

— Турецкая? — переспросила я. — Какая же?..

— Турецкая, — повторил Филипп. — Это и есть фамилия...

Филипп помолчал, как бы размышляя — сказать или нет.

— Когда он жил еще в Москве, на Рождественке... — Надеюсь, ты не вздумаешь рассказать это маме!..

В юности отец был влюбчив, поспешен, нетерпелив. С первой женой они прожили вместе только год. Он все чаще вспоминал свою детскую любовь. Ночью выходил на облитый светом луны балкон и думал о том, что навек загубил свою жизнь.

Они развелись, — тогда это делалось просто. Он сел в поезд и прибыл в Харьков. Здесь любовь к той, которую знал еще девочкой, завладела им с новой силой. Вернувшись в Москву, он написал ей письмо — просил стать его женой...

Ответ, который она послала ему, мог охладить каждого: «Я не люблю Вас, но не люблю и никого другого...»

После стажировки он получил назначение в город Себеж. Временно поселился в семье именитого врача. Дочь на выданье, потупив глаза, играла на фортепьяно, а он пел романсы. У отца был красивый голос — баритональный тенор. Некоторый недостаток слуха не мешал ему петь в домашних концертах, а впоследствии — на вечерах самодеятельности в своей среде...

(Родной дядя отца был солистом в опере Зимина, пел на главных сценах Парижа и Вены. Музыкальность была у них в роду.)

Дочь себежского врача млела, подымала от клавиш круглые, цвета спелой вишни, глаза...

Пускай нас жизнь навек разъединила,
Но все-таки я твой, а ты — моя...

Он пел со страстью, его переполняли чувства к той, что написала ему так холодно, неопределенно, — «... но не люблю и никого другого».

Спустя много лет он любил дразнить маму, вспоминая то время. Мне нравилось слушать их споры. Иногда вечером, за чайным столом.

— Я хотел уже было на ней жениться... И вдруг от твоей мамы телеграмма: «Приезжайте»... Пришлось ехать!..

— Ничего подобного! — перебивала мама. — Не слушай его! Твой отец все сочиняет!.. (И — к нему.) — Как

тебе не стыдно? Что же, по-твоему, я тебе сделала предложение?

— Конечно... Если бы не телеграмма... Ты испугалась!..

— Я испугалась?.. Мне не хотелось тебя огорчать! Я думала, ты очень страдаешь... Если бы только я знала, что ты утешился...

— Ты бы вышла за Милословского...

— Никогда бы я за него не вышла. Ты прекрасно это знаешь...

— Ну вышла бы за того поляка,— говорит папа, заслоняясь газетой.

— Он не был в меня никогда влюблен. Мы с ним дружили, он поверял мне свои сердечные тайны... Он был красавец!..

— Слышишь? — папа кивает мне из-за газеты в мамину сторону. — «Он был красавец!»...

Мне кажется, он и теперь маму ревнует.

Близилась их золотая свадьба. Она совпала с годом папиной смерти. А гимназический их роман все длился...

Случались иные споры. Загробные. Во здравии. Начиная их обычно папа.

— Я хочу, чтобы меня похоронили в земле, а не кремировали,— говорил он вдруг. — Инка, помни! Только похоронить!..

— Какой ты эгоист! — возражала мама. — Я, например, прошу, чтобы меня сожгли. Это гораздо проще... Зачем доставлять столько хлопот!..

— А я так хочу! — говорил папа.

Отец любил строить планы — прожекты. Любил мысли о будущем. Даже самые мрачные. Ему было тесно в границах наступившего дня. Он любил заглядывать вперед и делал это, в отличие от мамы, бесстрашно. Даже если шла речь о смерти...

— Есть кладбище... Кажется, Востряковское, ты узнай. Там очень сухая здоровая почва...

Врач, он и почву на кладбище, где будет лежать, предпочитал з д о р о в у ю.

Передо мной письмо.

«Милая Инна Анатольевна!

Отдыхая в санатории, я прочла Вашу книгу «Знакомые деревья» и узнала, что Анатолия Ильича нет среди нас.

В 1937 году он работал в Харьковской центральной

больнице, в первом scarлатинозном отделении, где тогда я работала старшей медицинской сестрой.

Тогда — давно это было — он на таких дежурствах рассказывал нам о своей маленькой Инне. Потом, уже после войны, глядя на Ваше изображение в журнале «Юность», я не находила сходства с Анатолием Ильичом, только фамилия и имя говорили, что, возможно, Вы и есть та маленькая Инна, о которой так любил поговорить Ваш отец. А вот Ваш портрет в книге «Знакомые деревья» имеет очень большое сходство с отцом.

Возможно, я отнимаю у Вас время, заставляя читать свое письмо, но мне так хочется сказать Вам, что мы, сотрудники отделения, очень уважали доброго, необыкновенно милого Анатолия Ильича...»

Следовал адрес и телефон. Я позвонила. Поблагодарила Тамару Ивановну, написавшую это письмо. Она рассказала мне о себе, о том, как сложилась ее жизнь. Она врач. Ушла на фронт и познакомилась там со своим будущим мужем, тоже врачом. У них взрослые дети, тоже медики. И внуки...

Прошло сорок лет, но она вспоминает отца и редкие тихие дежурства — в самом тяжелом отделении детской больницы. Папа рассказывал обо мне... Теперь думаю: что он мог рассказать?

В пору моего детства мы виделись редко. Врачей не хватало, зарплаты не хватало. Чтобы прокормить семью, приходилось совмещать — работать одновременно в нескольких учреждениях — тогда это поощрялось.

И в послужном списке отца в его трудовой книжке слово о д н о в р е м е н н о встречается то и дело:

«Врач-педиатр и завмедчастью детского эвакопункта в Харькове.

Одновременно: окончил интернатуру врачей-педиатров при 5-й больнице в Харькове.

Одновременно: врач-педиатр 8-й детской больницы в Харькове».

Это в двадцатых годах. И в тридцатых тоже.

«Заведующий отделением младшего детства 2-го Единого диспансера в Харькове.

Одновременно: старший врач детской станции «Скорой помощи» при 5-й детской больнице в Харькове.

Одновременно: инспектор Охматдета Ленинского райздрави в Харькове».

И чуть ниже: «Призван в ряды РККА...»

Папу направили военным врачом в Евпаторию, недавно созданный там санаторий. Мы прожили в Евпатории целый год и вернулись в Харьков. Санаторий существует до сих пор, недавно ко мне обратились оттуда с просьбой — прислать фотографию моего отца для санаторного музея. Сказали, что там помнят его, врача-новатора, пострадавшего из-за своих убеждений.

Я узнала об этом с годами.

О тяжелых днях, которые были пережиты в Евпатории. Это был военный санаторий для детей высшего комсостава. Тяжело заболел мальчик, сын крупного военачальника. Мой отец настаивал на применении нового по тому времени средства — он знал, что оно эффективно. Он и потом всегда, до последних своих дней, был в курсе новейших лекарств и методики их использования. В этом средстве он видел единственную возможность спасения. Но главный врач санатория не решился применить незнакомый ему препарат; не будь это сын крупного командира, возможно, главный пошел бы на риск.

Мальчик умер. И главный врач отцу этого не простил. Недавнее расположение сменилось неприязнью. Он хотел избавиться от свидетеля своей вины любой ценой. Неизвестно, чем бы все это кончилось... Отец подал рапорт, и его демобилизовали.

Но свидетелей оказалось много. Иные работают там до сих пор...

Свои лучшие качества отдал отец медицине. Тут он был точен, внимателен, очень серьезен. У него был дар диагноста. Его, не имевшего ученой степени, приглашали не раз на консилиумы по поводу больных с неясным диагнозом. Врачебное дело — профессия, диагностика — искусство. Этому нельзя научиться, как нельзя научиться пению, не обладая врожденным слухом и голосом. Сначала анализ, затем — синтез. Разрозненные данные, часто друг другу противоречащие. Мысль, подобно лучу лазера, пронзает плотные слои избыточных знаний, готовых решений, ошибочных выводов — и происходит мгновенное узнавание. Определить болезнь — это на две трети ее вылечить. Так говорят медики.

У нашего подъезда останавливалась черная легковая машина, обитая внутри ковровой тканью, — жена маршала Тимошенко присылала за папой, когда болели ее дети.

Она доверяла только ему. Харьков был столицей Украины в те годы. Поэтому Косиор, Тимошенко, Постышев жили тогда в Харькове.

У французского консула заболела дочка, — приглашали отца. Помню, он отправился туда с мамой, — она служила ему переводчиком.

Искусство диагноста очень важно было для отца, лечившего детей, в пору их младшего детства, как сказано в его трудовой книжке. Младенец не может объяснить свои ощущения, объяснить, где болит. Он только плачет...

Отец любил детей. Мальчишек в особенности, — сказывалась несбывшаяся мечта о сыне. Мне было лет девять, когда я обнаружила у него на столе коробку цветных карандашей «Павлин».

— Не трогай, — сказал папа. — Это не тебе!..

Я была поражена, — кому же еще?..

После я узнала, что карандаши предназначались мальчику, которого мой отец лечил. Мальчик лежал в больнице, в отделении у отца. Шаловливый, подвижный, он уже выздоравливал. За время его болезни — болел он долго и тяжело — мой отец к нему привязался и решил усыновить. Мамаша, дворничиха, в больнице не появлялась. По слухам, у нее кроме этого было еще семеро...

Моя мама не возражала, — когда отец загорался какой-нибудь новой идеей или мечтой, возражать не имело смысла. Но дворничиха ребенка не отдала. Забирая его из больницы, она что-то злобно выкрикивала, возмущалась — была навеселе...

Вне своей профессии папа был другим человеком. В нем было много от того гимназиста-троечника, каким когда-то он встретился с моей матерью — в детстве первой ученицей, золотой медалисткой. Он был поспешен в решениях, легкомыслен, мог присочинить, когда того требовали обстоятельства.

Безгрешным он не был и не старался им выглядеть. Ему это было бы даже обидно — такая пресность!..

Ведь он был одессит и остался им на всю жизнь, хотя давно не жил в Одессе и бывал там редко. Одесса была в нем самом, и, наверное, она есть во мне, хотя я лишь дочь одессита. Я люблю этот город и редко где себя чувствую столь счастливой...

Он любил солнце, море, арбузы, цирк, путешествия, последние известия, мечту — несбывшуюся — побывать в Париже, оперетту, кино, свежие газеты, магнитофоны. Еще была одна несбывшаяся мечта — иметь собаку...

Любил сладкое — халву, медовые пряники. Любил деньги — чтобы тут же их тратить. Любил дачные новшества и переделки — планировать, заказывать, смотреть, как трудятся плотники или электрики. Его интересовал самый процесс их работы... Любил политику — внимательно изучал еженедельник «За рубежом».

Любил печь пироги, готовить тушеное мясо — он освоил эту премудрость, выйдя на пенсию. Любил угощать и, сев сбоку, смотреть, как едят то, что он приготовил, и спрашивать:

— Ну, как?..

Он не любил скабрзных анекдотов. Сквернословия. Не любил беспорядка в комнате и на «пищевом блоке», как иногда шутя называл кухню. Порядок наводил очень быстро. Позвав меня, торжественно спрашивал:

— Ну, как? Видишь, все убрано, чисто!..

Не выносил фамильярности. Но терпел шуточки зятя — нежно его любя.

— Тоня, хочешь, я тебя усыновлю? — спрашивал его зять. Они с папой были на «ты».

— Ну, ну! — соглашался папа, читая газету.

— Ведь ты сирота?

— Сирота, — кивал папа.

— А я достиг совершеннолетия и материально обеспечен... Значит, я имею право тебя усыновить?..

— Имеешь, — кивнул папа.

Не любил мыть посуду — считал это занятие чересчур примитивным. Не любил некоторых людей, без всяких к тому оснований.

Он ошибался в людях, и его дар диагноста тут не проявлялся. Может быть, потому, что среди обычных, здоровых людей он расслаблял внимание, снимал напряжение. Он отдыхал.

В разговоре часто употреблял различные термины и латынь.

Войдя в комнату, где давно не проветривали, вместо духота говорил — термостат.

— Какой термостат! Нечем дышать!.. Скорее откройте окно!..

Меня в детстве смущала его латынь, к которой он

прибегал иногда, чтобы прервать беседу мамы с кем-нибудь другим, например с домработницей.

— Зоя, сатис! — раздавалось вдруг из соседней комнаты.

Я не знала значения слова «сатис», но испытывала чувство неловкости. Узнав смысл латинского изречения «Умному достаточно!», я вспомнила, как папа употреблял его также в усеченном виде, изъясв слово «умному».

И поныне думаю, что проще бы ему крикнуть:

— Зоя, хватит!..

Папа не говорил: «Я сделал ошибку», а: «Я допустил ляпсус»... Или — «Это ляпсус с моей стороны!»...

Он был азартен — любил бега, скачки. Верил в лотерейное счастье, хотя ни разу не выиграл больше рубля. Чувствительность прятал за грубоватостью — боялся растрогаться. Патетику разрешал себе только в застольных тостах и телеграммах.

— Дорогие, близкие моему сердцу...

Стоя, с рюмкой в руке, он произносил это обычно с шутовой миной, витиевато, как бы не вполне всерьез. Но однажды, незадолго до болезни, голос его дрогнул. Он прослезился и не сразу смог продолжать...

Стиль папиных застольных речей я шутя назвала в и з а н т и й с к и м. Как-то — ему шел уже седьмой десяток — мама отпустила его без себя в Одессу, погостить у брата. Я говорю «отпустила», потому что близилось время, когда мама, с трудом ходившая из-за подагры, перестала его без себя отпускать даже в булочную — волновалась, как он перейдет дорогу.

А тогда — отпустила. Там, в Одессе, жила его двоюродная родня. И он поехал, ликующий гимназист, в солнечный город своего детства. Каждый день он купался в море, — бывший одесский мальчик, он хорошо плавал и теперь, за шестьдесят. Вечерами гулял по Дерибасовской, ел пирожные и вспоминал старинные названия улиц. Проведал дом, где когда-то жила зеленоглазая девочка с золотыми, до плеч, волосами. Ей было тогда девять лет, а ему одиннадцать!..

Вскоре пришла телеграмма в папином стиле: «Дорогие, близкие моему сердцу, мысленно с вами...»

Мы были за него рады. Мама — на это время она поселилась у нас — говорила, что принесла себя в жертву,

отпустив его одного в Одессу. Но ведь там много родни, за ним присмотрят...

«Приносить себя в жертву» было маминым любимым занятием.

Дня через три опять принесли телеграмму. «Нахожусь даче своего друга профессора Яблоновского Большом Фонтане здоров обнимаю всех Анатолий».

Мы были озадачены. Телеграмма была от папы, но она была не папина. Где в и з а н т и й с к и й стиль? И почему — «Анатолий»?

— Какой это Яблоновский? — спросила я маму.

— Не знаю... Кажется, был такой. Наверное, они вместе учились, и он пригласил папу пожить на даче...

Она задумчиво вертела в руке телеграмму.

— Давайте позвоним в Одессу, — сказала она. — Сегодня вечером!..

— Но ведь его там нет, — сказала я. — Он же на Большом Фонтане. Наверно, вернется через несколько дней и сообщит нам. Тогда и позвоним...

Новая телеграмма была еще короче и суше. «Доволен отдыхом. Погоды стоят хорошие. Обнимаю всех. Анатолий».

Нет, это писал не он. Папа не мог написать «погоды стоят хорошие», хотя и родился когда-то в Одессе. Было ясно, — телеграммы не папины.

Но кто сочиняет их за него? И почему не он сам?..

— С ним что-то случилось, — говорила мама, ломая руки. — Он не может писать, но не хочет, чтобы мы волновались... Возможно, он парализован!..

Она ходила по комнате, бледная, не притрагиваясь к листку, на котором кто-то чужой писал: «Погоды стоят хорошие...»

Мы тоже начали беспокоиться. Заказали на вечер разговор с Одессой. Но еще раньше раздался телефонный звонок. Мы услышали бодрый папин голос. Он звонил из Сочи. Сказал, что все осмотрел в Одессе, а тут пришел теплоход «Абхазия», оказались свободные места...

В общем, решил поплыть до Батуми.

— Я не хотел тебя волновать и просил Сою, чтобы она каждые два-три дня посылала тебе телеграмму.

Жена его брата, тетя Соня, женщина добрая и исполнительная, так и делала... Но папин в и з а н т и й с к и й стиль был ей не знаком.

— Зочка, ты на меня не сердись?..

Нет, она уже не сердилась. Ей важно было услышать его живой, бодрый, исполненный энергии голос.

Гимназический этот роман длился всю жизнь. Мне кажется, мама ценила достоинства моего отца, но любила его за недостатки. Все они происходили от южного темперамента, недостававшего ее нордическому складу.

— Желания папы, в отличие от моих, были всегда ярко выражены, поэтому я уступала ему, — не раз говорила мама.

И сейчас, узнав, что отец жив и здоров, она, положив трубку, принялась вспоминать довоенное — билет до Батуми, выданный папе в Управлении Южной железной дороги, где он работал врачом (одновременно!). Железнодорожникам предоставлено право на бесплатный проезд раз в году, в оба конца, в любом направлении, — вместе с семьей. Осуществить путешествие помешала война. В его бумагах я нашла голубоватый листок — отец сохранил его на память. Разовый билет под номером 749853. Выданный десятого мая, он действителен по десятое августа... сорок первого года. «От ст. Харьков до ст. Батуми через Ростов».

Путешествовать было его страстью. В старости папа и мама стали плавать на теплоходах. Билеты отец приобрел загодя, еще зимой. И начинал мечтать...

Они плавали несколько раз по Волге, до Астрахани и обратно. И по Каме плавали, и по Оке. На пристанях сходили на берег, с экскурсией осматривали стоявшие на реках города и привозили нам сувениры — открытки с видами и значки. На теплоходе возникали знакомства. Пока мама, сидя на корме, выслушивала рассказы о чьих-то детях и внуках и рассказывала о своих, папа стоял на носу теплохода, с цейсовским биноклем, висевшим на ремешке у него на груди, с фотоаппаратом — тоже на ремешке, надетом через плечо. Кем он чувствовал себя в эти минуты, подставив встречному ветру лицо?.. Магелланом? Колумбом? Одесским гимназистом?.. Только не стариком. Он был счастлив.

Как-то Маргарита Агашина, зная моих родителей с наших студенческих лет, пришла на пристань в Волгограде с цветами и огромным арбузом.

Теплоход уже стоял у причала. Но она не знала номер каюты. Спросила у встречного пассажира на палубе —

не знает ли он, где найти двух старичков москвичей, жену и мужа...

Она не успела закончить.

— Он врач? — спросил пассажир. — Вчера в салоне он сделал нам очень интересный доклад о сердечно-сосудистых заболеваниях...

Кем бы ни был папа, врачом он был прежде всего. О своей лекции на теплоходе он тут же забыл, — я узнала о ней от Риты.

Но Риточкин арбуз он вспоминал долго.

СЛОВА И ВЕТЕР

Много лет назад Ольга Кожухова написала повесть «Не бросай слов на ветер» — о Литинституте.

Эта повесть была напечатана в журнале, вышла отдельным изданием. Повесть о нас, молодых, дерзких, исполненных еще не осуществленных надежд...

Все мы были в ней выведены под собственными именами. И Владимир Солоухин, и Владимир Тендряков, и Юрий Трифонов, и Расул Гамзатов, и Маргарита Агашина...

Была там и я. Кожухова подарила мне эту книжку и подписала «Мама Оля» — потому что в общезитии мы играли в семью, где она была матерью, я и Агашина ее дочерьми. Был у нас и отец — худая, рыжая студентка, по кличке папа Фиттих. Как в детском стишке:

Папа Фиттих с мамой Фиттих,
Мама Фиттих с папой Фиттих
На скамеечке сидят,
Вдаль задумчиво глядят...

Но уж играть так играть. И кроме рыжего папы Фиттиха у нас было еще по отцу, — те, от кого мы явились на свет. И бабушка — ее роль исполнял Юрий Трифонов, он даже вздрагивал и оборачивался, если на улице слышалось:

— Бабушка!

На непоседливых в учек он добродушно поглядывал сквозь стекла очков. Был и дядя у нас, и дедушка...

Помнится, я читала книжку «Не бросай слов на ветер» с некоторым удивлением. И сказала автору: «Твоя повесть станет интересной для читателя, если все мы что-нибудь сделаем в литературе...»

В пору выхода этой книжки еще немногие издали свою первую, а тем более — что куда труднее — вторую книгу. Люди читающие — нас почти не знали, не знали и мы себя.

Все наше было при нас, уже заложено, запрограммировано в генах, однако могло и не проявиться.

Чтобы оно проявилось, нужны были условия неподвижные, не зависящие от нас, от наших генов, — словом, то, что называется Бог-случай.

Так может приняться и не приняться дерево, посаженное в грунт в одно время с другими.

Мы могли еще не состояться, не плодоносить. Это зависело от наших садоводов-учителей, от климата нашей души, от устойчивости, жизнеспособности, противоборства помехам.

От наших спутников, не на этом коротком отрезке — на всем пути, что нам предстоит.

Мы были молоды, веселы, щедры на шутку, как могут быть веселы и щедры люди, уверенные в себе, в том, что они здесь не случайно — в этом старом особняке на Тверском бульваре.

Была такая глубокая внутренняя вера в себя. В то, что у каждого, в разной мере, явилось потом.

Уверенность опережала проявление таланта и лишь свидетельствовала о нем, утверждала, что он есть, как магнитная стрелка утверждает наличие железной руды.

И сколько слов было брошено на ветер!.. Не в смысле невыполненных обещаний, именно такой смысл таит в себе эта фраза. Нет! Просто ветер молодости гудел в ушах, горячил кровь. Встречный или попутный, он рождал веселье, бодрил, и мы бросали слова на ветер — шутили, острили неистощимо, не помышляя о том, чтобы это записывать, запоминать. Чтобы каждое лыко было в строку, — мол, когда-нибудь пригодится. Бросали слова — и ветер подхватывал их, уносил!.. Но все же что-то осталось, запомнилось.

И снова задача. Ольга Кожухова писала о нас, никому не известных студентах Литературного института. Теперь те же самые имена не чужды читательскому уху. Иные звучат громко, другие потише.

Это известные литераторы, чьи книги стоят на полках в домашних библиотеках, чьи песни звучат в эфире...

Как писать о нас, прежних? О нас — Юрках, Борьках?

О Ритке и Оле? О нас — Косте и Женьке, Натке и Лельке?
О нас — Расуле и Цынденжапе? Лилянке и Митьке?...

Как избежать фамильярности?

Не звать же друг друга по имени-отчеству! Мы этих отчеств не знали тогда, да и теперь часто не знаем,— на обложке книги печатается лишь имя.

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Правда, есть у нас Асеев Колька...»

Валентин Катаев дал клички своим современникам, «Алмазный мой кроссворд» — так окрестили повесть его земляки-одесситы. Не станем ему подражать. Пусть на этих страницах мои друзья будут такими, как в те года,— веселыми, молодыми, исполненными надежд и готовыми к испытаниям. Ибо избравшие эту стезю должны быть готовы идти по шипам.

«... Но наш лицей имеет все права»... Так пелось в одной из наших песен. Главное было именно в этом духе родства и любви друг к другу.

Атмосфера расположения, доверия, братства. То, что праздновалось ежегодно девятнадцатого октября товарищами ранних пушкинских лет. День Лицея!

«... со мной доброго Дельвига нет...»

Преданность юношеским идеалам, верность юношеским друзьям. Верность себе самому...

Друзья, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы...

У нас не было своего «девятнадцатого октября». Но лицейский дух у нас был.

Говоря о духе лицея, я имею в виду определенные годы.

Увы — дух лицея царил не всегда в этих стенах. Впрочем,— как и в самом лицее, где возникло это понятие.

Отрочество Пушкина и его друзей — короткая пора, праздник в долгой будничной жизни учебного заведения.

В нашей жизни тоже был этот праздник.

Священный огонь Олимпа оранжевым светом озарял наши лица. А может, то было солнце, бившее в стекла аудиторий?

Вдохновение пробегало, как искра, от одного к другому. Вспыхивало то тут, то там.

Утренний клич в умывалке: «Кто сегодня гений?» — был задорен.

Мы объявляли сегодня гения и назавтра его свергали. Свергнутый гений не обижался,— он надеялся на послезавтра...

А праздники в Голубом подвале! — так называли мы общежитие. Коллективные дни рождений. Сдвинутые столы, тертая редька, посыпанная клюквой, медицинские банки вместо рюмок. А после рояль — сердобольный ночной сторож Тарасыч пускал нас в зал,— песни, которые нам помогли выжить, перенести голод первого послевоенного года, не захиреть в сырости,— все же мы жили в подвале, хоть он и был голубой...

В первые минуты
Бог создал институты,
И Адам студентом первым был.
Он хиял налево,
И гулял он с Евой,
И бог их общежития лишил...

Позже слышала, как поют ее студенты на Украине. Вместо непонятного — из музыкального жаргона «хиял налево» — «Адам был парень смелый, вхаживал за Евой...»

Потом ночная Москва, пустынный Тверской бульвар, деревья в инее, слабый свет первого снега, наши молодые голоса, будившие спящих москвичей...

Спустя много лет сидели мы вечером с Агашиной у меня дома, перебивая друг друга, вспоминали нашу «подвальную» жизнь.

Наш суп-огонь, из воды, лука и красного перца,— перчили так, что обжигало глотку, отсюда и название. И как гуляли по мокрой, осенней Москве, кружились в вальсе на пустой по-ночному Пушкинской площади, которая еще не была застроена и больше, чем теперь, походила на площадь...

И как с майской демонстрации возвращались босиком,— новые туфли жали. И как тащили с Полянки через Большой Москворецкий мост никелированную, в собранном виде, кровать нашего «папы Фиттиха», переезжавшего в общежитие...

Вдруг Рита говорит:

— А ты помнишь, что завтра двадцать лет, как мы кончили институт?..

Взяв писательский телефонный справочник, стали обзванивать однокурсников.

Одни радовались звонку, другие мялись,— некому погулять с собакой, срочная работа. Ко многим не дозвонились.

И все же собрались — девять человек из двадцати двух,— один критик, три поэта, прозаики.

Сидели в ресторане Дома литераторов, соединив два столика,— шумели, смеялись.

К нам подходили, спрашивали, что мы празднуем, и, узнав, вздыхали:

— Молодцы!..

Звучала зависть. Многих, учившихся позже нас, уже нельзя собрать, совместить за общим столом. Изменилось и время, и люди...

Из дневника тех лет:

«Вчера гуляли с Пафлагонцем¹ по большому кругу. Рассказала замысел повести про госпиталь. Ему понравился, говорит, будет интересная книга. Сам он пишет сейчас сказки...»

«Спим с Риткой Агашиной валетом,— ее кровать занята. Утром в умывалке пели частушки, долго, с песнями, мылись, возмущая ставших в очередь мальчиков. Но — двадцать один год! Сколько ни пой — не заглушишь уже взрослости своей!..»

«Вчера ездили в «Комсомолку». Скопилось много стихов из самотека. Какое-то «стихийное» бедствие. Просили помочь — ответить авторам. Отвечать велели корректно! Учила нас этому некая полная черноволосая женщина — Смирнова. Когда ехали домой, Рита сказала: «У меня такое впечатление, что вся страна пишет плохие стихи и посылает их в «Комсомолку».

Кроме нас с Ритой Агашиной были там Коля Войткевич и два наши критика, Турков и Огнев.

Смирнова осталась ими довольна, сказала: «Приезжайте еще! — И добавила, глянув на нас: — Девочек больше не надо!..»

Нелегко быть корректными!»

¹ Студенческое прозвище В. Тендрякова.

«Скоро выборы в народные суды. Снова я агитатор. Вчера были в «своих» квартирах. Нас уже узнают из-за двери, по голосу. Сочинили частушку:

Избиратель дорогой,
Обрати внимание,
Обрати внимание
На мое воззвание...

Наш комсорг Игорь Кобзев сказал: «Допоетёсь!..»
Зол на нас за песню: «Самсорг» — про него:

Взял на стол протокол,
Взял, где надо, план доклада.
Сам пишу, сам решу,
Сам решенье подпишу...»

«После «капустника» убрали от нас Тетю Лошадь. Мы ее здорово пробрали. «Гераклит, мудрая головка!», «Не мешайте Федорову, он мыслит!», «Смеяться не мудро, товарищи!», «А вот когда я была молодая, ехала на бал... гимназический!.. Вопросы есть?!»...

Цитируя, она страницу, столбец и строку называла наизусть, без запинки, устремив взгляд в потолок.

Большие зубы, низкий лоб, пегие волосы на прямой пробор.

Прощай, Тетя Лошадь!»

На подобных лекциях все занимались своими делами. Кроме двух-трех, самых добросовестных. Те покорно записывали, строчили. «Кант, мудрая головка!..»

Потом я встречала таких в туристских поездках,— так же строчили, с трудом попевая за гидом, не глядя по сторонам.

В маленькой тесной аудитории столы стоят близко. Передо мной спина Расула Гамзатова. На скучных лекциях он пишет стихи. И сейчас тоже. Обернувшись, украдкой протягивает мне листок — подстрочник. «Аварский хычник» — так в шутку называет он сам себя.

Подстрочник — пословный перевод с аварского. Русские буквы Расула сохраняют черты незнакомого языка, как будто у почерка есть акцент.

Лирическое стихотворение мне нравится. Я тут же, на лекции перевожу его и тайком возвращаю Гамзатову.

Я раньше родился на несколько лет
И бегал по улицам, мальчик-пострел,
В те дни твоя мама, готовя обед,
Просила, чтоб я за тобой присмотрел,
За то обещая подарок любой.
Но плохо смотрел я тогда за тобой.

Шли годы. Вернувшись в родные края,
Тебя я увидел — и в песне не спеть!..
Я жду день и ночь, чтобы мама твоя
Меня позвала за тобой присмотреть.
Я сам бы ей сделал подарок любой.
О, как бы смотрел я теперь за тобой.

(Не помню, в чем переводе включал он потом в сборники это стихотворение.)

Расул поворачивается ко мне, я вижу его орлиный нос, маленькие умные глаза улыбаются — он доволен.

Гамзатов живет в общезитии. Он не скрывает, что там, в Махачкале, его ждет невеста. Верней, он, Расул, ждет, когда Патимат вырастет. Их отцы, в честь окончания долгой ссоры, сговорили их, а нарушать адаты — законы — не полагается.

Патимат еще школьница. Возвращаясь после каникул, Расул говорит:

— Растет моя Патимат! Красавица будет!..

Отец Расула — народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса. Но Расул — не писательский сын. Он талантлив сам по себе. Его жизнь в стихах.

Худой, вечно голодный, он живет в общезитии.

Он — наш.

А за дверью кто-то жалобно вздохнул:
Хочет завтракать Расул...

БРАТЯ РАДЦИГ И СЕСТРЫ ДЫННИК

Были лекции, на которых не отвлекались. Внимательно слушали даже те, кто не вел конспектов.

Изящный, синеглазый Галицкий, потомок древнего княжеского рода, говорил о Тристане и Изольде. Смертельно больной, худой до прозрачности, ходил вдоль кафедры, останавливался возле окна, за которым деревья роняли

листья его последней осени. Изольда бросала в ручей веточку, и веточка эта плыла к Тристану... Вечная тема первой любви, разлуки.

Приходил Сан Саньч Реформатский, румяный, с рыжеватой бородой. Хитровато шурился, протирал запотевшие очки. Он видел нас насквозь зорким взглядом заядлого охотника. Реформатский читал нам языкознание и на экзаменах разрешал пользоваться учебниками и конспектами. Лишь бы поняли суть! Не поймешь — завалит. Нас, новичков, старшекурсники страшили Реформатским, как няньки страшат непослушных детей. Было что-то строгое даже в самой его фамилии, в основе которой неукоснительное слово — реформа.

Вот Реформатский, Радциг, —
Так это пострашней!..

Однажды и мне пришлось от него услышать:

— Инночка, ясно, как апельсин, что вы ничего не знаете!..

Радцигов было двое — братья. Братциги, говорили у нас. Седой до голубизны Сергей Иванович читал античную литературу. У него был высокий, восторженно-плачущий голос. Когда он произносил слово П е н е л о п а, плач переходил почти в рыдание. На одном из экзаменов он спросил, читала ли я Аристотеля. Я ответила, что читала. И добавила:

— В подлиннике.

Старик чуть не умер. Он не сразу понял, что я имела в виду отдельное издание, а не хрестоматию. И умилился, когда, встав на стул, — иначе было не дотянуться, — я показала на карте маленькую реку — Рубикон...

Грузный Шамбинаго, знакомивший нас с фольклором. Углубленный в себя, как бы всегда параллельно беседе что-то обдумывающий философ Асмус.

Сестры Дынник...

Сестры Дынник и братья Радциг. Тут есть что-то от цирка...

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Еще род войск легко определялся на глаз, — многие ходили в военном. Артиллеристы, моряки, летчики. Медсестры, военные корреспонденты...

Даже в тех, кто носил гражданское, заметна была

армейская выправка, и легко было их себе представить в бою или на полигоне. Носили военное, потому что другого не было. Донашивали.

Шеголеватые стройные офицеры Юрий Бондарев и Григорий Бакланов покуривали на переменах, степенно о чем-то споря. Мой однокурсник Максим Джежора ходил в защитного цвета френче. Он партизанил в Полесье, воевал в казачьих частях и как-то вытащил из кармана и показал мне погон с голубой каймой. Недавно он умер, и его внезапная смерть поразила всех, кто помнил его, молодого, — его волосы цвета спелой пшеницы, зеленые глаза, что-то снисходительное во взгляде и в то же время сентиментальное. И безвольное влажное пожатие вялой руки. Начавший со стихов, он писал потом только прозу, став из Максима Джежоры — Геннадием Калиновским. Выходили книжки, потом заманило кино, и он стал писать сценарии, и при редких встречах жаловался, что в Туркмении, — кажется, там — жарко, и что все это тянется бесконечно, и что это его доконает... Когда он умер, осталось такое чувство, будто он из окружения пробивался к своим и не пробился.

Григорий Поженян — возмутитель спокойствия — шел по длинному коридору, как по палубе в штормовую погоду, и часто слышался короткий смешок:

— Хх-а!

Низкорослый, черноволосый. Он начинен энергией, которая ищет выхода. Как-то директор Литературного института, Федор Васильевич Гладков, человек тоже вспыльчивый — пороховой, — велел Поженяну покинуть свой кабинет и в заключение крикнул: «И чтобы ноги вашей здесь не было!»

Поженян встал на руки и вышел из кабинета директора на руках.

Много легенд ходит о Поженяне. Возможно, что это тоже легенда. Сам он лучше всего сказал о себе в поздних уже стихах:

...И я с моей детской трубою...
...С обиженной детской губою...

Разведчик Григорий Куренев, артиллерист Костя Левин, потерявший на фронте ногу. Моряки... Они вообще преобладали. Правильные ребята — Михаил Годенко и Семен Шуртаков, солнечный зайчик Иван Ганабин и Иван Завалий с глубокой ямкой на подбородке, словно птица

понула ягоду. Все они были моряки и носили кто бушлат, кто флотскую шинель, кто фуражку с «крабом», и когда ли в умывалку, то было похоже, что это корабль, — только было тельняшек.

Угловатый, нервный Лева Кривенко тоже носил флотский китель и поэтому числился в моряхах, хотя потом оказалось, что служил он в пехоте. Возможно, китель явился ему больше, чем гимнастерка.

Поколение победителей! Летчики, моряки, артиллеристы, десантники... Теперь они были переформированы в нового рода войска — поэзия, проза, драматургия.

Послевоенная литература, ее первое поколение. Оно шло сюда из стрелковых рот, дивизионных газет, реде — с заводов истроек и совсем редко — со школьной скамьи. Но и такие, как я, недавние школьники, принесли свой опыт — военного детства, голода, эвакуации, работы госпитале и у станка.

Содержание переполняло нас. Пафос, пылавший в нас, эреживших Победу, требовал праздничного выражения. Из двенадцати моих однокурсников, пришедших в первый день на занятия, был только один прозаик. Остальные — поэты.

Прозаик был высок, белокур, молчалив. Его звали Миша. Одиноко сидел за последней партой в своей коричневой кожаной куртке, напоминавшей набитый рукописью портфель. Дичился возбужденных, эксцентричных поэтов, читавших друг другу свои стихи на всех переменах.

Однажды я спросила его:

— Трудно писать роман?

О том, что он пишет большой роман, мы почему-то знали.

— Нет, — сказал Миша. — Писать не трудно. Главная трудность — свести концы с концами...

Не помню, когда Миша исчез — после второго курса или позднее. Но исчез. Концы с концами не свел...

ОБЩЕЖИТИЕ — НЕ ОБЩАГА!

Приходится слышать, что единственный ребенок растет эгоистом. Ему чуждо чувство коллективизма... Не знаю, рвался ли кто к общению, как рвалась я, — не имея сестер и братьев, я их пыталась найти, обрести в друзьях.

Я часто рассказывала своей дочке о тех годах. Ко мне приходили и приезжали друзья. Дочка еще училась в

школе. Она слушала наши песни и знала их наизусть. При ней мы вспоминали эпизоды нашей «подвальной» жизни. Голодное время. Наш суп-огонь из воды, лука и красного перца. И то, как гуляли по мокрой сырой Москве, кружились в вальсе на Пушкинской площади...

Галя слушала заворуженно. И, став студенткой, сказала с упреком:

— Да, тебе было хорошо! Ты жила в общежитии! А я — москвичка и меня не возьмут!..

— Что же нам, в Конотоп перебраться? — спросила я.

Но в душе я ей сочувствовала. Понимала эту потребность в полной свободе, которая отличает студентку от школьницы. Потребность в названных братьях и сестрах, коли ими обделила судьба, — Галя, как и я, росла единственным ребенком в семье.

Став студенткой, она часто задерживалась — заходила в общежитие к однокурсникам. Выступала в капустниках, — в Полиграфе, на художественном факультете, были веселые капустники. Почти как у нас, — Галя даже утверждала, что у них — лучше...

Но общежитие!.. Общежитие было не то. Не было этого духа, который, не боясь повториться, опять назову лицейским. Единения не было. Общей жизни. Общего жития, которое было у нас и которым так дорожили мы в трудное, послевоенное время.

Нет, ничего этого не было. Была просто о б щ а г а. Из нее стали постепенно уходить, расселяться по частным квартирам. И это естественно. Ведь и пришли в институт ребята из отдельных своих квартир и отдельных жизней.

А мы — из общей военной страды в общую мирную.

ГОФРИТЫ

В первый день занятий в Литературном институте, семнадцатого сентября сорок пятого, нас было на курсе всего двенадцать — десять парней и две девушки. Маргарита Агашина и я. Мы сразу и надолго объединились — сидели рядом на лекциях, неразлучны были на переменах и потом, в общежитии.

Как и я, небольшого роста, но русоволосая, — косы уложены на затылке накрест, упрямый выпуклый лоб. Очки еще более круглили глаза. Глухое черное платье, тонкая талия. Что-то от прежних курсисток.

Но во взгляде за очками таились чертики скрытой иронии, негромкий голос был нежен:

— Девочка, у тебя это от голода... Дать печенье?..

Это когда у меня голова закружилась на лекции. И она протягивала мне маленькое печенье, — ей их присылал отец, военный хирург, еще служивший на Дальнем Востоке.

В общежитии у нас все было общим — и еда, и даже одежда. У меня было пальто поновей, — мне сшили, когда училась в десятом классе, — и Рита ездила в нем в Тейково, где встречались ее одноклассники, а я неделю ходила в ее, которое было мне широко и висело мешком. Ни от чего так не страдаешь в молодости, как от скверной одежды. Меняться у нас было принято. Менялись всем — платьями, даже обувью, когда подходил размер. Одеты мы все были скудно.

Рита была застенчива. Когда на экзамене не знала ответа, а не знала часто, как и все мы, — молчала, чуть склонив набок аккуратно причесанную голову. Другие что-то несли, выкручивались, действуя по известной модели: «Прежде чем сказать об Индии, надо сказать об Африке», — а она молчала. Ей уже со всех сторон подсказывали, шептали, кричали. Даже сами экзаменующие, — а она молчала уже из упрямства и гордости. Молчала, как будто это был не экзамен, а допрос в стане врага. Случись такое — там бы тоже молчала, наверное, моя дорогая названная сестра!..

Гордость, упрямство, застенчивость — все это, вместе взятое, образовало ее характер, довольно сложный для дружбы и даже простого общения.

Нас подружила песня. Нет, мы песен еще не писали, ни она, ни я. Но мы обе любили петь. Песня была нашим спутником, она наиболее полно выражала состояние нашей души — и грусть зимнего вечера, и нервную приподнятость в пору весенней сессии, и радость самого бытия, молодости, надежды, ожидания любви, — все выражала песня.

Пели «Тонкую рябину», «Каховку», какую-нибудь «Челиту». И, конечно, частушки, — мы обе их знали великое множество.

Я надену кофту белу
На груди со стрелочкой,
Пускай миленький побегат,
Как лиса за белочкой...

В общежитии и в перерыве между лекциями, прислонясь к теплой батарее — их было несколько: в начале, середине и конце коридора, — мы всегда что-нибудь распевали.

Песня спасала нас в том голодном, неурожайном сорок шестом году. Песня была для нас хлеб, тепло, самая жизнь.

Иные говорили:

— Инка с Риткой опять воют!..

Большинство терпело, а некоторым даже нравилось.

У нас уже было общее имя — Гофриты. Этим именем мы подписывали песни, сочиненные нами для институтских «капустников» и просто для внутреннего пользования, то есть те, что распевались друзьями по общежитию.

Жених Риты, десантник Коля, служил в группе наших войск за границей. Они переписывались. Восемь студентов, мы жили в одной комнате. У каждой была своя романтическая история, и все сообща нами переживалось. Как-то вечером я сидела в пустой аудитории и что-то писала. Вдруг вбегают: «Иди вниз, Риткин Коля приехал! Сейчас придет!»

Побежала. Приделалась сама. Мне веник: «Подмети скорей в комнате!» Подметаю, спешу. Стол застелила чистой простыней, — у нас простыня была вместо скатерти. Воду цветам сменила. И тут они говорят: «Инка, мы пошутили! Никто не приехал, просто мы хотели, чтобы ты в комнате прибрала! Зато теперь у нас порядок!..»

Я от обиды чуть не заплакала.

Мы с Агашиной занимались в поэтическом семинаре у Веры Звягинцевой.

Повиликой молодость повяла,
Жизнь нельзя сказать, чтоб удалась...

Немудреные эти строчки приходят в голову всякий раз, как вижу повилуку, и возникает в памяти сама Вера Клавдиевна, сочинившая их. Она была еще не стара тогда, любила море, солнце и Коктебель и носила бусы морских тонов — голубые и зеленые, под стать ее близоруким глазам. Я была в семинаре Звягинцевой недолго — перешла к Михаилу Светлову. А с третьего курса и вовсе ушла в прозаики — к Паустовскому.

Рита Агашина осталась верна стихам.

Однажды мы с Ритой удрали с лекций и очутились в Останкине. Бродя по пустынному парку, собирали в букеты опавшие листья.

Не то было начало зимы, не то конец осени. Деревья еще хранили остатки убранства, но было все уже как-то разорено, печально, как бывает, когда праздник покинет самый дорогой и жданный гость. На воде тихого пруда неподвижно лежали листья клена.

Вдруг подуло откуда-то, набежали облака, посыпал снег, понеслись, полетели листья...

И вступают с ветром в поединнок,
Гордые холодной красотой,
Два дождя: серебряный — снежинок
И кленовых листьев — золотой.

Стихотворение Агашиной «Два дождя» осталось на память о том дне. В ее стихах был север, ярославская сторона, ушедшее детство и — характер:

Я опять убегу и на том берегу,
До которого им не доплыть,
Буду снова одна, допоздна, дотемна,
По некошеним травам бродить...

И еще о травах:

У тебя тяжелый нрав,
Не помогут сорок трав,
Все по-твоему выходит,
Ты всегда бываешь прав...

Сорок трав. Один из ее стихотворных сборников так и называется.

Она писала стихи по ночам и теперь сохраняет эту привычку. Мы дружим, хотя видимся редко, — она живет в Волгограде и приезжает раза два в году. Но нить разговора, растянутого в пространстве и времени, не рвется. Наши дочери — сверстницы. И наши песни — тоже.

Помню, в шестьдесят первом году Агашина приехала в Москву, и говорит:

— А я написала песню...

И негромко запела:

Что было, то было,
Закат заалел,
Сама полюбила,
Никто не велел...

А я в ответ ей спела свой «Август»:

Скоро осень, за окнами август,
От дождя потемнели кусты,
И я знаю, что я тебе нравлюсь,
Как когда-то мне нравился ты...

Так впервые и тоже одновременно у нас появились с о и песни. Если не считать студенческих, шуточных.

Приезжала и я в гости к Агашиной. Первый раз — весной, в апреле. Уже цвели красные и желтые тюльпаны за Волгой, город был весь в золотистой дымке солнца, света, близкой большой реки, к которой сбегала нарядная белая лестница...

Волга!.. Навигация еще не открылась, у дебаркадера стояло несколько небольших речных судов, — остальные были еще на ремонте в доке. Через Волгу ходили баржи, перевозили людей и грузы. Посмотришь в воскресенье с высокого берега на иную баржу, и кажется, что плывет по реке корзина с цветами, так пестро и густо в ней от ярких бабьих платков. В зембелях — корзинах, сплетенных из камыша, везут куличи, крашенные луком яички, бумажные, ядовитой окраски, розы, — скоро пасха.

Мы с Ритой сели на катер почти пустой — он шел в другом направлении — и оказались вскоре за Волгой, среди заколоченных летних дач и степного простора. Нарвали тюльпанов и долго потом сидели на деревянных ступеньках какой-то дачи.

Мы сядем с тобою на катер,
И выйдем на том берегу,
И взглядом весь город охватим,
Не сдавшийся в битве врагу...

Сами собой слагались стихи. Но песней они не стали. Песню я написала уже потом, в Москве, вспомнив молодой парк у Мамаева кургана. И туда меня привела Агашина. Молодой парк, где на каждом деревце — табличка с именем павшего в годы войны — мужа, брата, любимого человека.

Рита показала мне березку с медной табличкой, — пятый брат посадил ее в честь четырех погибших.

Меня поразило, что на некоторых фанерных табличках уже нельзя различить имени. Но — развертывается листва, поют на ветвях птицы...

Пусть с годами надписи сотрутся,
Их никто не сможет прочитать,—
Будет к солнцу дерево тянуться
И весной птицы прилетать.

И стоят деревья, как солдаты,
И в буран стоят они, и в зной.
С ними те, погибшие когда-то,
Оживают каждую весной...

Музыку на стихи написал Ян Френкель, с которым в ту пору кроме романса «Август» было написано мной несколько песен и наша самая главная — «Русское поле».

Эту новую — «В парке у Мамаева кургана» — замечательно пела Людмила Зыкина.

Юбилей Маргариты Агашиной отмечался пышно. В Волгоград приехали гости, и я в их числе. Из окна моего номера была видна площадь и Аллея героев с обелиском у Вечного огня. Неподвижные фигуры маленьких часовых.

После оттепели ударил мороз, и город стоял нарядный, в инее. Все искрилось на солнце. В доме Агашиных царил веселая суматоха. Приходили телеграммы от друзей студенческих лет, теперь известных уже литераторов.

Был торжественный вечер, зал, уходящий к потолку амфитеатром, пионерские горны, приветствия ветеранов войны. Она стояла, моя Агашина, у края сцены, в строгом синем костюме, с орденом Трудового Красного Знамени на отвороте.

Эти люди ее хорошо знали, любили ее песни — «Растет в Волгограде березка», «Подари мне платок» и «...чтоб никто не догадался». Они ее знали, но, наверное, многие не догадывались, что пишет она о себе. Что ее жизнь сложилась не очень гладко и что за каждую строчку в стихах и песнях она заплатила своей судьбой.

Мне приходилось слышать часто
Несправедливые слова,
Что баба любит быть несчастной,
Что баба муками жива...

И вот не бабьей, новой властью
На волю вырвались в пути,
И уж ни счастья, ни несчастья
Ты мне не можешь принести.

Она изменилась. Охотно и много выступает с чтением стихов — на заводах, в библиотеках, институтах и школах. Мне случалось слышать ее выступления. Она говорит негромко, как человек, который уверен в том, что его услышат.

СЫНУ В ПОДАРОК

Как-то меня вызвали в учебную часть. Занятия только что кончились, дверь в коридор была открыта, там шумели, о чем-то спорили, перекликались.

Зачетов еще не было, грехов за собой я не знала, поэтому вызову весьма удивилась. Вхожу. Наш новый декан Журко смотрит на меня оценивающе. Говорит своим мягким, вкрадчивым голосом:

— Тут приходила одна женщина... Она хочет удочерить студентку примерно ваших лет, желательно третьекурсницу... И мы наметили вашу кандидатуру.

— Удочерить? — Я была поражена. — У меня есть отец и мать...

Декан, как будто еще недоверчиво, посмотрел на меня, пожевал губами:

— Да, это, конечно, несколько все меняет...

Казалось, он был разочарован.

— Но вы еще подумайте, — сказал он, как бы толкая меня сознаться в том, что родителей у меня нет. И протянул мне бумажку с номером телефона.

В общежитии сразу узнали, зачем меня вызывал Журко. Стали острить, фантазировать. Очень уж необычный был случай. Загорелись узнать подоплеку этого дела. И послали меня звонить.

Женский голос в трубке был несколько глуховат, слышалось придыхание, и я почему-то вспомнила свою квартирную хозяйку Ирину Львовну. Лицо, навощенное жирным кремом.

Я сказала, что мне передали ее телефон, и что есть желающие, и просят узнать подробности.

— Мой сын служит в армии, — сказала она. — Скоро должен вернуться... Такой хороший, невинный мальчик... Я очень боюсь, что его испортят женщины. И я бы хотела сама для него найти хорошую девочку с литературным образованием... Вы меня поняли?.. И чтобы она жила у нас в доме...

Я поняла. Хорошую девочку готовили сыну в подарок.

Неиспорченную! Придет из армии, а она вот уже, дома, со своим литературным образованием! И ходить далеко не надо!..

Возмущенная, с пылающими щеками, прибежала я к нашим.

Что тут началось! Шумели, перебивали друг друга. Отмщение! Отмщение! Но — какое?!

Решено было разыграть заботливую мамашу. Выбрали объект удочерения, назовем ее здесь Хлоя. Маленькая толстуха на коротких детских ножках, как в той английской песенке о некоей Клементине, — «как тут было не влюбиться, не почувать в сердце боль, если ножки номер тридцать, а калошки номер ноль».

Миловидное личико с ямочкой на одной щеке, светлорусые косички, к которым совсем не шли наведенные черной тушью ресницы. Хлоя нафабривала их каждое утро, встав на стул у окна, — в голубом подвале всегда горел свет, но было все-таки темновато.

Мы велели ей стереть тушь, вплели в косички две розовых ленты. На Урале, где она родилась, у нее были мать и сестры, но она согласилась сыграть сироту. В ситцевом, не по зиме, платье, она имела вид робкий и жалобный, — ее хотелось удочерить. Оставалось представить ее мамаше.

Я опять позвонила. Пригласила в общежитие — поглядеть на «кандидатуру». Пришла женщина с сильно напудренным немолодым лицом. Она пила чай и мельком поглядывала на Хлою, которая тут же сидела, вся белорозовая, с розовыми бантами в светлых косицах, с белесыми бровками и ресничками. Она писала прозу и была уже на четвертом курсе, но в тот день ей нельзя было дать больше семнадцати. Она сидела, как и положено на смотринах, скромно потупясь, скрестив короткие ножки в детских ботинках.

Взгляды мамыши с каждой минутой теплели. Уходя, она сказала:

— Какая милашка! Как раз о такой я мечтала. Приводите ее ко мне... Зачем откладывать? Завтра же и приводите...

Мы были в восторге. Не успела закрыться за гостьей дверь, как все завопили:

— Ур-р-а-а!!!

А наша скромница травести вскочила на стул и закричала:

— Эй вы, люди! Какое сказочное свинство, что вы меня заставили играть эту роль!.. Я не хочу к этой тетке!.. И вообще — где моя тушь? Вот накрашу ресницы, и она меня тут же вернет обратно. Скажет, что я испорченная, не подхожу для ее невинного крошки!..

Мы все говорили разом. Успокаивали Хлою, умоляли сыграть роль до конца. На завтра — было как раз воскресенье — мы побросали ее вещички в чей-то большой чемодан — в него без труда поместилась бы и сама наша Хлоя — и пошли всей толпой к Никитским воротам. Там, между Никитскими и Арбатом, был дом, где Хлою ждали. Мы проводили ее до самых дверей — поднялись на пятый этаж, боясь, что Хлоя взбунтуется и сбежит, и вручили ее маме и сестре. Успели заметить, что в доме было тепло, затхло и тихо. А Хлоя показала нам вслед свой маленький кулачок.

К вечеру прибыл к нам приятель Марианны Фофановой, тоже нашей, общежитийской. Его звали Володя. Он приходил к ней иногда, ее земляк по Душанбе, высокий, тонкий в талии, артиллерийский лейтенант. Он должен был сыграть роль жениха нашей удочеренной Хлои, который внезапно приехал из армии в этот самый день. Явиться к Хлое и ее увести. Таков был сценарий.

Уже стемнело. Недавно выпавший снег искрился под фонарями Тверского бульвара. Опять шли все вместе.

Было весело от мысли, что идем вызволять нашу Хлою. И от самой затеи — проучить заботливую мамашу, припасшую сыну невесту из хорошего дома...

Мы остались внизу. Володя, минуя ступеньки, взлетел наверх, мы услышали возгласы, хлопанье дверей... И вот он несет ее на руках, а она обнимает его за шею. И ее чемодан, словно сам собой, уже оказался здесь.

— Извините, пожалуйста, — говорит кто-то хозяйке. — Мы не знали, что у нее есть жених!..

Возвращались домой притихшие. Володя, выполнив наше задание, помог донести чемодан до дверей общежития, отковырял нам и заспешил по своим делам. За окнами вновь сыпал крупный снег. Оживление схлынуло и сменилось, как это бывает в юности, неожиданной грустью.

Мы долго не засыпали. Каждая думала о себе, о будущем. О счастливых, внезапных приездах и встречах, которые нам еще предстоят...

Думали о любви.

БУРАТИНО ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

В 1945 году, поступив в Литературный институт, я вскоре попала в семинар к Светлову.

В тот ликующий год Исполнения Желаний, главным из которых была Победа, все казалось естественным, закономерным.

И то, что меня, совсем еще девчонку, приняли в институт наравне с теми, кто прошел войну.

И то, что поэт, чье имя я знаю с детства, поэт, написавший «Гренаду» и «Каховку», разбирает мои стихи и, держа в вытянутой руке, отставив от глаз, производит своим глуховатым голосом мною написанные слова:

А в поле дорога, все прямо и прямо.
По этой дороге пришла телеграмма,
По этой дороге, натертой до лоска,
Врача городского уносит повозка.

Взметнулись руки прощальною стаей —
Две девочки, плача, в повозке привстали.
Июнь сорок первого. Воскресенье.
Ветвится дорога на смерть и спасенье...

Он читал это, акцентируя на ритме, как это свойственно поэтам. Помню свободный взмах руки. Мягкий грассирующий голос.

В семинаре Светлова я была около года. Часто всем семинаром занимались у него дома — он жил тогда на улице Горького. В его пустоватом кабинете стоял холодный, ничем не покрытый кожаный диван. Мы рассаживались на нем.

Я не записывала тогда высказываний Светлова и, боясь неточностей, оставляю рассказ о наших занятиях для других, более прилежных летописцев.

Потом с Михаилом Аркадьевичем мы встречались часто на ходу, где-нибудь в редакции, а чаще в Доме литераторов.

Рукопожатие теплой сухой руки, дружелюбные улыбающиеся глаза. Что-нибудь вроде:

— Как живешь, старуха?

Кивок в сторону Ваншенкина:

— Любишь этого босяка?

Вопрос-утверждение. К Ваншенкину он относился нежно, чуть по-отечески.

Расскажет какую-нибудь из своих шуток, недавно или только что придуманную. Порой оказывалось, что кто-то другой успел уже рассказать это до него,— афоризмы Светлова были всегда нарасхват.

Не знаю, был ли он весел по натуре или просто умел весело нести бремя трудной, часто одинокой и недоброй к нему жизни?..

Вспоминаю его в последние годы, болезненно худого. Его легкую, невесомую походку,— ноги были всегда как бы немного согнуты в коленях, и ступал он не на всю ступню, а на носки...

Случалось, он сидел за столиком в Доме литераторов совсем один. Иногда дремал на диванчике где-нибудь в углу пустого фойе.

Так было в тот день, когда, с трудом разыскав, его привезли на юбилей к известному критику. В этом доме Светлова любили, называли по праву старого знакомства Мишей, хотя он бывал здесь очень редко.

Был второй день юбилея, и все уже устало — и юбиляр, и хозяйка, и гости. Светлов вошел, шурясь от яркого света и как бы не понимая, зачем он здесь и что происходит. После первых объятий его оставили в покое. Гости шумели, и каждый говорил о своем,— общего разговора не получалось.

Мы с Михаилом Аркадьевичем сидели рядом. Он помалкивал, почти ничего не ел, был задумчив. Но глаза его уже не шурились — он как бы постепенно просыпался.

И вдруг — без всякой связи — он обратился ко мне: — Странная штука — первая любовь! Я в последнее время много думал — на что она похожа? С чем ее можно сравнить? И я понял. Первая любовь — это кукла. Буратино. Наигравшись им, его забросили. И он лежит где-нибудь под шкафом с книгами... Под книжными полками. На полках почтенные тома, толстые пыльные книги. Про Буратино все забыли. Но вот острый носик Буратино начинает тянуться вверх, как росток. Все выше, выше... Он пробивает полки, пыльные фолианты, и вот он уже наверху, над ними:

«Смотрите, я — тут!»

Этот рассказ про Буратино Первой Любви я запомнила дословно. Тогда я решила, что это телепатия,— сама я пи-

сала в ту пору роман «Телефон звонит по ночам», где первой любви отводилось немалое место.

Я еще не знала, что последние годы Михаила Аркадьевича Светлова были согреты немеркнущим светом его молодой любви. Той самой, которой посвящены лирические стихи его последних лет. Светлов был очень болен, когда я встретила его,— он пришел в клуб на какой-то фильм, снискавший шумную известность.

Еще более похудевший, в светлом костюме, он поднимался по лестнице, ведущей к кинозалу. От радости, что вижу его,— я знала, что он в больнице, приговорен,— я, неожиданно для себя, здороваясь, поцеловала его.

И прочла в его взгляде выражение испуга, которое он не успел скрыть.

То, что я поцеловала его, выходило за рамки наших добрых будничных отношений и было еще одним подтверждением врачебного приговора.

НОЧИ ПОД ЗВЕЗДАМИ

Первой встреченной мною в жизни писательницей была Ирина Карнаухова. Я перешла во второй класс, и родители повезли меня летом в Диканьку. Нечто притягательное было в самом названии села, обязанного своей известностью Гоголю. Но для меня Диканька больше связалась с Пушкиным,— там был Кочубеевский парк с руинами замка и был дуб Марии — дерево в пять обхватов. Большое, раскинувшееся по обе стороны пыльного шляха, это село поражало отсутствием каких бы то ни было искусственных переделов,— смежные огороды и сады отделялись друг от друга низким кустарником, и разрешалось ходить напрямик, по утоптаным тропинкам.

Мы жили в беленом, крытом железом доме у вдовы агронома Домны Григорьевны. У нее был сын-десятиклассник Борис. Очень высокий,— а может быть, мне так казалось, он иногда играл со мной в мяч. И как-то позвал в сарай и показал мне распятые черные шкурки, каждая величиной с ладонь. Объяснил, что ловит кротов, чтобы матери шить меховое пальто. В темной глубине сарая волшебным светился гнилой пень.

Наша хозяйка Домна Григорьевна варила вишневое варенье на глиняной печке, стоявшей в саду. Запах вишневого сиропа притягивал пчел, они падали в раскаленный, заполненный вареньем таз, тонули в нем.

Вечером по шляху гнали возвращавшееся с выгона стадо коров, оно двигалось в облаке мягкой пыли. Мычание, шелканье пастушьего кнута...

Мы с мамой брали крынку и отправлялись в конец улицы за молоком. Шли мимо заколоченной церкви, — я уже знала: там, в склепе, похоронены Кочубей, потомки того, что описан в «Полтаве». Знала, что склеп недавно ограбили — открыли гробы и унесли драгоценности. Слово склеп и без этой истории звучало мрачно и будило фантазию.

Не знаю, как познакомились с Карнауховой. Ленинградка, она здесь отдыхала с мужем и дочерью. Были тут и еще ленинградцы, ее родня и приятели.

Образовалась компания. По вечерам, когда спадала жара, собирались под звездами.

Ирина Карнаухова повязывалась платком и рассказывала свои сказки — «Сказки бабушки Арины», под таким названием вышла потом ее книжка.

Она была тучная, с крупным добрым лицом, широким носом и небольшими живыми глазами. Я тогда не знала, что она пишет книги для детей и изучает фольклор северных деревень — архангельский и вологодский.

Повязавшись платком по самые брови, она сразу менялась, превращаясь в бабушку Арину. Менялся и говор ее, и манеры, и самый голос. Происходило чудо преображенья. Я могла слушать ее часами, испытывая при этом какой-то не детский, блаженный восторг. Но всегда наступала минута, когда кто-то замечал, что пора расходиться по домам. И все кончалось. Карнаухова стягивала с головы платок. Обыкновенная женщина в широком, чтобы скрыть полностью, сарафане обыкновенным голосом говорила:

— Спокойной ночи!..

И всякий раз мне казалось, что кончать ей не хотелось и она была так же разочарована, как и я.

Затеяли общий поход на Вореклу, — она от Диканьки в нескольких километрах, через заповедный лес. Как я ждала этого дня!.. При мысли, что мы, как настоящие путешественники, будем жечь костер и печь картошку в золе, у меня начинало стучать сердце. Но все откладывалось, — то погода портилась, то у кого-нибудь настроение. Все же мне, восьмилетней, удалось вымолить этот первый в моей жизни поход — с рюкзаками, с котелком для костра и съестными припасами. Мужчины взяли еще и удочки.

Нас набралось человек семь. Долго шли лесом, таким густым и высоким, что солнце не проникало сюда, золотя лишь верхушки старых дубов и сосен.

Помню, раздался громкий шорох и треск ветвей, — дорогу нам пересек олень и не спеша скрылся в чаще. Это было как сон, но приснился он сразу всем, и треск ветвей еще слышен был вдалеке.

Ворскла была здесь не широкой, зеленоватой от близкого леса. Расположились лагерем. Мужчины забили в землю стойки, подвесили котелок. Мы, ребята, натаскали хворосту. Ирина Карнаухова ловко, привычно орудовала у костра, дула на ложку, пробуя, готов ли кондёр...

И тут хлынул дождь. Туча пришла из-за леса, мы ее не заметили. Просто погас дневной свет и полило. Спрятаться было некуда. Но мой отец вспомнил о шалаше в лесу, мимо которого шли. Все помчались туда.

Было страшно и весело. Гремело, лило, сверкало, опять гремело. Потом вернулся день, стало светло и даже солнечно.

— Она будет писателем, вот увидите, — сказала моей матери Карнаухова. — Как у нее блестят глаза!..

Мама с сомнением посмотрела на меня, усмехнулась. Она слишком высоко ценила литературу и самое это слово — писатель.

Спустя многие годы я услышала от Веры Федоровны Пановой, что у меня глаза блестят.

— Такие и должны быть у писателя, — сказала Панова.

Ночи под звездами... Сколько их было в моей жизни?

Когда звезды как бы снижаются, становятся угрожающе близкими, и пахнет сухим сеном от стога, на котором лежишь, и живыми травами, остывающими от зноя.

Сколько было таких ночей?..

Почти все они приходятся на мою молодость.

Я полюбила Дзауджикау в сорок седьмом году, когда увидела впервые этот уютный город. Старый Владикавказ, нынешний Орджоникидзе, он назывался в ту пору своим осетинским именем. Лежащий в предгорье Кавказского хребта, этот город был привалом для альпинистов, — пути отсюда вели ввысь.

С шумным Терекон и тихим парком, по аллеям которого бродили павлины, с кривыми корявыми чинарами вдоль

жарких улиц. В сорок седьмом мы были здесь, читали стихи свои и друзей, потом путешествовали по Кавказу. Летом сорок девятого года, перейдя на последний курс, сюда приехали вновь. Меня пригласила к себе Раиса Хубецова. Она только что навсегда простилась с Литинститутом, навсегда покинула общежитие, где мы с ней прожили вместе четыре года. В ее дипломе значилось — драматург.

Рая была своя, мне с ней было легко. Между всеми жившими в Голубом подвале, установилось чувство родства. Суматошная, безалаберная, беспечная, она была в то же время и мудрой, и дельной, и работающей.

Шуря темные глаза, она говорила:

— Ты знаешь. Я человек прямой — хитрить не умею!..

Но и хитрить, слава богу, умела. Все должен уметь драматург. Хитрость ее была снаружи и никогда не во вред другим.

Была середина июля. Над Столовой горой — она здесь господствует, предсказывает погоду — ни облачка. Рая предложила съездить в Колонку, к ее тетке. Колонка — осетинское село вблизи города. Прямые улицы, крытые черепицей домики. Нам обрадовались. В комнатах просторно, прохладно. Кухня с земляным полом. Здесь машинка для лущения кукурузы, похожая на мясорубку. Сбивень для масла. Хомут висит на стене. На плите кипит огромный чугунок, над ним колдует старуха в фиолетовой майке. Лицо морщинистое, коричневое, как земля в засуху. На вопрос о возрасте отвечает степенно, явно округляя для полного счета:

— Мне сто лет!..

Сто не сто, а на девятый десяток уже пошло. Девушкой на выданье ее выкрали, увезли в горы, — невест в Осетии было принято похищать.

Мутным, величественным взглядом она смотрит на Раю и говорит сухими губами:

— Тебя не украдут!..

Ощипывая курицу, учит:

— Возьми себе мужа такого, чтобы тебя умней был.

Меня муж на тридцать лет старше был!.. Он меня как дите держал... у-у-у!.. Сам встанет пораньше, обед сварит, — «Вставай, кушат пора...». Я ему пятерых родила, шестой сиротой рос...

Сбежалась к ужину вся семья. Миловидная Маруся —

невестка тети Веры (так зовут старуху) — и ее дети: Тамара, Тотребек, Тосланбек, Фатима.

Тотребек младший. У него толстые кривые ножки.

— Мне соседки говорили: что, мало тебе? — говорит Маруся, любовно глядя на Тотребека, который стоит на полу босиком, держась за ее подол. — А я не хотела... Пусть растет человек...

У сероглазого Тосланбека черные от загара лопатки, на них золотится пушок. Ему шесть с половиной. Он помогает матери — убирает двор и играет с Фатимой. Этой около трех. У нее карие глаза, не глаза — очи. Они и теперь уже полны женского кокетства. Она забирается в двухколесную тачку с самодельным ситцевым пологом и что-то поет по-осетински, а Тосланбек катает ее по двору.

Стемнело, высыпали крупные звезды. Нам предложили лечь в доме, — замечу, чем больше в доме народа, тем проще найти для гостей ночлег, — но мы отказались. И нам постелили на арбе. Она стояла в глубине двора, за ним сразу начиналось кукурузное поле. Лежать было мягко, хорошо пахло сеном: Позвякивала цепью собака, вздыхала и топталась в хлеву корова. Жестко, почти металлически шелестела кукуруза.

Я думала о старухе. Вспоминала ее рассказы о нартах, богатырях из осетинских сказаний. Гордые были нарты. В домах своих делали высокие двери, чтобы, входя, не наклонять голову, — ни перед кем не хотели гнуть голову нарты. И когда спросили боги у нартов: уничтожить вас или дать вам худое потомство, нарты сказали: «Пусть мы погибнем». И погибли нарты.

Потом я заснула и проснулась, как от толчка. Рая крепко спала. Шелестела кукуруза. Звезды светили ярче прежнего и мигали, как будто от ветра, который усилился ночью. Я увидела большой просвет в воротах. Вспомнила: когда мы засыпали, ворота были закрыты.

Мне стало не по себе. Сама не знаю, что меня испугало, но я лежала с сильно бьющимся сердцем, не отрывая глаз от приоткрытых ворот.

И вдруг ворота бесшумно, сами собой стали открываться — шире, шире...

Я вскрикнула, и Рая проснулась. Мы схватили в охапку подушки и кинулись к дверям темного спящего дома. Улеглись на полу и мгновенно опять заснули.

Утром над нами добродушно смеялись. Оказалось, ворота были не заперты и распахнулись от ветра.

Ночи под звездами...

Весенние ночи в Москве, на Тверском бульваре. В садике нашего особняка пел соловей. Возможно, потомок того, что тут заходил при Герцене.

Голубой подвал охватывала бессонница. Это были не те ночи без сна, в дни весенней сессии, когда страшно хочется спать, а надо прочесть еще столько. Нет, эта бессонница была легкая и счастливая дань весне, молодости, надеждам...

Наш директор Василий Семенович Сидорин жил с семьей в здании института. Выходя на лестницу, он то и дело налетал на влюбленную пару.

Он не любил нотаций, — они у него не получались. Он отшучивался и вышучивал. Кому-то дал деликатный совет — не целоваться в стенах института.

И уже распевали частушку:

Нам советовал Сидорин:
«Не целуйтесь в коридоре».
Мы боялись Си-до-ре,
Целовались во дворе.

Московские ночи в мае короткие, светлые. Помню, не спится, перед глазами четкий квадрат окна, И слышу вздох по соседству. Это Оля вздыхает.

Шепчу:

— Не спишь?

Отвечает:

— Не сплю...

И вдруг из дальнего угла — Леля Берман:

— Девочки, у меня то же самое!..

Вытаскивали матрасы в сад. Там была сложена поленница. Высокая — доставала до середины старого тополя. Шириной в русскую печь. На ней легко умещались трое, а то и четверо. Постелив свои тюфяки, мы забирались туда и спали под открытым небом, под звездами, быстро таявшими в свете зари. Спали по-деревенски сладко, в самом центре Москвы, в километре от Красной площади и Кремля...

Горько пахла в безветрии теплой ночи молодая листва. Соловей прошивал длинными трелями тишину.

— Строчит, как пулеметчик, — сказала о нем Ольга.

Нельзя сказать, что она о войне вспоминала. Война была в каждой ее клетке, в каждой поре. Как и у всех, пришедших с войны. А суетливая критика призывала

уже покончить с военной темой, воспевать мирные стройки. Некоторые к ней прислушивались. Пытались писать о колхозе, о шахте. Не получалось.

Главные книги наших ребят, пришедших с войны, — о себе, а значит, о войне, — были у всех впереди.

И они написали их, свои главные книги.

... А соловей все строчил и строчил, но мы уже крепко спали. И просыпались от капель росы, падавших на рассвете с листьев.

ЗАПАХ МОКРЫХ ЗАБОРОВ...

Осенью сорок седьмого года, уже третьекурсницей, я ушла из поэтического семинара к Паустовскому. Это был самый сильный в ту пору семинар прозаиков. Собственно прозы — повести или рассказов — у меня еще не было, я только собиралась их писать.

И на первом же занятии Константин Георгиевич попросил, чтобы я почитала свои стихи. Я прочла несколько. Ему понравились, чем он был удивлен, — в прозаики обычно подавались те, у кого не ладилось со стихами. И дал мне задание — написать автобиографию под таким углом зрения: почему я начала писать...

Подобное задание получали все, приходившие к нему в семинар. При этом нам был предоставлен полный простор в смысле формы и величины повествования. В обсуждении принимали участие все, кто присутствовал на занятии.

Был осенний вечер, в тесной аудитории горело электричество. Я очень волновалась, — слушать меня собрались наши опытные прозаики, «зубры», многие были старше меня по курсу и почти все — если не все — по возрасту.

Автобиография, которую я читала в тот вечер, начиналась словами: «Мой дядя, профессор химии, тогда еще не был женат и жил с нами...»

Раннее детство на Украине, война, Сибирь, первая любовь, работа в военном госпитале...

Началось обсуждение. Помнится, мне изрядно доставало от товарищей по семинару — за фрагментарность, за то, что впечатления жизни не всегда отвечают на основной вопрос. Ну, при чем тут, к примеру, ложкарь дед Игнат и кондёр, который варился в ночной степи на костре и в него падала мошкара?..

Константин Георгиевич меня защитил. Он понял, что я не уйду от задачи, но предлагаю свое решение. Не отве-

чаю конкретно на вопрос, но хочу, чтобы вывод сложился сам собой и читатель или слушатель сам бы воскликнул: «Так вот почему она стала писать!»

Любопытная вещь. Недавно я перечитала эти первые странички своей прозы и увидела, как много в ней было заложено от меня теперешней. Видимо, в тех давних страничках было что-то глубоко мне свойственное. И не заметить этого Паустовский, я, возможно, навсегда бы утратила это с в о е. А если и не навсегда, то надолго...

Какие прекрасные были у нас учителя!

Михаил Светлов, Константин Паустовский, Валентин Катаев, Лев Кассиль... С каким старанием трудились они на грядках, где робко всходили первые ростки наших литературных созданий. Как пропалывали эти грядки, где красовались словесные сорняки и громоздились постройки неуклюжих сравнений: «Три трубы завода походили на перевернутый табурет, у которого одна ножка отломана»...

Паустовский хорошо описывал старушек и стариков. Кто опишет его?..

Для нас он всегда был стариком. Мэтром.

Тогда, в сорок седьмом году, ему было пятьдесят пять лет, и мы не представляли себе, что в этом возрасте можно еще любить и ломать семью и что под шестьдесят можно стать отцом ребенка — ровесника наших детей...

Кто опишет его надтреснутый носовой негромкий голос, несколько брюзгливую манеру отчитывать нас, горожан, и изгонять из нас урбанизм — величайшее зло. (При том, что сам он был человек глубоко городской и его восхищение природой, его тяга к ней — были тяга и восхищение горожанина.)

Привычку близоруко подносить лист бумаги к глазам — очки при этом он сдвигал на лоб, придерживая их свободной рукой.

Его улыбку, образующую морщинки у глаз, как от солнца. Его косолапистую походку.

Это удивительное умение окрашивать мир своим настроением, это почти гипнотическое действие его пейзажей — с обязательной черной водой осенних речек, запахом палого листа и мокрых заборов. Его устные рассказы, всегда столь же отточенные, как и те, вышедшие из-под пера.

О Рувиме Фраермане и Аркадии Гайдаре, о дружбе,

которую породила любовь к природе и рыбалке. О том, что Гайдар знал все свои повести, как стихи, — наизусть.

Для меня Константин Паустовский — писатель начался не с «Кара-Бугаза», не с пьесы его «Созвездие Гончих Псов». С маленького рассказа «Снег». Я прочла этот рассказ в Томске. Мы с подругой взяли в школьной библиотеке свежий «Огонек» и стали читать его тут же, голова к голове.

Рассказ был короткий. Занесенный снегом городок, где в опустевшем доме — хозяин недавно умер — временно поселилась бежавшая от войны семья — молодая женщина с ребенком и няней. Сюда приезжает сын хозяина, военный моряк. Он грустит об отце, которого не застал. И все больше заглядывается на женщину. К концу этого короткого рассказа мы уже понимаем, что между приезжим и женщиной возникло начало прекрасного, что пока еще рано назвать любовью... Моряк уезжает, и женщина получает письмо. Он пишет, что в жизни они уже встречались. Что все это время он мучительно припоминал, где видел ее, и вдруг, отчетливо, — Крым, аллея в парке, девушка с книгой...

— «Это были вы!» — восклицал герой рассказа.

Дочитав до этого места, мы с подругой разочарованно переглянулись, — такой конец показался нам ненатуральным, придуманным.

Но — это не был конец!

Молодая женщина дочитала письмо, прижала его к груди и сказала счастливым голосом:

«Боже, но я никогда не была в Крыму!»...

И мы ахнули от радости прикосновения к истинному искусству.

И вот я в семинаре у Константина Георгиевича Паустовского! Моя цель — научиться писать.

Уметь выразить себя и свое не просто. Но это и означает — научиться писать.

И я начала повесть. Уже было готово шесть глав, и мне предложили прочитать их на семинаре. Я согласилась. У нас было принято обсуждать вещи еще не законченные, в процессе работы. Конечно, это не относилось к жанру рассказа.

Но у меня была повесть. О девочке, мечтавшей стать штурманом дальнего плавания. Я отдала ей свою детскую надуманную мечту, свое довоенное детское представление о романтике школьной любви и дружбы. Городские маль-

чки и девочки ссорились и мирились. Шуркин папа хотел сына — чтобы купить ему игрушечную лошадку, у которой этот сын выдерет хвост... Но родилась отчаянная девочка, со своей мечтой стать штурманом. Девочка с мальчишеским характером. На этом и строился весь конфликт этой детской повести...

Почему-то я ожидала, что меня будут хвалить.

Как же меня били! И безжалостней всех — сам Константин Георгиевич...

Он сказал, что дети в моей повести — маленькие старички, рассуждающие о своих узких школьных проблемах. Живущие в своем замкнутом мире... Он даже сказал — м и р к е.

— У вас героиня мечтает о море. Мечтает стать штурманом дальнего плавания. Но это ничем не подтверждено. Мечта о море — это целый мир! А ваши дети замкнуты в комнатном мире своих игрушечных интересов! Романтизм наивен. Отсутствует пейзаж. Это комнатная вещь. Ваши герои горожане, они живут половиной души. Нет самопожертвования, без которого нет дружбы.

Вы взяли за детскую повесть. Страсть писать для детей весьма благородна, но если дальше так пойдет, мы будем создавать литературу для стариков, впавших в детство.

Вспомните Тома Сойера! Кстати, было время, когда эта книга считалась вредной.

Какая глупость! Это настоящая, замечательная книга для детей. В ней есть воздух, а у вас тут нечем дышать! И героиня ваша... Она просто плохо воспитана. Говорит взрослому человеку: «Сидите, мне что за дело!» Это не то что Том Сойер, тот был проказник и выдумщик... А как он красил забор!!!

До сих пор помню, как у меня горели щеки.

Почему я надеялась, что меня будут хвалить? В нашем семинаре тогда наряду с недавними фронтовиками — Кожуховой, Бондаревым, Баклановым, Кривенко — было много детских писателей, то есть тех, кто собирался писать для детей, — Макс Бреженер, Настя Перфильева, Иосиф Дик... (Да и сам Паустовский долго числился в писателях для детей и юношества.)

Мне казалось, что дети в моей повести мало отличаются от детей в их повестях и рассказах. Теперь я понимаю, в

чем крылась беда, — мои девочки и мальчики были литературны. И больше всего б и л и меня именно детские писатели. А Константин Георгиевич сказал в заключение, что вообще не видит, что тут можно исправить. Недостатки вещи коренятся в самом подходе к теме... Тут надо менять все!..

Это был разгром. Такие полные, настоящие разгромы были редкостью на семинарах. Чаще отмечали неудачные фразы, иногда критиковали бледный образ героя, схематичность. Паустовский особенно строг был к языку.

Вот запись, сделанная мной на одном из семинаров, — обсуждали рассказ одного из наших.

— Вы пишете — «промтоварная точка», когда можно сказать — «магазин»... «Поехал в центр», вместо — «в город»... Откуда у вас, молодого человека, этот язык замшелых бухгалтеров?..

Эти примеры я использовала в своей повести «Поэтом можешь ты не быть», посвященной Литинституту, вложив их в уста руководителя творческого семинара Усольцева.

Сколько раз потом с благодарностью я вспоминала тот день моего разгрома, когда полетело все.

Я укусила милосердия жестокой правды. Только такая правда целебна. Мне довелось видеть, как мой отец, старый доктор, человек по натуре добрый и мягкий, со всего размаха ударил по щеке свою маленькую любимую внучку. Она болела, у нее был жар, и она проснулась среди ночи и смеялась в бреду, со стеклянными невидящими глазами... От пощечины она сразу очнулась, заплакала...

Врачевание Паустовского было сходно с этим. Я не заплакала, но как бы очнулась...

Спустя год я написала новую повесть. В ней от тех глав осталась лишь детская мечта героини стать моряком. Все остальное было иным — Сибирь, первая любовь, трудная, столь знакомая мне жизнь подростка в годы войны. Я писала о том, что хорошо знала, — о пережитом.

Константин Георгиевич в ту пору уже оставил Литинститут. И все-таки, когда повесть была готова, я, спросив его разрешения, повезла ее в Переделкино, к нему на дачу. Повесть называлась «Я — тайга». Я закончила ее к весне сорок девятого года и в мае сдала в Детгиз на объявленный конкурс — «на лучшую книгу для детей»...

В Переделкине было зелено, пахло нагретыми елями. Еще доцветала вдоль заборов золотая мать-и-мачеха, дятлы в красных жилетах выстукивали без устали свою

морзянку, и белки сорили, осыпая под высокие сосны чешую шишек и хвою.

Константин Георгиевич сказал, что моя повесть ему понравилась. Настолько, что он хочет сам предложить ее в Детгиз...

Он был один на даче. Угощал меня молоком, но я отказалась. И тогда Константин Георгиевич сказал, что у него живет черепаха, — сейчас он ее покажет. Мы вышли в сад и долго искали ее, бродя между деревьями в пятнах тени и света. Она и вышила молоко.

В рекомендации для вступления в Союз писателей, данной мне им год спустя, по выходе в свет повести «Я — тайга», он писал, еще, впрочем, несколько сдержанно: «Повесть Гофф «Я — тайга» обладает бесспорными литературными достоинствами и может служить основанием для приема тов. Гофф если не в члены, то в кандидаты Союза писателей».

Тогда еще существовала такая подгруппа — кандидат Союза писателей. Потом ее упразднили.

Рекомендацией я не воспользовалась. Быть принятой в кандидаты мне не хотелось, и я решила повременить до выхода новой книги.

Уже давно я была членом Союза писателей и книги издавались одна за другой, но Константину Георгиевичу я их не послала. Не было даже такой мысли. Лишь когда в журнале «Юность» появилась моя короткая повесть «Северный сон», мне захотелось послать ее Паустовскому. Может быть, потому что я знала — он любит Север.

Вскоре пришел ответ из Тарусы.

Такие письма неловко цитировать. Я бы не решилась обнародовать его, если бы в журнале «Юность», № 6 за 1982 год, не была помещена подборка статей и писем Паустовского, и среди них письмо ко мне.

Это позволяет привести его здесь полностью.

Таруса.

22 октября 1960.

Дорогая Инна Анатольевна (мне все хочется написать «Дорогая Гофф», как я звал Вас в Институте), — получил Ваш «Северный сон» (хорошее название) и прочел его не отрываясь. Читал и радовался за Вас, за подлинное Ваше мастерство, лаконичность, точный и тонкий рисунок вещи, особенно психологический, и за подтекст. Печаль этого

рассказа так же прекрасна, как и печаль чеховской «Дамы с собачкой».

Поздравляю Вас, и если правда, что хотя бы в ничтожной доле я был Вашим учителем, то могу поздравить и себя с такой ученицей.

Я ничего о Вас не знаю. В последний раз мы с Вами встретились, кажется, в Дубултах. Напишите мне о себе. Кстати, молодая писательница Ричи Достян и ее муж недавно уговаривали меня проехать тем путем, о котором Вы пишете в рассказе.

Здесь в Тарусе поселился Балтер, — Вы его должны знать. А в селе Марфино, в нескольких километрах от Тарусы живет Юрий Казаков. Как видите, Таруса становится литературным центром для молодых писателей.

Я пока что держусь и работаю зверски, — все кажется, что не успею написать всё, что задумано.

Будьте здоровы, счастливы и пишите не торопясь такие же великолепные рассказы, как «Северный сон». Очевидно, рассказы делаются из того же вещества, из которого делаются сны.

Ваш К. Паустовский.

Это моя награда за путь, что проделан мной, после памятного семинара.

Он сказал однажды:

— Самое плодотворное время для писателя, когда он ничего не пишет...

Мне, в ту пору студентке, очень понравилась эта фраза. В ней был блеск, присущий парадоксу. И таилось некоторое изящное оправдание лени, безделья.

Прошло немало лет, пока я смогла оценить этот афоризм по достоинству. Понять, что в молчании душа накапливает опыт. Драгоценное время, когда ты просто живешь, чувствуешь, воспринимаешь окружающее непосредственно, а не как будущий литературный материал.

Эту же фразу почти дословно приводит Жан Ренуар в своей книге об отце, вышедшей в Париже много позднее: «Работаешь больше всего тогда, когда ничего не делаешь».

Так могли сказать лишь величайшие труженики, какими были Огюст Ренуар и Константин Паустовский.

Мне довелось провожать его в последний путь. Толпы народа шли — текли — мимо гроба. Было множество роз. Желтые, чайные розы Глория Деи — З о л о т ы е р о з ы.

Мастер з о л о т о й р о з ы лежал скорее спящий, чем мертвый. И только то, что он спит среди стечения народа, музыки и речей, говорило о смерти, убеждало в ней.

Я стояла в почетном карауле слева у изголовья, в ярком свете прожекторов, и, привыкая, не сразу посмотрела на него. Сначала я увидела черные мягкие ботинки, с черным плетеным верхом. Подумалось об Италии, потому что в шестьдесят пятом он, будучи там, еще много ходил, двигался и, наверное, купил их — удобные, легкие. Собирался в них ходить. Но ботинки были новые.

Потом я увидела его знакомое, четкого рисунка, смуглое лицо. Небольшие руки, сложенные ниже груди...

Играла пианистка. После нее — квартет исполнял что-то слишком громкое и отвлеченное от горя.

Люди все шли.

В зале было много его учеников разных лет. Все убыстрялась смена караула у гроба, теперь ставили по восемь человек, а не по четыре, как вначале. Небо было серое, и шел дождь. Вечером, когда разразилась гроза, траурный эскорт был уже в Тарусе. Но сначала была панихида. С традиционными речами. Порой тех, кого он не любил и кому был чужд. И выкрик плачущего Шкловского:

— Не надо плакать! Река пришла к морю! Это трудно и просто, так прекрасно жить, и умереть, и чтобы так провожали!..

Улица вокруг была запружена, и движение почти остановилось...

Прошли годы, и вышла книга воспоминаний о Паустовском. Меня нет среди ее авторов, — составители не известили, что такая книга готовится. Но там я встретила свое имя, — Константин Георгиевич назвал его в числе пяти других имен, вспоминая своих учеников...

Я часто о нем думаю.

Да, он обладал редкостным талантом Учителя. Не случайно среди его страстных поклонников много учителей. Он умел создать особую, таинственно-прекрасную атмосферу творчества, — именно это высокое слово хочется здесь употребить.

«Как делать стихи» — не его метод, не его подход

к разговору о том, как надо писать. Каждый писатель для него маг, а не работник, не токарь-шлифовальщик фразы.

Его письмо ко мне кончалось словами: «Очевидно, рассказы делаются из того же вещества, из которого делаются сны».

Он был магом. И он не заземлял, а приподнимал значение слова — п и с а т е л ь. Равнозначным этому слову для него было звание г р а ж д а н и н.

Быть учеником Паустовского не просто.

ТРИУМФ ШВАМБРАНКИ

В Литинституте был создан новый семинар — Льва Абрамовича Кассиля. Естественно, что пишущих для детей определили к нему. Я осталась у Паустовского, но семинар Кассиля посещала исправно, — благо по времени они не совпадали.

Кассиль был высок, смешлив, порывист. На нас, своих новоявленных швамбранов, смотрел с нетерпеливой надеждой. Он был много моложе Константина Георгиевича — рос уже при Советской власти, был свидетелем и участником свержения Кондуита. Его книгу «Конduit и Швамбрания» мы любили с детства. Написанная от первого лица, она приближала к нам автора, — казалось, мы с детства знаем и его. Знакомы с его мамой, которая после ухода настройщика пианино говорила: — «Золотые руки!» — и пересчитывала в буфете серебряные ложечки. И с его братом Оськой, который знал, «где земля закружится», — этим местом была клумба в саду. И с его другом, Степкой Атлантидой...

Кассиль был похож на свои книги и на себя в книгах. Его внешность — при высоком росте небольшая голова с продолговатым лицом и яркими, горячими глазами за стеклами очков — была мишенью для многих карикатур. Иногда его изображали в виде жирафа в очках, и было похоже...

Мы его не боялись. Я писала повесть — и отчетливо помню, как заранее предвкушала, в каком месте Кассиль будет смеяться и какую деталь назовет удачной. Можно сказать, что я писала, имея его в виду как читателя. Вернее — слушателя. Уменьше слушать и слышать — качества, которыми он владел в совершенстве. Возможно, причиной была его приверженность спорту, о котором он, сам ярый

болеющий, много писал,— но реакции его были мгновенны.

Какое точное, от спорта пришедшее определение — схватывать на лету.

Руководя семинаром, Кассиль и за нас болел со страстью болельщика.

Он сказал:

— Я уважаю вас за то, что вы пожертвовали очень многим, ломая вещь и делая ее заново. Это нелегко!..

Новая повесть была о школьнице-сибирячке Шурке Соколовой. Выросшая в маленьком городке Стоянске, она мечтает о Москве, считая, что только там, в столице, возможна настоящая жизнь. Ее мятущаяся душа мешает ей видеть окружающее и верно оценивать события. Возникает конфликт — с классом, друзьями, близкими. «У меня нет друзей!» — так начинает Шурка свое школьное сочинение на тему о дружбе.

Мне предстояло во всем этом разобраться вместе со своей героиней, которая вела себя своевольно и не хотела мне подчиняться.

К началу декабря повесть была вчерне готова. И состоялось чтение.

ИЗ ДНЕВНИКА ТЕХ ЛЕТ

«Был семинар Кассиля и принес мне много радости. Не потому, что хвалили и сказали много хороших слов. А потому, что говорили о том, что надо сделать, чтобы была школьная повесть, «которую сейчас так ждут». Кассиль сказал: «Для этого все данные есть и у автора, и у этой повести».

Я хотела читать первую, пятую, шестую, девятую и двенадцатую главки, а промежуточные бегло пересказывать.

Но потом начался шум: «Зачем пропускать такие существенные главы?»

— Что мне сделать, если у меня в каждой главе существенное?

Все много и хорошо шумели, решили — читать все подряд! И с пятой главы до восьмой включительно я читала подряд. Четыре главы остались на следующий раз. Семинар шел с половины первого до четверти четвертого, — обычно мы укладываемся в полтора-два часа.

На разговоры времени оставалось не много.

Хвалили. Начала Люда Кравец — «храбрый Кравец», как сказал Кассиль. А Галя Можарова даже поцеловала меня в макушку со словами: «Это будет любимая повесть ребят!» Дима Комиссаров сказал: «Мне очень понравилось. Я даже ничего не записывал — думал, не будет разговора вообще...» И каждое выступление кончалось словами: «Очень здорово!..»

Только Настя Перфильева сразу обрушилась на необоснованность мечты о Москве. Это и было камнем преткновения, вокруг которого начались разговоры. Все сошлось на том, что хотя это явление общее, но обосновано чем-то у каждого. Мечту о Москве надо обосновать и у Шурки, тогда это будет «очень приятный симпатичный образ». Намечены были первые вехи того, как это сделать...»

На этом кончается в дневнике запись о том радостном для меня дне.

Кассиль согласился с Перфильевой, но в целом вещь похвалил, тоже сказал, что очень здорово!

Так он говорил, когда ему нравилось. Замечу, кстати, — Паустовский никогда не мог так сказать, — слово «здорово» было не из его словаря.

Тогда, на высокой волне похвал, казалось, что такая поправка — обосновать мечту о Москве — пустячное дело. Но я долго еще билась над этой вещью, переписала первые главы заново — строптивая Шурка сопротивлялась, потому что была живая, в умственной схеме ей было тесно.

Много раз потом мне приходилось бороться с джинном, порожденным своей же фантазией.

Иногда Кассиль проводил семинар у себя дома. Он жил в проезде МХАТА, в квартире Леонида Собинова, — был женат на его дочери. Певец давно умер, но в его просторном кабинете — гостиной — все было как при нем, и на рояле стоял нотный лист, что-то из его репертуара. И фотография — Собинов у этого же рояля. Вообще было множество фотографий артиста, — его красивое, одухотворенное лицо смотрело на нас отовсюду. Он был снят один и с маленькой дочерью Светланой, которую нежно любил.

Светлана Леонидовна, жена Кассиля, очень женственная, с чистым открытым лбом и серыми глазами, приветливо нас встречала. Мы знали, что она играет в драматическом театре.

Мы входили гурьбой, рассаживались на широкой низкой тахте и стульях собиновской гостиной (Кассиль рабо-

тал в маленькой узкой комнатке, служившей ему кабинетом), — невиданной величины черный кот Мухаил разгуливал тут же, терся о наши ноги. Это был особенный кот. Кассиль рассказал нам, как к матери его жены подошла незнакомая женщина и спросила: «Вы вдова Собинова? Я давно хочу вам сказать... Какой у вас замечательный...»

После слов «вдова Собинова» естественно было ожидать, что разговор пойдет о великом артисте.

— У тещи от волнения перехватило горло, — рассказывал нам Кассиль. — А та закончила: «...замечательный кот!»

Думаю, что из нас, швамбранов, к Кассилю наиболее близок был Макс Бременер, с его юмором, с несколько изысканной речью его героев.

Персонажи его повестей и рассказов были как и сам Макс — городские мальчики и девочки. Несколько книжные, они жили в среде своих детских «бед и обид». Но даже Паустовского — не говоря о Кассиле — это не сердило, — возможно, спасал юмор и ощущение того, что Бременер о другом и по-другому писать не может.

Внук известного профессора, выросший в рафинированной московской семье, худосочный, болезненный Макс Бременер обладал скрытой энергией и в быту удивлял друзей своими вполне решительными поступками. Тем более удивлял, что в разговоре, в длинных периодах, из которых он складывал как бы написанную в уме фразу, сквозила нерешительность мягкого интеллигента.

Его любимое — «Да что вы говорите!» — сопровождал почти ежеминутно каждую с ним беседу.

Он любил слушать и обладал даром комически изображать потом своих собеседников. Семинары, на которых он читал, всегда проходили весело. Кассиля он называл за глаза дружески-фамильярно «Кассойланд».

Это от него, от Макса Бременера, я узнала, что хотят издать мою повесть «Я — Тайга». Отдав ее на конкурс в Детгиз в мае сорок девятого, в ожиданье решения жюри я старалась о ней не думать.

И вдруг в ноябре в институт пришел Макс, — он жил на Тверском бульваре. Пришел, чтобы сообщить мне: ему только что звонил Кассиль, моя повесть включена в резервный план издательства на пятидесятый год. Побежали звонить Кассилю. Лев Абрамович сказал, что это еще не итог конкурса, но уже отобрано для произ-

водства несколько книг, сданных на конкурс. Кассиль достал издательский план и прочитал в телефонную трубку:

— Инна Гофф, повесть «Я — Тайга», шесть печатных листов, тираж сорок пять тысяч («Тройной!» — отметил он).

И объяснил, что означают слова резервный план.

ИЗ ДНЕВНИКА ТЕХ ЛЕТ

«Радость мою нельзя понять тому, кто не испытал ее сам. Это не тщеславие, другое. Мой труд нужен людям, мною сделано что-то полезное. Пусть еще очень мало, только первый шаг, но ведь это начало пути, солнечное, синее утро... В дорогу я выхожу не одна. У Оли рассказ в «Смене», у Ритки — рецензия на ее стихи в «Октябре», и от этого еще радостней...»

А несколькими страницами раньше: «Мне уже двадцать два года, а еще ничего не сделано...»

Разгром на семинаре Паустовского, работа над новой повестью, сомнения, поиски и переделки...

ЗАПИСЬ В ДНЕВНИКЕ:

«Наши умеют праздновать удачи друзей. Начала Рита — явилась с букетом георгинов, среди которых один огромный, как подсолнух. Потом, когда я вышла из дома и вернулась, на подушке лежали гвоздики от Лили Обуховой. Милка Городецкая с воплем «Ур-ра-а!» выставила на стол банку домашнего варенья. Явилась Маринка Фофанова с шоколадным эскимо.

Уселась на тумбочки, вокруг стола, пели и пили... воду! Пели «Тумбу» с верхним — «А-а-а...», особенно хорошо получалось у Маринки, все-таки представитель солнечного Таджикистана».

Весть о повести расходилась кругами. На моем курсе устроили обсуждение. Читали, передавая друг другу, и ребята с других курсов. Повесть хвалили Турков и Огнев, Солоухин и Тендряков, Бондарев и Бакланов. Профессор Павел Иванович Новицкий, читавший у нас спецкурс по Маяковскому, вручил мне восторженное письмо. Кто-то из остряков съязвил: «Акции Инны Гофф растут!»

Все эти, столь разные, люди, ныне известные и столь

же разные писатели, пленились историей моей Шурки, ее противоборством трудной судьбе. Никогда, потом пожалуй, меня не хвалили столь единодушно.

Я прочла эту главку вслух одному из наших. Многое он помнил сам, кое-что забыл. Ему было интересно взглянуть на нас, прежних, и на себя уже издали.

— Неужели все радовались? — спросил он в раздумье.

Да, все. А потом устали радоваться. Это, видимо, напряжение — радость за другого. И своя радость — напряжение тоже. После большого вечера в актовом зале, где опять меня много хвалили, начались какие-то мелкие ссоры, перепалка. Я плакала, и было странное чувство вины перед всеми и неловкости за то, что привлекла своей повестью общее внимание.

Это было событие в Литературном институте. Те, что до сего дня продолжали по привычке числить меня девочкой, д е т с к и м с а д о м, покаянно высказывали свое удивление.

Повесть — «Я — тайга» стала моей дипломной работой. И вскоре, в пятидесятом году, вышла в свет, получив затем премию на конкурсе.

Я была уже замужем и ждала ребенка.

В широком пальто защитного сукна — мне уступила его по дружбе наша студентка, болгарка Лиляна Стефанова — в своем я уже не помещалась — я отправилась из Люберец, где тогда жила, в Москву, к Кассию.

Мне хотелось самой вручить ему свою первую книжку — в нарядной, под стать названию, зеленой обложке с еловыми ветками.

Я не стала предупреждать, решила прийти сюрпризом.

Кассия не было дома. Открыла мне дверь домработница, спросила:

— Откуда курьер?

Я отдала ей книгу.

ПРОСТОДУШНЫЙ ДОННИК

Мне позвонил редактор альманаха «День поэзии» и попросил написать открытое письмо в Ташкент поэтессе Наталье Буровой.

«Мы знаем, что вы с ней много лет дружите, а у нас готовится рубрика — переписка московских писателей с живущими в республиках и областях...»

Была некоторая странность в переписке с близким другом с помощью альманаха. Но я знала, что Наташа Бурова в больнице, и написала это письмо, обращенное к ней, к нашей молодости.

«Дорогая Наташа! — писала я.—

Все не выходит у меня из памяти наш разговор, а вернее, твои слова о том, что, когда тебе не работается, не пишется, ты чувствуешь себя глубоко несчастным человеком. Был холодный вечер, поздняя осень со снегом. Плохо приедем в это неопределенное время года, когда не знаешь, как одеться в дальнюю дорогу. Ты же приехала из Ташкента, где еще цвели кусты роз у тебя под окном, в Чиланзаре.

Укутанная во множество одежек, ты изнемогала от жары в метро и замерзала на уличном ветру. И мы прежде всего стали поить тебя чаем.

Ты приехала по издательским делам, а это для тебя всегда случай повидать сына Диму, давно ставшего москвичом и отцом двух маленьких москвичей. А также случай повидать друзей. И меня в том числе.

Длинный путь от Москвы до Ташкента лежит между нами, и долгие годы отделяют нас от дней нашей студенческой жизни.

Но отделяют — не разъединяя, а, напротив, связывая нас все теснее год от года.

Потому что у нас остается общим главное — наша работа.

Я помню, как ты появилась у нас в общежитии Литературного института на Тверском бульваре. Ты немного опоздала, — занятия уже начались. Была такая же холодная осень. Все мы мерзли, а ты больше всех. Спала, укрывшись пальто поверх одеяла, а на перемене жалась к теплу батареи. Но твои карие глаза источали постоянный золотистый свет, впитав лучи неведомого нам азиатского солнца. Твой негромкий, чуть хрипловатый голос, твое «пань-маешь, Гофа», твои неторопливые плавные движения, в них покой и леность азиатского полдня. Мы не скоро узнали о том, какие нервные бури склонна ты переживать внутри себя. Они, подобные магнитным бурям, не видны извне. Но одно мы сразу почувствовали: ты поэт, яркий

и вполне сложившийся, в отличие от многих из нас, еще искавших себя.

Была ты несколько старше нас, и был у тебя уже горький жизненный опыт, и маленький Дима писал тебе письма из Ташкента большими печатными буквами.

Но, как ты знаешь сама, жизненный опыт заменить таланта не может, он лишь помогает таланту полнее раскрыться. Как верно заметил один из наших остряков той поры — «В семнадцать лет таланта нет — и в семьдесят не будет».

Ты была щедро одарена. Мы повторяли наизусть твои стихи, радуясь им, как если бы они были наши собственные.

Когда-то пил мой дедушка кумыс
от черной крутобедрой кобылицы,
И тень большой раскрылившейся птицы
Броском к земле проваливалась вниз,
Чтобы опять, высматривая, взвиться.

Мне не надо листать твои сборники, вышедшие в последние годы в Москве и в Ташкенте, для того чтобы привести в письме эти строки. Разве лишь с целью проверить — не испорчены ли они редактурой.

А дедушка казался мне сильней
Привидевшихся в снах богатырей.
Он клал в карманы сладости для внуков
И бил кнутом плечистых сыновей.

Ты принесла нам свой мир, с запахом нагретой солнцем земли, дрожанием воздуха и миражами, с дымом костра, шумом бешеных горных рек. С гордыми, сильными духом людьми.

Прекрасный мир, еще более прекрасный от сознания быстрого земного времени.

И даже дед, большой, широкоплечий,
Лежит в могиле долгие года.
И даже стих, наверное, не вечен...

Так заканчивалось «Семиречье», одно из лучших твоих стихотворений. Не зря так назвала ты и свой первый сборник, выпущенный в Москве в 1965 году. Но строк этих я в нем не нашла, — должно быть, кому-то они показались слишком мрачными. А жаль!..

Мы твердили твои стихи наизусть, наслаждаясь зву-

чанием незнакомых доселе названий — Талас, Тиктурмас, Каракол...

Ты рассказала нам, что твоя ранняя молодость прошла в геологических экспедициях. Так вот откуда в твоих стихах эти костры под звездным небом, дальние огни селений, одинокие бродячие псы, приходившие посидеть с людьми у огня.

Мы знали, что твои стихи высоко оценил Луговской и это ему ты обязана своим появлением в Литинституте.

Знали, что тебе довелось читать стихи самой Анне Ахматовой.

Но подробности почему-то забылись. И теперь, в эту нашу осеннюю встречу, я спросила тебя, как это было. Ты сказала, что к Ахматовой тебя привела Светлана Сомова. Ты читала свои стихи, Ахматова внимательно слушала, и вид ее выражал одобрение.

— Нет, она держалась просто, — сказала ты, отвечая на мой вопрос. — На ней было ситцевое синее платье. Паньмаешь, по молодости лет я даже была разочарована ее видом. Я ждала, что она царственная, как о ней привыкли говорить...

Мы были очень огорчены, когда после болезни ты вдруг бросила институт и вернулась в Ташкент. И не просто вернулась, а как-то скрылась от всех. Исчезла.

Много лет мы не знали, где ты и что с тобой стало. А ты работала чертежницей и писала, писала стихи. Потому что была жива. И потому, что писать и жить для тебя слова равнозначные.

Жила ты и в нашей памяти. Ты и твои стихи.

...Сегодня мне кажется легким пальто,
А ветер настойчиво дышит,
И все, что ты скажешь сегодня, не то,
Что мне бы хотелось услышать.
Но ты никогда не узнаешь по взгляду:
Чего же мне мало? Чего же мне надо?

Но вот пронеслась добрая весть: Наташа Бурова, как прежде, живет в Ташкенте! И пишет стихи!..

Мы перезванивались — Ольга Кожухова, я, Татьяна Сырышева... Потом в Москве, на страницах журналов, появились твои стихотворения, вышел твой сборник. Случилось как бы второе твое рождение. За «Семиречьем» появились «Теплые камни», «Год аиста», «Зеленые шары»...

Этой осенью я была, как всегда, очень рада встрече с тобой. Рада, что в Москве у тебя выходит новая книжка. И просто рада видеть тебя, твое милое лицо, смотреть в твои глаза.

Мы проговорили обо всем, и тогда ты произнесла те запомнившиеся мне слова. О том, что, когда тебе не работается, ты чувствуешь себя глубоко несчастной. Потому что приходит страх — а вдруг это все? Конец стихам?

Потом, когда ты ушла, я много думала о тебе. О твоих словах. И вообще о нашей работе. О том, что нашему делу нельзя научиться. Им нельзя овладеть до конца. Потому что, как только мы и а у ч и м с я писать, успокоимся в своем уменье, — мы утратим самое драгоценное — возможность искать и находить. Мы остановимся. А останавливаться мы не должны. Наверное, потому и существует выражение — литературный п у т ь...

И еще. Замечала ли ты когда-нибудь, что цветы, наделенные способностью благоухать, распространяют свой запах не непрерывно, а с интервалами. У нас в Подмосковье, возле моего крыльца, каждый год расцветают ночные фиалки. Я очень люблю эти мелкие, бледно-сиреневые, невзрачные в дневном свете, цветы. В темноте, под высоким небом, далеко разносится в прохладном воздухе их изысканно-пряный запах. И вдруг — пауза. А за ней новая волна, словно все эти маленькие сиреневые цветы выдохнули одновременно».

Я желала ей здоровья, счастья, а значит, прежде всего, новых стихов. И веры в себя в те дни, за которыми следует новый в ы д о х.

«День поэзии» — семьдесят восемь, с моим письмом вышел в свет в декабре. Я получила ответ. Наташа благодарила меня, говорила, что мое письмо принесло ей радость.

А на конверте адрес — чужой рукой. Как на всех ее письмах вот уже скоро полгода.

Я знала, что она еще в больнице. Но надеялась, что ей помогут, как бывало уже не раз. Надеялась и она.

И вот на конверте знакомый почерк. А внутри, стихи, напечатанные под копиру на папиросной бумаге. Никакой записки. Много стихов — и только. И снова конверт. Снова только стихи. И новая книжка — «Синяя птица» — только что вышедшая в Ташкенте. Нигде нет вложенного листка, как бывало прежде.

Только книжка. Только стихи.

...Мне сегодня хочется быть птицей,
Чтобы незаметно умереть...

Боялась проговориться. Проговариваясь в стихах, справедливо надеясь, что это будет воспринято как стихи.

Поняла, что врачи не смогли помочь. Привела в порядок письменный стол. Сложила стопкой в разные годы вышедшие книги. Оставила записку — просьбу помочь близким справиться с горем.

Ушла холодной мартовской ночью в тонком поролоновом пальто за двадцать пять километров от дома.

Там было водохранилище.

Незнакомые люди погребли ее неопознанную. Помогло опознать сбереженное ими пальто. Она ушла из дома тихо, чтобы не разбудить старую мать. Чтобы н е з а м е т н о умереть.

А двадцать второго марта в Ташкенте подписали в печать ее последнюю книжку. Она называется «Тамариск». Еще до ее выхода в свет верстку этой книжки нам принес сын Наташи, Дима.

Кандидат технических наук, любитель подводного плавания и путешествий, он, чуждый поэтических тонкостей, силится понять стихи, сотканые из лучей азиатского солнца, нитей кизячного дыма и журчанья воды в арыке.

— Посмотрите, — говорит он. — Тут у нее сказано «ждет чего-то простодушный донник...». Я искал в энциклопедии — нет такого...

Голуби садятся на ладони,
Лебеди плывут у кромки льда,
Ждет чего-то простодушный донник,
Ждать не уставая никогда...

Смотрит пытливо. Глаза карие, как у матери. Но без того золотистого излучения, которое в ней выдавало поэта.

Для нас он еще и Димасик. Тот, чьи письма печатными буквами прилетали к нам в общежитие из Ташкента.

На долю сына выпало много трудного. Перевозить прах матери в Ташкент, заботиться о памятнике, о ее бумагах и, возможно, будущих книгах...

Как сделать это, не понимая поэзии, ее языка. Поверяя гармонию алгеброй...

Он искал в энциклопедии «донник простодушный», полагая, что это его научное название. Его разновидность.

Вроде каштана конского или мяты перечной... Название, рядом с которым стоит его латинское определение.

Как объяснить, почему она назвала его так? Как объяснить поэзию?

«Простодушный донник...» Простодушный, как открытое, незащищенное сердце. Он все ждал чего-то, не уставая...

Всегда ли нас понимают дети, думаю я с грустью и нежностью. И почему это так для нас важно — чтобы они нас понимали?..

...А мама смотрит на меня печально,
А я смотрю сквозь темноту на сына,
А он стоит спиной ко мне, далекий,
И смотрит в нескончаемую жизнь.

В РИТМЕ ЛОЖКИ

Кате год и девять месяцев. Говорить стала в год и семь. Началось с существительных:

— Кате... Кузю!

(Лохматая рыжая кошка — ее любимая игрушка, Кузей она сама ее назвала.)

Потом явились глаголы — в повелительном наклонении:

— Гуляцы! Надецы!

После уроков вежливости стала к ним прибавлять п а з и з а (спасибо) и п о з а л ь т е (пожалуйста).

Пока эти добавления ей не надоели, усердно ими пользовалась. И когда не хотела доедать кашу, делала решительный отстраняющий жест:

— Фсё! Пазиза!..

И уже — ни ложки в рот не втолкнешь, — ф с ё. Потом Катя заметила, что взрослые часто обходятся без с п а с и б о и п о ж а л у й с т а, и стала их реже употреблять.

Ей надоели: «Гуси-гуси, га-га-га, и теперь — «га-га-га» говорят у нее все, даже радио, — «радио, радио, га-га-га».

Любит сказки Маршака и Чуковского.

Пришлось и нам вспомнить детство и все выучить заново, — столько раз читая Кате одно и то же.

Многие взрослые удивлялись, — сколько чепухи наворочено в детских сказках Корнея Ивановича Чуковского. Не догадывались, что эти сказки — ну хотя бы про Крокодила, который «по улице ходил, по-турецки говорил» — написаны в р и т м е л о ж к и. Той самой ложки с кашей,

которую нужно втолкнуть в рот. Когда этот рот упорно не открывается — надо сказать что-то неожиданное, удивить. И рот обязательно откроется — от удивления:

- Кто говорит?
- Слон!
- Откуда?
- От верблюда!
- Что вам надо?
- Шоколада!..

Глядь — и каша уже во рту. Но вот сюжет освоен, исчерпан, и ложку опять в рот не пускают. Надо срочно менять ритм, сюжет:

А сегодня две газели
Позвоили и запели:
— Неужели в самом деле
Все сгорели карусели?
— Ах вы, глупые газели,
не сгорели карусели
И качели уцелели!..

Когда в Новый год поставили елку — небольшую, ростом чуть выше Кати, — сказали ей, что трогать елку нельзя, что она колючая. Катя так и звала ее: «Колючая!», как-то по-северному, окая. Подходила к ней близко, тянулась руками к блестящим шарам и игрушкам, присаживалась на корточки от нетерпения, от желания все это схватить, но тут же напоминала, грозя пальцем не то себе, не то елке: «Колючая! Колючая!»

Она восприняла колючесть елки как ее жадность, — ишь сколько всего, а трогать нельзя, — колючая!..

Катя любит строить из кубиков. Архитектура ее бащен-домов сродни Корбюзье, — на вид ненадежные, они очень устойчивы. Они строят вместе с дедом Костей, иногда по очереди, и оба с видимым удовольствием.

Когда Катя ломает то, что построил дед, он по-детски огорчается. Но ведь если не сломать — из чего же строить новое?

Они большие друзья.

Пройдет полгода, и Катя сочинит одно из первых своих стихотворений:

Не маме, не бабе
Звонит телефон, —
А деду
По делу
Звонит телефон...

Ранней весной пятидесятого года, в конце лекций, меня вызвали в учебную часть,— я училась тогда в Литературном институте, на пятом курсе.

— Звонили из «Нового мира», от Твардовского. Срочно к главному редактору.

Пористый, подтаявший снег, яркое солнце, голые весенние деревья Тверского бульвара... Лестница широкая и отлогая, по ней в пору подниматься целой шеренгой, а не в одиночку. Темная со света прихожая, секретарша в очках, с папиросой,— Зинаида Николаевна, как потом я узнала,— ее слегка удивленный взгляд и хриловатый голос:

— Направо — и прямо дверь... Александр Трифонович вас ждет!..

Многоопытной Зинаиде Николаевне не часто приходилось видеть в редакции столь молодых — мне было двадцать два года — авторов. Такому автору, если он и рискнул появиться в уважаемых стенах, следовало долго и робко обивать пороги. А тут — «направо и прямо!»...

Дальше все как во сне. Небольшой кабинет, у двери, по правую руку, письменный стол, за ним Александр Трифонович Твардовский. На столе, перед ним, в картонной папке с тесемками моя рукопись. Не то второй, не то третий экземпляр...

Впоследствии выяснилось, что «Новый мир» взял в Детгизе рукопись моей повести «Я — тайга», которую я еще минувшим летом сдала туда с пометкой «На конкурс».

До результатов конкурса было еще далеко, но в Детгизе повесть уже прочли, одобрили и собирались издать. «Новый мир» же заинтересовался ею после недавно прошедшего Всесоюзного пленума по детской литературе и драматургии. Там, на этом пленуме, мое имя упоминали в числе других новых имен. А заодно и сетовали на то, что толстые журналы мало внимания уделяют литературе о молодежи. Не знаю до сих пор, как это случилось, что мою рукопись прочел сам Твардовский.

Знакомое круглое лицо, мягкие пряди волос, мягкий, с белорусским оттенком голос.

— Человек вы несомненно одаренный,— говорит Александр Трифонович.— Чувствуется, что вы знаете, о чем пишете. Хорошо у вас про Сибирь, по запах «пельменного навара»... Пишите смелей! Смелей пишите!

Я слушала его, сидя спиной к окну, ожидая решения — напечатают мою повесть или нет. Это ожидание отвлекало меня, мешало воспринимать его слова...

Твардовский протянул мне рукопись, сказав:

— Подумайте о концовке повести. Если ее изменить, сделать более определенной... Чтобы герой погиб, а не пропал без вести. Думаю, вся вещь стала бы серьезней, и мы бы могли ее напечатать. Полистайте, там карандашом я кое-что отметил...

Я ушла от Твардовского с надеждой и сожалением в душе. Придя домой, в общежитие, перелистала блеклые страницы. Третий экземпляр под копирку... Несколько мелких карандашных исправлений. Фраза «...по-хозяйски подкинул березовых поленец и вздул огонь» — и сбоку, его карандашом,— «поправил огонь»...

Так и напечатано в книге, вышедшей в Детгизе осенью того же года.

В «Новом мире» моя повесть опубликована не была. Александру Трифоновичу я написала письмо. Я писала, что не могу переделать конец повести, так как, подумав, поняла, что это изменит всю тональность вещи.

И еще — мне хочется оставить некоторую, пусть небольшую надежду юному читателю.

Как мне передавали, Александр Трифонович с одобрением отнесся к моему письму, да и мне однажды сказал по этому поводу:

— Молодец, принципиальная.

Шли годы. В «Новом мире» время от времени появлялись статьи, посвященные моим новым книгам. Статьи положительные, иногда довольно пространные.

С моими повестями и рассказами в «Новом мире» мне не везло,— никак не могла удовлетворить вкусы всех тех, от кого зависела судьба вещи. До Твардовского, таким образом, эти рассказы и повести не доходили. И слова «Направо — и прямо, Александр Трифонович вас ждет!» — больше для меня не звучали, хотя Зинаида Николаевна всегда встречала меня приветливо и ожидающе,— тот давний весенний день был ей памятен...

В молодости человек самонадеян, эгоцентричен. Уверен в том, что все обязаны интересоваться его работой, творчеством — если он художник,— уделять ему время, силы. Внимание старших, даже очень уважаемых, принимается как должное, и только с годами по-новому оцениваешь ту душевную щедрость, тот высочайший дар — Время,

потраченное на нас, и принимаешь этот дар как бы вторично.

Это воспоминания о двух моих встречах с Александром Трифоновичем Твардовским. Главным образом о второй, ради которой я и взялась за перо. Об этой, второй встрече вспоминаю всегда с волнением и благодарностью судьбе за то, что она случилась.

Был май пятьдесят пятого года. Точнее — десятое мая. Я была дома одна, когда в дверь постучали...

Мой муж, Константин Ваншенкин, хорошо описал этот старенький особняк на Арбате в своей книге «Наброски к роману». Глава так и называется — «Особняк на Арбате». Для тех, кто не читал эту книгу, скажу лишь, что был это восьмиоконный флигель во дворе, когда-то принадлежавший одному владельцу, а теперь набитый жильцами, с коммунальной, черной от времени кухней, через которую неизменно должны были проходить и хозяева и гости тех, кто жили в «особняке». Гости, стучавшие в дверь, одновременно всматривались в окна кухни, находившиеся на одном уровне с крыльцом, и могли видеть, идут ли им открывать.

Хорошо описал Ваншенкин наших колоритных соседей в этом первом нашем доме. Своего жилья до этого у нас не было, приходилось снимать, а тут было все свое — свои окна, свои двери, свои, пусть небольшие, но все же две смежные комнаты — семь и девять метров!.. И свои соседи!..

Мы были молоды. Мы любили свой дом, любили, когда к нам приходили друзья.

Ваншенкин пишет: «Кто только не бывал у нас: и Твардовский с Фатьяновым, и Трифонов, и Рыленков, и Федоров, и Бондарев, и Турков, и Тендряков... Телефона не было. Многие заходили запросто, благо по пути, на главной дороге».

Перечисляя тех, кто бывал в нашем доме, Ваншенкин начинает с Твардовского. Но случилось так, что именно в тот единственный раз, когда нашим гостем был Александр Трифонович, Ваншенкина дома не было.

«...и Твардовский с Фатьяновым». Пospешив на стук к входным дверям, я еще сквозь оконное стекло увидела Лешу Фатьянова. Фатьянов не однажды у нас бывал, отношения с ним были дружеские, и я не удивилась, увидев в окне его массивную фигуру.

Но вот дверь отворилась шире — и в нашу черную от

«платины времен» кухню вслед за Фатьяновым вошел Твардовский.

День был серенький, ветреный. Они были в легких пальто. Войдя в комнату, оба крупные, плечистые, они сразу ее собой заполнили. Узнали, что Ваншенкина нет дома, и хотели уйти, но я предложила им сесть, и они охотно согласились. Я заметила, что оба они несколько навеселе, — напомним, что накануне был День Победы. У Фатьянова это было заметней. Впрочем, чувствовал себя Леша у нас вполне хорошо и просто, Твардовский же был несколько скован. О себе могу лишь сказать, что я с первой минуты знала: сегодняшний день мне навсегда запомнится. И очень жалела, что нет мужа, — дело, по которому он ушел, было совсем незначительным.

Несколько слов о том, кем для нас был Твардовский. Я знала и любила его стихи, еще в военные годы вперемежку со сводками с фронтов звучал по радио его «Теркин». Мне, школьнице, работавшей в госпитале — не в качестве приходящего агитатора или книгоноши, а по-настоящему, — были очень близки эти стихи, как близки они были Теркиным, — многих я знала, встречала в своих госпитальных палатах...

Потом я узнала и другого Александра Твардовского, другие его стихи, тоже глубокие и мудрые, в которых тоже, по точному определению И. Бунина, не было... «ни одного... готового, т. е. литературно-пошлого слова».

Многое в Твардовском открыл и впервые прочитал мне вслух Ваншенкин. Его отношение к Твардовскому-поэту было почти благоговейное — впрочем, скорей любовное, так как оно не исключало некоторой, подчас критической, оценки, несогласия. Но поэт и человек Твардовский занимал и продолжает занимать в его душе исключительное по своей значимости место.

Все же в двухтомнике, изданном Гослитом, кое-что я открыла сама. Так, в цикле, обозначенном «Послевоенные стихи», открыла я стихотворения «Самому себе», «Перед дорогой», «Мне памятно, как умирал мой дед». И эти, самостоятельно «открытые» мной стихи, — последнее особенно, — стали мне очень дороги.

И вот они у меня в доме. Нежданные гости — Алексей Фатьянов и Александр Твардовский. Они сняли пальто и сели к столу. Фатьянов спросил, есть ли водка, и я достала из горки полбутылки «Столичной», оставшейся с Девятого мая. Не знала, что дать закусить или хоть запить. Алек-

сандр Трифонович попросил холодного чаю — заварки. Вдруг я вспомнила про апельсины, и они обрадовались. Фатьянов стал говорить, как он меня любит и что он прочитал мою книгу и хочет, чтобы я ему подарила.

Леша действительно относился ко мне по-дружески нежно, любил в компании петь со мной на два голоса «Летят утки». Но тут я ему не поверила, тем более, — что он мою книгу прочитал, — она вышла только что...

Все же написала ему и Александру Трифоновичу. К слову сказала, что вчера меня приняли в члены Союза писателей. И Твардовский пошутил, что робеет, и если бы знал, то не пришел бы.

— Скажите, а это важно? — спросил он с мягкой издевкой. — Неужели это так важно, чтобы... принял вас в Союз?

(На фамилии он сделал ударение).

Говорили о том о сем. Заговорили о детях, и Александр Трифонович стал хвалить свою старшую дочь. Как теперь я понимаю, она была тогда еще студенткой, но Александр Трифонович говорил о ней, о ее знаниях и способностях к науке с таким уважением, в котором сквозило даже некоторое восхищенное удивление, что я вообразила ее уже совсем взрослым, сложившимся человеком.

— А ваша дочь... Она от этой жены или другой? — спросила я.

Он усмехнулся. Сказал отдельно, с иронией:

— Я жен не меняю...

И если его усмешка относилась ко мне, к нелепости моего вопроса, то ирония явно к тем, кто жен меняет.

Помню, также спросила Александра Трифоновича, помогает ли он дома по хозяйству.

— Конечно, — сказал он, — я встаю первый и сразу ставлю чайник...

Леша Фатьянов стал читать свои стихи. Стихи были длинные, в них было хорошее начало, как идет «то дождики, то дождички», и «стали воскресения похожими на вторники»... Вдруг забыл на половине и пошел в другую комнату, где стоял диван.

Мы с Александром Трифоновичем остались вдвоем. Я сняла с полки его вышедший год назад двухтомник, сказала, как мы с Костей любим его стихи.

По памяти назвала несколько своих любимых, и, конечно, это — «Мне памятно, как умирал мой дед»... Оно

названо по первой строчке, и, произнеся ее, я уже не могла удержаться и стала наизусть читать дальше...

У него показались слезы, и он сказал:

— Это стихотворение мне очень дорого... Знаете, оно впервые напечатано в этом издании...

Александр Трифонович сидел в нашем малиновом кресле и курил, Фатьянов спал. Стали будить его, но он не проснулся.

Тогда Александр Трифонович сказал:

— Хотите послушать новое?

Он читал из поэмы «За далью — даль», и сразу запомнилось: «Нет, жизнь меня не обделила, ничем в пути не обошла. Всего с лихвой дано мне было в дорогу — света и тепла»...

Тогда, кажется, было так!..

Читал он очень естественно, просто, без нажима, только иногда чуть заметно, интонацией, подчеркивая важные для него места. Читал много, иногда, между чтением, спрашивая:

— Вам не надоело?

На что я с укором говорила:

— Александр Трифонович!..

И он опять читал. Помню строчки, — не знаю, откуда они: «Только видно, в руководство я уже не попаду...» И еще о том, что смерть бессильна...

В связи с чем-то я снова вспомнила свое любимое — «Мне памятно, как умирал мой дед». Сказала, что это стихотворение меня потрясло, когда я впервые его прочла.

Он посмотрел на меня. Спросил требовательно:

— А то, что вы сейчас слышали... разве вас не потрясло?

И я поспешила уверить его, что новые стихи прекрасны. Тем более что так оно и было.

За окном все было серенько, ветрено. Уже часа в два Александр Трифонович сказал:

— У вас, наверное, дела... Вам надо уйти, — и поднялся. — Пойду разбужу его (это о Фатьянове), он меня сюда привел, и я должен его увести...

На этот раз Лешу удалось разбудить. Он поднялся, хмуро позевывая и ежась, — недоспал...

Они оделись, и, уже уходя, Александр Трифонович поцеловал меня в щеку.

Фатьянов потом рассказал, что они с Твардовским в то утро шли по Арбату, и, когда проходили мимо нашего

дома, Леша спросил: «Саша, хочешь к Ваншенкиным?» И Твардовский сказал: «Пойдем»...

Когда же нам приходилось встречаться потом с Александром Трифоновичем — в клубе или в редакции «Нового мира», куда я иногда заходила, Александр Трифонович, здороваясь, кивал на меня и, подмигнув, говорил Ваншенкину:

— Поднесла!..

БЕСЕДЫ В СУМЕРКАХ

Данилов, Лена, Доктор Белов, Юлия Дмитриевна. И опять, в обратном порядке,— Юлия Дмитриевна, Доктор Белов, Лена, Данилов...

Не просто имена — названия глав. Главы — судьбы, сцепленные между собой, как вагоны, в общий единый состав, — повесть о санитарном поезде.

«Спутники». В сорок шестом году эта повесть появилась в журнале «Знамя». И прозвучало новое в литературе имя — Вера Панова. Широкий читатель услышал его впервые.

А ей было уже за сорок. И за плечами был долгий писательский опыт. Она считала себя драматургом.

Пьесы получали премии, но почти не ставились. Мы увидим их на сцене потом, когда придет известность, слава. Это время придет, и у нее будут просить: «Хоть что-нибудь в очередной номер»... И многие будут удивляться плодovitости автора, не подозревая, что это ранние вещи.

Вера Федоровна Панова рассказывала мне, что с «Сентиментальным романом» ее очень торопили и напечатали начало, когда она дописывала конец.

А новые повести шли одна за другой, опять же, как поезда, почти с одинаковым интервалом — «Спутники», «Кружилиха», «Ясный берег».

Ее книги драматичны. Не случайно почти все они нашли свое воплощение на сцене или в кино.

Перечитывая повести Веры Пановой, я думала о близости их той школе, что носит название неореалистической. Книги Пановой появились задолго до этого течения в западном искусстве. Но в них то же внимание к подробностям, тот же укрупненный план в изображении будничной жизни обыкновенных людей с их единственной, неповторимой судьбой.

Ее проза запоминалась, как стихи. Потому что фраза

была не просто написана на бумаге — она была построена.

До сих пор звучат в ушах: «...героиня наша идет, красавица наша идет... Митя! Митя! Вставай, деточка наша приехала, Юленька приехала...» Так в «Спутниках» родители встречают свою дочь — хирургическую сестру, старую деву Юлию Дмитриевну.

«Дядя Петя, вы дурак?» и — «Мы, что ли, все умрем?»...

Эта повесть «Серезжа», достойная быть упомянутой рядом с лучшими повестями о мире детства.

Удивительное у нее лицо. Глаза круглые, желтовато-карие, хищные. Смеялась она легко и очень добродушно. Иногда в разговоре уходила куда-то в глубь себя, и тогда глаза были обращены не на собеседника, а как бы внутрь.

В феврале пятьдесят девятого года я впервые приехала в Дом творчества Комарово, под Ленинградом. Только что в журнале «Юность» вышла моя повесть «Поэтом можешь ты не быть», и я с интересом и волнением ожидала, что скажет о ней взыскательный читатель. Здесь, в Комарове, мне хотелось написать несколько давно задуманных рассказов. К работе я приступила не сразу. Надо было осмотреться, привыкнуть к новому месту, изгнать из комнаты, где меня поселили, «дух предшественника» — разложить свои вещи, принести из леса и воткнуть в глиняный кувшин еловые ветки.

Дни стояли ослепительно голубые, с густой зеленью елей, тенями на искристом скрипящем снегу, пением синиц. Тихие пустынные улицы, спящие под снегом дачи. На трубах — снежные шапки, на заборах — снежные украшения одинаковой формы и величины, словно на каждом колышке по одинаковой снежной матрешке. Когда пригрело солнце, матрешки стали вытягиваться и превратились в заячьи лапки. Весело наблюдать эти игры зимы!..

Но вскоре стало пасмурно, потеплело. За окнами сеялся снежок. Пришла пора браться за работу...

Как-то утром, в библиотеке, я увидела Веру Федоровну Панову. Я поздоровалась с ней и спросила, видела ли она свежий номер «Октября», где помещен ее литературный портрет. Она взяла журнал и поблагодарила. Взглянула на меня приветливо, не узнавая. Под вечер, когда я только что пришла с лыжной прогулки, Панова меня окликнула:

— Инна Анатольевна! Бога ради извините, я вас не

узнала... Когда вы дали мне журнал, подумала — «знакомое лицо»... Потом спросила библиотекаршу... Вы на меня не сердитесь? Я вам не ответила на книжку. Но знаете, она показалась мне недостаточно откровенной, даже физиологически... (Речь шла о моей повести «Биение сердца», которую я несколько лет назад подарила Вере Федоровне.) Наши книги вообще очень приодеты, а к читателю надо выходить голым, хоть это трудно... Об этом еще Толстой говорил. Стыдно, а выходишь...

Она пригласила меня к себе. Сказала, что только что переболела бронхитом и сейчас еще не вполне здорова.

И вот мы сидим на диване в ее комнате. Вера Федоровна кутается в платок и покашливает. В комнате полумрак от летящего за окном снега и неяркой сиротской лампы у потолка. Разговариваем долго, непоследовательно. Обо всем.

Говорим о Ричи Достян, в то время ленинградке, опубликовавшей недавно повести «Два человека» и «Кто идет?».

— Она, конечно, от бога одаренный человек, — говорит Вера Федоровна. — Это наша кружевница. Мы так и зовем ее — «кружевница». Повесть «Кто идет?» очень хороша. Это просто памятник старой Волге. А «Два человека» мне не нравится. Это о слепом и мальчике, который добровольно идет в поводыри... Там много недостоверного. Мальчик не мог пойти в поводыри. Дети — эгоистичны, это здоровый эгоизм. Он помогает им занять свое место в жизни... И почему слепой все тоскует по своей профессии, когда он потерял весь мир?!

Об Экзюпери, которого я открыла для себя в ту зиму:

— У нас его читала вся семья. У нас, знаете... — она засмеялась, — ...сумасшедшая семейка!.. И подумать, — говорит она, став серьезной, — жил такой человек на земле, а мы узнали о нем после его гибели...

Говорим о нашей литературе. Она твердит:

— Сейчас надо искать что-то новое... Так, по-старому, писать больше нельзя!..

Сказала, что пишет рассказы. Узнав, что я тоже пишу рассказ, спрашивает: о чем. Я вкратце пересказываю сюжет. Спустя много лет после окончания войны бывший раненый — «ранбольной» Скворушкин — получает письмо от девочки Лены, которая приходила к ним в палату. В госпитале ее называли «сестренка», потому что была она школьницей с двумя косичками. И вот спустя годы Лена

прислала письмо Скворушкину — дружеское, теплое письмо, в котором Лена сообщала, что стала врачом и живет с мужем на Крайнем Севере. Ей, бывшей госпитальной «сестренке», хотелось узнать, как сложилась судьба раненого из ее палаты, ведь такое не забывается — госпиталь, Сибирь, война... Но письмо попадает в руки дочки Скворушкина, и она, подученная теткой-мещанкой, отсылает недостойный и грубый ответ, в котором среди прочих есть и такая фраза: «А вам бы хотелось, чтобы вашему мужу писали всякие «девочки с косичками»?..»

Вера Федоровна слушает меня с живым читательским интересом, очень непосредственно.

— Все это совершенно прелестно, — говорит она. — Но я бы придала немного любви, хотя бы один намек... Иначе как они, Лена и Скворушкин, запомнили друг друга? В то время люди мелькали мимо, и, по-моему, в этом причина испорченности многих людей...

Она спросила, есть ли у меня «Юность» с моей новой повестью, и попросила дать ей почитать. Спустя два дня она вновь зავала меня к себе.

И вот мы снова беседуем, сидя на том же казенном диване, в той же комнате, продолговатой и узкой, с неяркой лампочкой у потолка. Зато за окном голубизна, деревья в снегу. Каждая веточка как засахаренная. Ветра нет, но иногда легкий порыв его проходит по верхушкам елей. И ель небрежным жестом, слегка поведя хвойной лапой, стряхивает лишний снег.

— Ну, прежде всего о вашей повести, — говорит Вера Федоровна. — Я прочла ее сразу, и она мне понравилась. Конечно, это большой шаг в сравнении с той, что я читала раньше. Сразу скажу, что не понравилось...

Вера Федоровна не просто критикует тот или иной персонаж повести, но объясняет, в чем его несостоятельность.

— Мне неясно, почему ваш Усольцев после такого успеха его первой книги вдруг перестал писать. Был бездарен? Тогда это неинтересно. Ведь всякий талант — это источник, бьющий ключ. Что-то должно преградить ему путь, чтобы он умолк...

Потом она снова говорит о молодости писательского глаза и о том, что повесть современная. И я чувствую, как для нее самой важны и ценны эти качества, которые с годами так легко потерять.

— Молодежь не надо высмеивать со стариковским сварливым презрением, — убежденно говорит она. —

Молодежь не надо поучать, к ней надо прислушиваться!..

В том феврале ей было пятьдесят четыре года. И она не хотела стареть. Не только как женщина — как писатель. Но и как женщина тоже.

Женского в ней было много. Встречая ее на совещаниях и съездах писателей, я всегда отмечала про себя ее нарядность, внимание, с каким она была одета. Яркая помада, медный оттенок волос, в ушах крупные серьги — клипсы. Как много здесь от молодости, той ростовской, южной, что остается в крови на всю жизнь.

Такой она и оставалась. И, как я слышала от людей, близко знавших ее, была также мастерица готовить и варила знаменитый ростовский борщ по всем правилам кулинарного искусства.

В том феврале, в Комарове, мы беседовали довольно часто. К этому располагали долгие зимние сумерки.

Вера Федоровна уехала в Ленинград на несколько дней по каким-то делам. Вернувшись и встретив меня в коридоре, она сказала:

— Пойдемте, я подарю вам книжку...

Нечего и говорить, как я этому обрадовалась. У меня были книги Веры Пановой, но не было ни одной с ее надписью. И при нашем, недавнем еще, знакомстве, я не решилась бы попросить.

Это был вышедший в Ленинграде год назад «Сентиментальный роман», очень приятно изданный. Вера Федоровна сделала надпись на книге и протянула мне ее со словами:

— Вы читали?

— Читала, — сказала я, беря книгу.

— Понравилась?

Вопрос-утверждение. Немыслимость какого-то другого ответа. И невозможность солгать.

— Не очень...

Желтовато-карие глаза вскинулись, в них удивление. Может быть, гнев. Невольное движение — взять книгу обратно. Все кончено... Я никогда не буду прощена!..

Но что я могу сделать? Наши беседы были так искренни и правдивы, так отвергали уклончивость. Что делать, если эта вещь мне понравилась куда меньше, чем «Спутники» и «Сергея»? На мой взгляд, хороша здесь только Зоя большая... И я произношу это вслух:

— Мне понравилась только Зоя большая...

И — о чудо! — я вижу, как смягчаются и теплеют глаза, лицо озаряет улыбка.

— Так ведь это самое главное, — говорит Вера Федоровна. — Самое главное!

Я прощена.

Недавно я перечитала «Сентиментальный роман». Эта вещь была Пановой особенно дорога. В ней южное солнце, молодость, щемящее чувство утраты, — точно переданное в пейзаже. Многие я оценила только сейчас. Но, как и прежде, могла бы сказать, что по-настоящему удалась в ней Зоя большая. Не Зоя маленькая, воинствующая и аскетичная, кричавшая, сжав кулачки: «Недопустимо! Недопустимо!» (это в споре о том, может ли комсомолец хорошо одеваться), а Зоя большая, которая спрашивала: «Значит... и шелковые чулки нельзя носить? И лакированные туфли нельзя?.. И замшевые перчатки?.. И белье с кружевами?»

«Все посмотрели на нее. Она шла в своих парусиновых туфлях, в стираном-перестираном платье. У нее не было ни шелковых чулок, ни замшевых перчаток, ничего, кроме старого платья и грубых туфель».

И еще в ней была женственность, которую Вера Панова с такой любовью и пониманием описала. Вот почему я была прощена, похвалив Зою большую...

Но вполне ли я была прощена?..

Спустя несколько лет, весной, я приехала в Ленинград. Узнав, что я туда еду, наша общая с Верой Пановой знакомая дала мне небольшое поручение к ней. Я обрадовалась, так как с помощью этого поручения надеялась повидать Веру Федоровну. Я позвонила ей по телефону. Мы хорошо поговорили. Вера Федоровна расспрашивала меня, как я живу, над чем работаю. Однако то, что мне было поручено ей передать, просила отправить бандеролью по почте — завтра она уезжает в Москву.

— Да, я уезжала на секретариат, — сказала она потом нашей общей знакомой. — Но дело было не только в этом. Я просто не могу пускать себе в душу новых людей!.. Новые дружбы, даже самые прекрасные, требуют новых душевных сил, а у меня их нет. А те, что остались, уже распределены...

— А К.? — спросила наша знакомая, назвав известного литератора. — Его ты в душу пустила?..

— Да. Но это был последний...

Узнав об этих словах, я тогда, будучи много моложе,

отнеслась к ним с пониманием. Но только теперь я оценила их по достоинству. Теперь, когда силы души «уже распределены» и новые дружбы возникают трудно и редко.

Кстати, как мне довелось слышать, и та, последняя, новая для Веры Пановой дружба не состоялась...

Иногда я ей посылала свои книги. Она отвечала незадолго.

«Дорогая Инна Анатольевна!

Большое спасибо за память и внимание. С интересом готовлюсь прочитать Вашу новую книгу — и с удовольствием отмечаю Вашу плодотворную работоспособность. Будучи сама прилежным работником, очень люблю в других это свойство.

Крепко жму руку. Будьте здоровы и счастливы!

Ваша В. П а н о в а».

Обратите внимание — «...готовлюсь прочитать». Очень удобная форма на тот случай, если книга не понравится...

Она была образцовым корреспондентом и всегда отзывалась, будь то новогоднее поздравление или книга. Иногда в обмен на свою я получала книжку от нее. В нашей переписке случались большие перерывы, во время которых мы виделись изредка, мимоходом в кулуарах какого-нибудь совещания или пленума.

В мае шестьдесят седьмого года мы встретились в Кремлевском дворце. Царило оживление, мелькали знакомые лица, весело сиял зеркальный паркет, и было то чувство приподнятости, которое всегда испытываешь, находясь в этих древних стенах, где одни только названия Георгиевский зал, Святые сени, Грановитая палата, Терема — звучат как эхо отдаленного колокола, имя которому История.

Панова достала из небольшой, но вместительной сумки книжку. Мы отошли в сторону, и она сделала надпись: «Дорогой Инне Анатольевне с доброй дружбой. Автор. Май 67».

Книжка, которую мне подарила Вера Федоровна, называлась «Лики на заре», она имела подзаголовок «Исторические повести».

Голубой май стоял за окнами...

Она болела долго и тяжело. Болезнь приковала ее к дому, лишила возможности читать самостоятельно. И все же она продолжала работать. Это стоило героических усилий,

но для нее, «прилежного работника», бездействие было невыносимо.

В семьдесят первом году, осенью, я послала Вере Федоровне свою новую книгу — сборник рассказов «Поющие за столом». Я послала ее просто в знак внимания, не надеясь на ответ. Но ответ пришел. Он был написан от руки знакомым крупным почерком самой Веры Федоровны.

«Милая Инна Анатольевна! Душевно благодарю Вас за дорогой подарок — Вашу книгу рассказов. Прочла ее — точнее — мне вслух прочли, т. к. сама я не читаю (слабое зрение), единым духом...»

Письмо на шести страницах. Разобрав рассказы, которые ей понравились, Вера Федоровна пишет:

«Два рассказа произвели на меня впечатление обратное тому, которое замышлялось автором. 1) «Курон» — ну, эта неудача закономерна: еще никому не удавалось написать, как человек из сорняка превращается в полезное растение. По более личным причинам не понравился мне рассказ о поэте — дорогая! Ведь стихи-то его барахлы, как Вы их ни защищайте, и вообще зря Вы тратите Ваше добросердечие на эту ненужную бездарь. Не могу я одновременно восхищаться им и, скажем, Пушкиным, на котором воспитана...»

Не сердитесь на меня, я уверена, что Вы со мной согласитесь если не сейчас, то впоследствии...»

С оценкой первого рассказа я была согласна. Он был написан очень давно, и, наверное, не стоило вставлять его в новый сборник. Что же касается рассказа «Жил в России поэт» — а речь шла о нем, — то тут я никак не могла, да и теперь не могу согласиться с Верой Пановой. Не могу сказать, что ее отзыв меня удивил, — почему-то этот рассказ вызывал самые противоречивые отклики у людей опытных, уважаемых мною.

Помнится, горячо поблагодарив Веру Федоровну за письмо, я защитила своего старика поэта, — мне хотелось сохранить тот дух откровенности, который установился между нами тогда, в Комарове, и которым я дорожила.

В августе семьдесят второго года я получила от Веры Федоровны последнее письмо. Оно же — первое, посланное не в ответ на мое, а по собственному порыву. Спустившись к почтовому ящику, я нашла в нем увесистый конверт со штемпелем «Заказное». Почему-то почтальон опустил его в ящик, возможно, поленился подняться. Это было письмо от Веры Пановой — отзыв на мой рассказ «Юноша с пер-

чаткой», напечатанный в журнале «Юность». Я не посыла- ла Вере Федоровне этот рассказ. Она прочла его и захоте- ла мне написать. Письмо от руки на пятнадцать страни- цах. Только почерк, косые неровные строчки выдают то физическое усилие, с которым писалось письмо. Возможно, это заняло целый день...

«Милая Инна Анатольевна! Должна поблагодарить Вас за радость, которую испытала, читая...»

Говорить ли о том, какую радость испытала я, читая это письмо! После этого письма льщу себя надеждой, что все же заняла какое-то место в ее душе, где все уже было «распределено»...

«Великая вещь — слово одобрения! Грудная клетка у человека становится шире от слова одобрения, поступь легче, руки наливаются силой и сердце — отвагой.

Благословен будь тот, кто сказал нам слово одобре- ния!»

Так писала Вера Панова в одной из своих книг, и как не привести здесь эти строки.

ПЕСНИ ДЛЯ БЕРНЕСА

Я познакомилась с Марком Бернесом в том же году, что и мой муж, Константин Ваншенкин.

Будучи прозаиком, я сама уже редко вспоминала о том, что начинала со стихов. Редко вспоминали об этом и старые мои друзья, а новые порой не знали вовсе. Мне и в голову не приходило, что когда-нибудь Марк Бернес будет исполнять песни на мои слова. Эта мысль не возник- ла и тогда, когда появилась моя первая песня «Август».

Не помню, чтобы Бернес высказывал свое отношение к этой песне. Возможно, услышав ее впервые, так сказать, в домашнем исполнении у Яна Френкеля, он тут же решил, что это песня не е г о, и как бы отодвинул от себя. Между тем он часто поговаривал, что ему нужна новая песня. И хорошо бы о любви.

Эти разговоры не носили конкретного характера, Бернес всегда говорил о песне, и новая песня всегда была ему нужна...

Но как-то Марк Бернес позвонил и попросил, чтобы я послушала мелодию молодого рижского композитора. Самому Бернесу музыка нравится, и он просит написать слова. Ему кажется, что из этого может что-то получиться...

Просьба Бернеса была для меня неожиданна и приятна. В душе я понимала, что для него это обращение ко мне пока лишь эксперимент в поисках новых песен. Если слова ему не подойдут, он тут же от них откажется и несколько не будет стеснен своей просьбой. Так поступал он всякий раз с композиторами и поэтами, когда музыка или слова его не устраивали.

Он хорошо знал, что ему нужно. Он не мог сам напи- сать музыку или сочинить стихи, но, когда это было напи- сано, происходило как бы мгновенное узнавание своего и отторжение чужого. Зато как он радовался каждой удаче!

Бернес меня не торопил. Прошло некоторое время, прежде чем я позвонила ему. В эту свою песню, как и в первую, я вложила то, что было в душе и хотелось выска- зать. Но, отбирая слова, я все время помнила, что звучать они будут в устах Бернеса.

Конечно, я волновалась. Хотелось оправдать доверие.

Опять расстанусь я с тобой,
С любовью моей и судьбою.
Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь.—
И я улыбаюсь тебе...

Он выслушал меня внимательно, иногда переспраши- вая, и попросил как можно скорей доставить ему стихи. Мне показалось, что он доволен.

А спустя несколько дней он позвонил мне и сказал:
— К этим словам нужна совсем другая музыка...

И после паузы, в течение которой я успела пережить свое поражение, добавил:

— Я отдал их Колмановскому.

Таким образом, на мои стихи написал музыку Э. Кол- мановский, а молодой рижский композитор остался в стороне...

Так появилась песня «Я улыбаюсь тебе». Историю ее создания я описала столь подробно потому, что она очень характерна для Бернеса.

Писать для него было лестно и в то же время трудно, не говоря уже о некотором риске,— в положении рижского композитора мог оказаться — и порой оказывался — лю- бой из нас.

Теперь я думаю, что именно благодаря этой жесткости Марк Бернес и был Марком Бернесом.

Песню «Я улыбаюсь тебе» он пел несколько лет, считал ее удачной. Со временем песню стали исполнять и другие певцы. Но долгое время Бернес сохранял на нее «монополию». Для него это было важно, он всегда очень ревниво относился к своему репертуару. Он не мог примириться с тем, что е го песню, которую он создавал вместе с композитором и поэтом для себя, буквально выхватывали другие певцы. Часто те, для которых было все равно что петь. У таких певцов своего репертуара нет, да и не может быть, потому что нет своего лица.

Бернес же при всем разнообразии тематики был ограничен в репертуаре. Это был певец со своим лицом, своей манерой. Облик человека, от имени которого пел Бернес, уже сложился в восприятии зрителя и слушателя, и этому облику Бернес никогда не изменял.

Каков же был его лирический герой?.. Мужественный, ироничный, грубоватый, нежный... И прежде всего — откровенный! Думаю, что именно это качество привлекало в нем больше всего.

Бывает, что мысли — как тучи.

Бывает, что ревность нас мучит.

Но должен один из двоих улыбнуться —

И я улыбаюсь тебе...

В жизни Бернес во многом сливался, совпадал со своим героем. Ему самому знакома была «бескорыстная дружба мужская» и то, «как порой нелегко быть людьми».

Поэтому, когда он пел, ему верили.

Он был страстный отец — очень любил свою Наташу. Его любовь обострялась оттого, что его жена умерла, оставив Наташу совсем маленькой. Он долго не женился и, женившись вновь, приобрел вместе с женой и сына — Жана. Он вообще любил детей. И дети его друзей — были его друзья. Наша дочь тоже — она чуть постарше его Наташи.

Как-то Бернес повел их на елку в Кремль, кроме своих взял и нашу Гаю. Те были, кажется, в первом классе, наша — в третьем.

Родителей не пускали, они приходили потом забирать детей. Бернеса как известного артиста пропускали везде, хоть он на елке, разумеется, не выступал. Оглянувшись у вешалки, он увидел, что детей с ним уже не трое, а четверо, — Галя держит за руку какого-то малыша, явно не «елочного» возраста.

— Где ты его взяла? — вскричал он с комическим ужасом. — Сейчас же отдай обратно!

Галя сказала, что мать малыша просила за ним посмотреть и обещала за это мороженое.

Оставалось только одно — перепоручить его другой школьнице вместе с обещанным мороженым. Галя так и сделала.

Бернес был дружен с ней и когда она стала старше. Ему нравилось, как она рисует, он называл ее в шутку «Шишкина» и спрашивал, когда же она подарит ему что-нибудь свое. Она подарила ему две акварели. Он их тут же окантовал и повесил в своем кабинете. Особенно ему нравилась та, на которой городская церковь, вроде Николы в Хамовниках, — и девушка переходит улицу...

Нет Марка Бернеса, а эти работы в его кабинете так и висят.

Прошло некоторое время, может быть года два, и Бернес опять заговорил о песне.

В отличие от первого раза он уже прямо обратился ко мне с просьбой подумать об этом. Он хотел, чтобы я написала о любви, и хорошо бы — с какими-то размышлениями...

И опять он меня не торопил, но напоминал при случае каждый раз — и в телефонном разговоре, который велся совсем по другому поводу, и где-нибудь в компании, за дружеским ужином, вдруг спрашивал:

— Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили? Ты что-нибудь делаешь?.. (Он говорил мне «ты», а я ему, по старшинству, — «вы».) Бернес любил встречи в тесном кругу, и хотя не избегал, но всегда тяготился шумным, многолюдным застольем. Он плохо выносил духоту. К тому же ведь там не поговоришь...

Телефонный звонок:

— Ты что сейчас делаешь? Я хочу, чтобы ты послушала...

Небольшая пауза, и после первых музыкальных тактов голос Бернеса:

— Тебе слышно?

Так было несколько раз. На магнитофоне у него почти всегда стояла какая-нибудь новая лента с музыкальной записью, которой он в данный момент восхищался. Одно время это были французы — Азнавур, Брель, Беко...

Заставляя меня слушать песню, которая нравилась ему, он как бы направлял мои поиски в нужное русло.

— Ну как? — спрашивал он торжествующе, когда музыка в трубке умолкала. — Вот бы что-нибудь в этом духе...

У меня не было готовых стихов. По-прежнему моим главным занятием была проза. Прошло не меньше полугодя, пока я показала Бернесу слова новой песни...

Когда-то в Музее Родена в Париже на меня произвела сильное впечатление одна из работ. Она называлась «Любовь уходит». Мне запомнилась поза отчаяния. Это отчаяние человека, от которого уходит не любимая женщина, а любовь. Человека, который разлюбил...

Думая о новой песне, я вспомнила об этом. Как всегда, конечно, добавилось свое, пережитое. Все это слилось в формуле:

Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,
Куда страшней, когда разлюбишь ты...

Впоследствии песня и была названа — «Когда разлюбишь ты».

Так небо высоко и так безбрежно,
И речка так светла и холодна,
И женщина смеется безмятежно,
И вслед кому-то смотрит из окна.

Пока ты любишь — это все с тобой,
И первый снег, и первая звезда,
И, вдаль идя дорогой полевой,
Ты одинок не будешь никогда...

С Бернесом мы договорились, что я отдам слова Колмановскому. Когда музыка была написана, получилось так, что Бернес услышал ее раньше меня.

Он сказал, что музыка хорошая. Но сказал это как-то слишком спокойно. Зато дня через два он позвонил от Колмановского и сказал радостно:

— Потрясающая мелодия! То, что нужно!

Как будто речь шла совсем о другой музыке. Так оно и оказалось. Обсуждая новую песню, они о чем-то заспорили, и тогда Колмановский вдруг сказал:

— А можно петь на такой мотив.

Это была музыка из фильма «Весна на Одере», над которой он в то время работал, — там она звучит без слов.

В этих коротких заметках я хочу показать, как работал Бернес с авторами. Именно эта работа отличала его от других певцов, почти механических исполнителей той или иной песни.

Страстное, горячее желание получить новую песню — и не любую, а определенную и не любого, а этого автора — вызывало ответное чувство, которое трудно назвать иначе, чем чувство долга.

Возможно, что и без участия Бернеса эти песни и многие другие были бы написаны. Написаны когда-нибудь. Но «когда-нибудь» очень часто означает — никогда.

Наше знакомство с годами перешло в дружбу, ненапрянутую и естественную, поскольку в ней допускались критика, юмор и отсутствовала часто встречающаяся в артистической среде лесть.

А главное — возникла эта дружба на деловой основе. Полагаю, что деловая основа в отношениях с людьми всегда играла для Марка Бернеса немалую роль. Не потому, что он был человеком рациональным. Просто он больше всего любил свое дело и все, что как-то было с этим связано.

НЕКОТОРЫЙ ОПЫТ

Иногда достаточно предвечернего летнего освещения, чтобы увидеть знакомую улицу по-другому, — она пролегает уже как бы по странице будущей книги и продолжается в ней. В такие минуты ощущаешь жизнь — остраненно. Они мне особенно дороги.

Освещение... Не только в живописи оно решает все. Запомнилось, как однажды, после дождливого дня, к вечеру вдруг распогодилось. Будто зарево пожара легло на верхние этажи домов, на проемы между домами, на лица людей. Тучи стали серо-лилово-оранжевы, и там, где кончались тучи, в чистом небе, словно в голубой воде, на западе выплыло солнце.

Оно явилось перед самым закатом, как бы нарочно для того, чтобы оранжево осветить этот город и липы, что гремят на ветру ржавыми осенними листьями. Все вмиг изменилось и стало похоже на какой-то невиданный, гениальным режиссером поставленный спектакль, в котором чувствуешь себя героем, действующим лицом.

Идешь под гремящими липами, оранжево озаренный закатным солнцем, каждым шагом своим твоя и развися сюжет...

Но что же такое опыт?..

Я пришла в Литературный институт со школьной скамьи, но некоторый жизненный опыт у меня уже был. Он был даже воспет в стихотворении, посвященном мне в годы студенчества.

...А ей легли уже на плечи
Войной рожденные привычки:

Не есть ржаного хлеба вдосталь,
Не спать ночей по трое суток,
А если спать — на голых досках,
А если спать — на пять минуток...

Были эвакуация, Сибирь, работа в госпитале и на заводе. Была жизнь под чужим кровом, голод первой военной зимы. Подлинность переживаний — вот чему всех научила война.

Конечно, вовсе неплохо, если человек переменял несколько профессий или просто изучил какое-то ремесло до того, как начал писать. Но расчетливый, меркантильный, что ли, способ изучения жизни не обогатит опыта души, необходимого для твоих будущих книг. Согласитесь, что есть разница между рабочим, роющим котлован, и писателем, роющим тот же котлован с целью познания жизни.

Благо, если рабочий сам в дальнейшем станет писателем и опишет стройку!..

Мне приходилось спускаться в шахту, принимать участие в перегоне речных судов северным путем из Ленинграда в порт Сокол, близ Вологды. Шли ранней весной, во льдах. Хрупкостенные речные теплоходы резали метровый онежский лед — ледокол запаздывал. В Белом море на льдинах лежали тюлени...

В очерке, помещенном в «Комсомольской правде» спустя несколько лет, такой перегон речных судов был назван героическим, после чего я даже несколько возгордилась.

Мне довелось быть на Кубани в пору сева кукурузы, в знаменитом колхозе «Кубань». В пустой, прохладной комнате у механизаторов, под потолком, сутились ласточки, на стенах висели гитары, модные узконосые ботинки торчали из-под коек — все были в поле. У двери висел список

фамилий: Рикардо Родриго Перес, Херардо Санчес, Хосе Басульто... Как странно звучали они среди кубанских полей! Потом выяснилось: это кубинцы, практиканты школы механизаторов.

Каждая из этих поездок была вызвана необходимостью пополнить сведения о героях будущих книг. Роман «Телефон звонит по ночам», повести «Северный сон» и «Не верь зеркалам» не могли быть написаны, не будь этих поездок.

Но не с них начиналось — с людей, уже знакомых, о которых я собиралась писать. Был интерес к определенному человеку, а отсюда уже к его профессии.

И все же главный опыт в нашем деле это прежде всего то, что мы, люди пишущие, пережили сами. Это работа, которая происходит в душе в дни, когда ничего не пишешь. (Я не имею в виду дни, когда не пишется. Это совсем другое.) Для меня паузы в работе, иногда весьма длительные, необходимы. «Работаешь больше всего тогда, когда ничего не пишешь»...

На первых порах мне нравилось придумывать. Нравилось, что получается «как в жизни». Видимо, это и есть отличительная черта чистой беллетристики — все как в жизни и в то же время не вполне жизнь. Герои моих первых книг были, как говорится, собирательными. Я поселяла их в знакомой мне обстановке, они жили и действовали так, как могли бы действовать некие люди, будь они мне знакомы. Прототипов они, как правило, не имели.

Но обобщенный образ, если он получился живым, непременно похож на кого-то или кого-то напоминает, пусть даже отдаленно. Меня иногда спрашивали, имею ли я в виду того или иного из общих знакомых.

Хуже пришлось мне позднее, когда, отойдя от «чистой беллетристики», я научилась находить характеры и сюжеты в самой жизни. И тут для меня возникла проблема прототипа. Стоит взять пласт чуть поглубже — и выведенный в рассказе или повести человек узнает себя и обижается. Пусть даже он изображен в книге самым положительным образом — это не спасает.

Между тем описывая реального человека в реальной ситуации, всегда стараешься обезопасить его, а заодно и себя от нареканий.

Кажется, все предусмотрел — изменил имена, фамилии, город, если это возможно — профессию героя, его возраст, кличку его собаки (или кошки!), время

года... И все же он узнает себя и добавляет, что «все узнали!»...

Что поделаешь! Остается характер, две-три черты, присущие этому лицу, его любимая поговорка...

(Кстати, поговорка — штука выразительная, прилипчивая. Помню, возле отделения милиции висел стенд с фотографиями разыскиваемых преступников и скупые сведения о каждом. Там, среди прочего, была приведена прическа «елочки пушистые», которую преступник часто употреблял в разговоре. И вот — лица его я не помню, а это запомнилось.)

Человек обижается. Попасть в литературу для многих все равно что «попасть в историю». Домысел, без которого всякое произведение превратилось бы в фотографию, он отвергает как клевету. Поскольку он убежден, что выведен именно он. И его близкие и друзья тоже в этом убеждены, тем более если им известно, что человек, похожий на героя рассказа, хорошо знаком с автором или, не дай бог, учился с ним вместе в школе. Или они из одной деревни...

Тут уж впору автору брать псевдоним, чтобы спрятаться от прототипа!..

Человек обижается. Не помогают ссылки на известные литературные примеры. На размолвку Левитана с Чеховым. На то, как американский писатель Томас Вулф — автор романа «Взгляни на дом свой, ангел» — после выхода его в свет был приговорен земляками заочно к суду Линча и семь лет не приезжал в родной город. Томас Вулф был удручен: он вовсе не стремился создать памфлет.

«Мне, связанному с людьми, которые изображены в этой книге, страстными эмоциональными узами, всегда казалось, что это самые замечательные люди из всех, кого я знал...» — так писал Томас Вулф в «Заметках для рецензента издательства».

В жизни характеры более размыты. Художник их заостряет. К тому же происходит несоответствие собственного восприятия с тем, как тебя воспринимают другие. Это похоже на то, как нам кажется чужим собственный голос, когда мы его слышим в записи.

Виктор Борисович Шкловский, прочитав подряд несколько моих повестей, сказал: «В каждой из них, в конце, кто-нибудь уезжает — в поезде или на самолете».

Ему сразу бросилось в глаза то, чего сама я не замечала. Недостатки видней со стороны. Но о некоторых знаешь сам. Так, я знала, что у меня больше развита зрительная память, чем слуховая. Процесс созерцания иногда настолько занимает меня, что я как бы перестаю слышать. Знакомая, часто не запоминаю произнесенное вслух имя, — все поглощает зрение. Приходится потом переспрашивать...

Я старалась развить слух. Работая, заостряла на этом свое внимание. Нельзя создать живой образ, не показав, как к вам герой говорит, не передав манеру речи, а лишь ее содержание. Стертость диалога, отсутствие речевой характеристики я отношу к главным недостаткам, существующим в прозе.

Язык героя в литературе — это уже его образ. И характер. И Время. Попробуйте отнять у персонажей Шукшина их удивительные по точности языка характеристики. Поистине все эти образы с ы г р а н ы Шукшиным в литературе.

К первым своим «языковым» достижениям я отношу повесть «Не верь зеркалам», почти целиком построенную на монологе своеобразной женщины.

Ее речь, смесь русского языка с белорусским, — передана так достоверно, что недавно меня спросили: не на магнитофон ли это было записано?..

Вопрос этот не мог возникнуть в те годы, когда моя повесть вышла в свет. Теперь он меня даже не удивил, а лишь слегка задел самолюбие: разговаривая с Анной Межонок — так зовут эту женщину в повести, — я даже не решалась при ней вынуть блокнот, чтобы не нарушить естественности ее рассказа. Моя напряженная внимательность была вознаграждена тем, что я сама уже могла потом продолжить ее монолог, нигде не сбиваясь с верного тона. Не уверена, что это случилось бы, доверься я магнитофону...

Вопрос «Не запись ли это?» меня не удивил, потому что в последнее время эта форма радиорепортажа стала проникать в журналистику: на страницах газет появились развернутые, записанные на пленку очерки-монологи. Литература, которая исчисляется уже не количеством страниц, а метрами истраченной пленки. Литература на метры. Не хочу попасть в архаики, но думаю, что писатель, идущий к своему будущему герою с магнитофоном, — это все-таки нечто безнравственное.

...Прежде моим излюбленным жанром была повесть. Но лет пятнадцать уже как я стала писать рассказы, а если повести, то короткие.

Рассказ подвижней, разнообразней, чем вещи большого объема. У одного и того же автора, благодаря свободной манере повествования, он может принимать вид, близкий биографическим запискам, и быть сжатым до новеллы с четкой сюжетной канвой.

У меня появилась даже внутренняя настроенность на рассказ, как в лесу настроенность на какой-то определенный вид грибов. Например, находишь только подосиновики, а подберезовики пропускаешь. Там, должно быть, настроенность на цвет искомого. А тут — на объем истории, на форму ее изложения.

Что-то мне в последнее время все попадают рассказы!..

ХВАЛА ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ

Не будучи педантичной, я давно не веду дневников. Да и, по чести сказать, не понимаю, для кого они пишутся. Редкий человек может отвлечься от мысли, что дневник его обязательно будет кем-то прочитан. Пусть не теперь — потом. И значит, невольно имеет на примете этого будущего читателя. Но даже если отвлечься от этой мысли, писать для себя самого, не лицемеря и не фальшивя, как того требует этот исповедальный жанр, — неловко бывает перечитывать написанное когда-то. Меняются оценки людей и событий, удивляет бывшая восторженность, слепота незнания. Мы меняемся, и меняется все вокруг. Происходит несовпадение во времени и пространстве. О, как мы теперь крепки своим поздним умом, как зрячи! Мы стесняемся кумиров своей юности, мы готовы вырвать иные страницы, другие переписать...

Нет, дневник — искусство, доступное избранным. Я давно предпочла записную книжку. Вношу в нее записи от случая к случаю, больше в период так называемого отдыха. В дни работы над определенной вещью существует просто вспомогательный рабочий блокнот. У меня их скопилось много, таких блокнотов. Не дорожа черновиками, я дорожу ими. Когда-то один знакомый художник сознался мне, что неохотно расстаётся со своими этюдами, сделанными с натуры, потому что в этих картонках, а не в картинах, созданных с их помощью, сохраняется живое ощущение

рабочего момента. То же чувство и у меня к рабочему блокноту.

Иное дело записная книжка. В ней соседствует название будущего рассказа, впечатление о прочитанном, пейзаж, воспоминание, нечаянно всплывшее в памяти, фраза, показавшаяся остроумной. Для меня очень важно в момент усталости перелистать такую книжку — они у меня всегда под рукой. Для меня это не «камешки на ладони», — иная запись действует, как электрический разряд при включении вилки в розетку. Прочтешь — и возникает то особое приподнятое состояние, которое можно назвать вдохновением, но лучше назвать — рабочим...

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Сизый голубь сидел рядом с клеткой, выставленной за окно, на уровне третьего этажа, и как замороженный смотрел на порхающих в ней голубых попугайчиков.

Голубь окаменел. Поразили его эти птицы или он соображал, как отнять у них корм? Хочется думать, что все же именно птицы, их вид и цвет, поразили его и привели в неподвижное состояние.

Галина Семеновна — алтайская украинка, бодрая, работающая, большая искусница печь и варить. Лет двадцать уже балует нас то пельменями, то блинами.

В апреле ей будет восемьдесят, но кто бы сказал? Она небольшого роста, плотная. Работает зимой у плиты в летних платьях, с открытыми руками, — кожа гладкая, молодая, смуглая. Очень обязательна, точна. Любит делать подарки. Любит опрокинуть в обед рюмку настойки на калгане, который привозит ей родня из-под Малоярославца, — там в лесу растет этот корень. Заваривает т р а в к у — каждый год ездит к родне на Алтай и оттуда привозит: смесь мяты, чебреца и земляничного листа, и меня ею наделяет. У нее много родни, но своих детей нет. Муж Галины Семеновны, старый железнодорожник, умер в один год с моим отцом. Ее основная сознательная жизнь прошла в Москве, в старом доме у Красных ворот, но речь пересыпана украинскими поговорками, и самая интонация, говор — украинские.

Рассказывает, как молодая шла полем по ягоды, а тут гроза, деться некуда. Надела ведро на голову.

— От дурная! Оно железное, а я накрылась! Ну, думаю, тут тоби й жаба цицку дасть!..

(Пояснила: убьет, значит. Прямо что-то босховское — эта жаба, кормящая грудью покойника!..)

— От девичья память! Где пообедала, туда и ужинать иду!..

— Чи у вас там каша закопана? — (Вопрос, обращенный к тому, кто любит ездить все в то же место.)

Сели вместе обедать. Я свою рюмку не допила.

— Тю, чи вы половинкина дочка?..

В «Анне Карениной» читаем: «...первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, боже мой! отчего у него стали такие уши?» — подумала она...»

Эти «уши Каренина», подпиравшие края шляпы, буквально стали хрестоматийными, — познав любовь, Анна по-новому воспринимает все, что было в ее прежней жизни.

Занимаясь какой-то домашней работой, я включила радио, — там читали главы «Анны Карениной». Встреча Анны с сыном. Не та, всем памятная, рвущая душу, когда Анна тайком проникает в свой бывший дом в день рождения Сережи.

Слушая радио, я удивлялась тому, что так мало внимания обращала раньше на эту встречу Анны с сыном. А ведь именно в ней Толстой предопределил трагический исход книги. Анна должна погибнуть, потому что самые крепкие цепи — любовь к сыну — не выдерживают под натиском нового чувства.

«Первое лицо, встретившее Анну дома, был сын...

И сын, так же, как и муж, произвел в Анне чувство, похожее на разочарованье. Она вообразила его лучше, чем он был в действительности (курсив мой. — И. Г.).

Безжалостная пронизательность гения.

Человек внутри себя носит приемлемую для него форму существования. Муж актрисы, с которой я хорошо знакома, проводив ночевашшую у него женщину, счел нужным пояснить тем, кто это видел:

— Я изменяю своей жене, только когда она на гастролях...

Очень удобный вид морали. Маленькая, складная — портативная мораль.

...Когда господь бог решил сотворить картину райской жизни, он выдавил из тюбика Змея, — так появилось первое земное творение.

«Сказку о царе Салтане» Пушкин написал вскоре после женитьбы. «Кабы я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки царя родила богатыря»... Прочла опубликованные письма сестер Гончаровых — «сестриц»... Мог ли о них не думать Пушкин, получивший вместе с Наташей в «приданое» еще Екатерину и Александру — двух невест, мечтающих в Полотняном Заводе о петербургских балах и гостиных, о нарядах и кавалерах. В их письмах — шалость, наивность, жалобность — просьбы, просьбы... Все похоже на сказку. Среди них Натали — Таша — избранница, счастливица, называемая ими в письмах иронично «Г-жа Пушкина»...

В детстве, играя с мальчишками во дворе, он сразу выкрикивал «Чур, второй!» — боясь, что не успеет крикнуть — «Чур, первый!». И всю свою жизнь он был вторым — заместителем, помощником. И у своей жены — вторым мужем.

Одаренному коню в зубы не смотрят...

Надпись на телефонах-автоматах: «опустите одну монету двухкопеечного достоинства или две достоинством в одну копейку»... Слово — достоинство! — слишком связано с иными не копеечными понятиями.

Прием в Союз художников. (Нас пригласила К. Н.) Для обсуждения картины развешиваются на стенах выставочного зала на улице Вавилова. Так называемая развеска. Стены поделены на участки, с фамилией на листке. Сверху, от потолка, свисают, чуть покачиваясь, веревки. Картины разложены пока на полу возле каждого участка, некоторые уже вешают, забравшись на стремянки. Внизу сочувствующие — родственники, устроители. Суэта, волнение. Как будто здесь будут вешать не картины, а самого художника.

Пестро, много безликого, робкого, а то, что не робко — не ново. Тут и собрание пятен, образующих нечто, и подробный пейзаж, и вялость, выдающая себя за стиль. И ни одной фамилии, на приколотом листке, которую бы хотелось запомнить.

Перед вечером к Дому творчества в Переделкине подкатила черная «Волга». Появился Евтушенко — он был за рулем, — вслед за ним вышли четверо: смуглый, крепкого сложения мужчина в сером костюме, ростом чуть выше среднего; миловидная, тоже смуглая, стройная женщина с аккуратной, как у ласточки, гладко причесанной головой, и два рослых малых, похожих на мужчину, — видимо сыновья.

День был пасмурный, и у крыльца, между его белых колонн, было малоллюдно, никто не сидел и в плетеных креслах. Одни работали, другие смотрели футбол по телевизору.

Евтушенко взял мужчину за локоть, представил ему двух поэтов и прозанка, давая им беглые характеристики. Он говорил по-испански, но легко можно было понять в его речи — «партизано», «поэто»...

Следовало взаимное рукопожатие, сдержанный приветливый кивок.

Они подошли ко мне, и Евтушенко представил мне гостя:

— Габриэль Маркес...

— О! — воскликнула я, не удержавшись, и, видимо, вспыхнула от радостной неожиданности, потому что Маркес тоже оживился, что-то быстро проговорил, устремив на меня указательный палец, и поцеловал меня в щеку. И тогда я поцеловала его улыбающуюся жену, — я помнила, что ее зовут Мерседес.

— Что он сказал? — спросила я у Жени.

— Он сказал: «Вот она радуется неподдельно!..»

Они сели в машину и поехали на дачу к Евтушенко.

Откуда берутся воспоминания, давно исчезнувшие?.. О бешеной собаке, которую ловили в круглом кафе городского сада, куда она забежала летним днем?

Еще до войны!..

...Лидия Васильевна Чага. Ее рассказы об Ахматовой, — Анна Андреевна дружна была с мужем Чаги, искусствоведом Николаем Харджиевым. Приезжая в Москву, иногда останавливалась у них. Во время обеда, разговаривая за столом с Харджиевым, переходила на итальянский, не заботясь о том, что хозяйка дома им не владеет.

У Харджиевых была белка, она жила у них восемь с половиной лет, и когда умерла в Загорске, Фальк даже ездил туда их утешать.

Белка была уникальная. Очень любила стихи, но не все — Бальмонта, например. А когда ей читали Хлебникова, — заворачивала уши, голову в вату.

Как-то Чага и Харджиев пришли домой и застали Анну Андреевну за чтением стихов — она читала свои стихи белке. Застигнутая за этим занятием, покраснев, сказала:

— Она так слушает!..

Чага с Харджиевым и Фальком были у Ахматовой в Ленинграде, в «Фонтанном доме», в сорок шестом году. Бедная комната, кровать, стул, сундук. Ахматова в японском халате. Она вынула из сундука и показала им смятые, кое-как хранимые рисунки Модильяни, и среди них тот, где она изображена в позе «Ночи» Микеланджело. (у Н. Харджиева об этом написано). У них осталось впечатление, что Анна Андреевна в ту пору мало ценила эти рисунки. Она была бедна, грустно настроена. Возможно, голодала. На другой день они пришли к ней опять, принесли всякой снеди. Она оживилась, была весела, разговорчива...

Лидия Васильевна Чага — художница, дизайнер. По ее образцам было выполнено много детских игрушек. Человек незаурядный, одаренный, в своей жизни она освоила много профессий. Выступала в цирке, в балете, — «Танцевала у воды», — говорит она. И объясняет:

— В кордебалете это значит танцевать в самом последнем ряду, у задних декораций, на которых изображена вода...

Маленькая, хрупкая, с черными, блестящими глазами. Как мы познакомились? Она прочитала мою книгу «Поющие за столом» и написала мне письмо. Ей захотелось подарить мне щенка — розового спаниеля. Ее собака Ласка только что оценилась.

Несколько дней я ходила счастливая, чувствуя себя обладательницей щенка. То, что это был не просто спани-

ель, а спаниель розовый, придавало моим мечтам розовый оттенок. Потом я ответила, что принять такой подарок не имею возможности...

Вскоре по почте пришел заказной конверт и в нем два цветных карандашных рисунка, каждый наклеен на ватман. На одном — красное яблоко, пузырек с лекарством, пара грецких орехов. Из письма Лидии Васильевны я узнала, что оба рисунка принадлежат ее дяде, художнику Дмитрию Исидоровичу Митрохину, и она, с его позволения, дарит их мне.

После мы познакомились. В тесной квартирке на Беговой — там Чага жила вместе с матерью и Митрохиным — отмечали девяностолетие последнего мирискусника. Он праздновал свой юбилей в окружении людей, ему близких, и своих работ — каждая величиной меньше тетрадного листа, соединенных, сгруппированных, на больших листах ватмана; еще не застекленных, — в Доме художника готовилась его персональная выставка. Всю жизнь, и теперь, в девяносто лет, он работал ежедневно, по три часа в день. Митрохин был сед, худощав. Большие, красивые руки с выразительными длинными пальцами.

В нем была какая-то глубокая деликатность, застенчивость. Он все предлагал нам посмотреть подаренный ему альбом с офортами Рембрандта — этот альбом только что вышел в издательстве «Аврора», — твердя, что это, наверное, для всех интересней.

Лидия Васильевна бережно переворачивала листы ватмана. И нас все больше захватывал мир его чистой, честной, прекрасной старости. Старости человека, но не Художника. Среди рисунков было много цветов — ирисы, розы, гвоздики... Каждый цветок нарисован с любовью, крупно, как бы приближенно глазу. И плоды, будь то персик, или слива, или гроздь лилового винограда, были высвечены его зорким зрением. Поражало последнее десятилетие. Он уже редко покидал свой дом, знакомые предметы обступали его все теснее. И он мастерски рисовал их — сдвинутые стулья, которые словно продолжали еще вести разговор после недавно ушедших отсюда людей.

Вид из окна, и дерево за окном — то спокойное, зимнее, то вдруг нервно изогнутое в порыве ветра, с летящими листьями. Все чаще его моделью становится столик с лекарствами, — на нем склянки, баночки с мазью. Иногда стакан. Он любил рисовать стекло.

Редкостное умение передать чувство грусти, им вла-

девшее. Одиночество, — мы уже знали, что в дни войны, в блокадном Ленинграде, погибла его семья.

Ласка — так вот какие они, розовые спаниели! — крутилась тут же, несколько возбужденная шумом в квартире и присутствием стольких людей. Золотистая, с рыжеватым отливом, с шелковыми, ниспадавшими на плечи кудрями — иначе не скажешь, — она словно сошла с полотна Тициана, напоминая этим ниспадающим шелком его «Плачущую Магдалину». Ласка знала, что она хороша, и часто, по рассказам Чаги, стояла перед большим старинным трюмо в коридоре, собой любуясь...

Курт Воннегут — эксцентрика, находчивость, ассоциативный теннис, отшучивание и высмеивание. Сарказм вместо юмора. Юмор обращен к собеседнику, наделенному чувством юмора. Юмор предполагает человечность, сочувствие.

Я бы сказала: сарказм — это юмор, обращенный к врагу. Это одинокое Я в окружении вражды.

Меня утомляет в литературе находчивость, заменяющая мысль и чувство.

Выступали в Институте управления Академии наук СССР. Нас принимал академик Трапезников, его возглавляющий. Потом показали нам институт. Мы словно попали внутрь фантастического романа. Все здесь напоминает о том, что живем мы в двадцатом, а возможно, уже и в двадцать первом веке.

Видели знаменитую Каиссу — машину-чемпионку по игре в шахматы (среди машин!). Она занимает отдельный зал и состоит из нескольких частей, белизной и отделкой напоминающих холодильные устройства. Ее сделали англичане, но обучали игре наши программисты. Пока что она умеет д у м а т ь на семь ходов вперед и играет, сказали нам, в силу шахматиста второго разряда. Когда она сможет обдумывать одиннадцать ходов вперед — она практически сможет обыграть любого чемпиона.

В одной из комнат жужжала другая машина, обрабатывая информацию по обмену квартир. Я сказала, послушав ее жужжанье, что это, должно быть, «мысли вслух».

Потом в актовом зале поэты читали свои стихи, а

прозаики рассказывали о своих творческих планах. Слушали нас человек сто, не больше, — те, кто еще не отбыли «на картошку».

Приснились стихи, и я успела их записать.

Утонула я уже,
Но, как будто в витраже,
Я в поверхности пруда
Сохранилась навсегда...

Откуда это пришло? Мне и а я в у не очень нравится строчка «утонула я уже», но так приснилось. Это не первый раз, что мне снятся стихи, и я успеваю проснуться, пока их помню. Сейчас я запомнила только это ни с чем не связанное четверостишие. А в тот раз было целое представление. Гулянье на окраине какого-то маленького, предзакатно освещенного городка. Чистые беленые домики. Один из гостей поет под балалайку или гитару... После многих спетых им и другими частушек он вдруг спел такую:

Что тут пели и играли,
Все не стоило того,
Что по пьянке мне сказала
Бабка друга моего!..

Этой — приснившейся мне — частушкой все приснившиеся заинтригованы. Возгласы: «Что же она сказала? Что?..»

Гость, продолжая брэнчать на струнах: «А ваши уши всё терпят?»...

Возгласы: «Всё! Давай!..»

Гость (продолжая брэнчать): «Сейчас что-нибудь подберем...»

Значит, поняла я, частушка про «бабку» просто такой ход, вставной номер, перед какой-то частушкой, которая этим «предисловием» как бы усиливается.

Все это я поняла уже потом, пробудившись от сна, — увы! — раньше, чем он подобрал новую частушку. И сразу все записала. Даже продолжила мысленно этот занятный сон, подбирая — что бы такое спеть сногшибательное. А потом решила: можно спеть и что-то совсем обыкновенное или чуть охальное, лишь бы от первого лица. И вспомнилась любимая Настя Стекловой, — она ее пела на дне рождения сына:

Топаю-потопаю,
Повиляю,
Неужели на калоши
Я не заработаю...

Что-нибудь в этом роде. Тут чем нелепей будет частушка, тем даже смешней, — ведь она преподносится поющим как некий шедевр, перечеркнувший все, спетое прежде, — «что тут пели и играли, все не стоило того...». Да ведь и что тутного могла сказать по пьянке «бабка друга моего»?!

Есть два вида познания нового в литературе — исследование и открытие (находка!).

Встреча с новыми людьми, местностью, нравами — это всегда открытие. Свежесть восприятия в открытии восполняет, извиняет некоторую (неизбежную при взгляде извне) поверхность. Меня больше привлекает исследование. Я люблю писать о людях, которых знаю давно. Приезжать в города, где уже бывала. Многое меняется, и в людях тоже. Процесс движения жизни становится ощутимей. Но все же грустно, когда, приглашая автора в знакомые для него места, говорят: «Приезжайте, вы наш город теперь не узнаете!»... Говорят с гордостью. Не понимая, что приезжают — чтобы узнать!..

Люблю, когда рассказ или повесть начинается с характера. Можно сказать, что рассказ для меня — это проявление характера в определенной ситуации. Это и создает сюжет. Такой вид работы, похожий на решение задачи, для меня самый увлекательный. Конец такого рассказа бывает неожиданным именно потому, что живой характер действует уже самостоятельно и воля автора, вопреки мнению обывателя, тут ограничена.

Мой опыт сейчас уже почти безошибочно подсказывает мне, что «мое», а что «чужое». Мы не вольны в своем выборе. Не только писатель находит сюжет, но и сюжет, тема должны найти своего писателя.

Иногда задолго до того, как написан рассказ, возникает его название. Тогда в записной книжке он значится под своим названием. Оно — как бы идея вещи в ее самом общем виде. Так было с рассказами «Кругосветка», «Истории Насти Стекловой», «Совсем новая жена», «Балкон над Парижем».

Прежде мне нравились названия броские. Рассказ «Соблюдение правил», о том, как, прожив десять лет с другой женой, муж приезжает к первой жене — разводиться, в записной книжке значился как «Развод по-русски». В противовес известному фильму «Развод по-итальянски». Впоследствии это название показалось мне слишком «кассовым», и я заменила его другим, более спокойным, даже скучноватым, понадеявшись на то, что читателя оно не отпугнет.

ПРИРОДА-МАТЬ

Ход времени заметней всего на детях. Нашей Кате четыре года. Мягкие светлые волосы завиваются на концах в колечки. В серых глазах чередуются внимание и озорство. Она выдумщица, фантазерка. Упоенно рифмует, любит сказки.

Однажды, послушав — в который раз — «Сказку о рыбе и рыбке», сказала:

— А почему старик не попросил у рыбки, чтобы старуха стала доброй?

Знает названия деревьев, цветов. До сего лета животных видела лишь на картинках — в натуре только собак да кошек. И когда дед нарисовал слона и нас с ним, сидящих у слона на спине, спросила:

— А где шофер?

Нам только кажется, что детское представление соответствует нашему. Но можно ли вообразить, что такое слон,— по рисунку в книжке или резиновой игрушке?

Вспомнилось, Галя, когда была маленькая, узнав, что на самолете летают, спросила:

— А ножки куда?

Катя городской ребенок. Животных ей долго заменяли машины, которые она наблюдала, выходя на прогулку. Она их рассматривала, спрашивала, где они спят, почему эта машина остановилась, а эта очень шумит, а та — грязная. У нее какая-то была страсть к машинам.

Катя часто объявляла, что она не Катя, а ...машина. И тогда, после еды, слезая со стула: ну, я поехала...

Вечером, засыпая, превращалась из машины в ежа. Говорила:

— Лягу на бочок. Еж на спине не может спать, там у него колючки.

Говорю ей:

— Спи, у тебя уже глазки слипаются.

Катя (сонно):

— И ножки слипаются, и ручки слипаются...

Как-то — ей было тогда года три — я спела ей про осла: «Шел осел мимо сел, мимо рощи зеленой...»

Катя тут же ее выучила, слово «осел» звучало у нее так — асоль. Я подумала: не отсюда ли это нежное, романтическое имя? Не так ли возникло? Ведь там, на юге, ослы не в диковинку, а кто-то мог так произнести на радость Грину... И ведь упрямство, с каким Асоль ждет шхуну с алыми парусами...

Это лето мы провели под Москвой. Кате повезло: она увидела много для себя нового. И настоящий лес с ландышами и земляникой, и узенькую, заболоченную, но все же настоящую речку.

Увидела голубых стрекоз и лягушек. И стадо коров. И привязанную к столбику козу. Увидела живую лошадь, даже со всадником. Эта лошадь светло-шоколадной масти с ржаной гривой жила поблизости, на чьем-то большом участке,— мы думали, что это лесничество.

Сквозь редкий штакетник было видно, как она, нагнув красивую шею, щиплет траву, отгоняя хвостом слепней.

Мы так часто ходили в этот проулок смотреть на нее, что хозяева лошади могли заподозрить нас в возможном конокрадстве.

Дом наш стоял близко к лесу, дубы и сосны почти прижались к балкону. На соснах, рядом, работали дятлы, чуть поодаль белки совершали свои акробатические перелеты.

Катя сказала:

— А если влетит праздничный жук?..

Я поняла, что это о майском жуке.

Спрашиваю утром у Кати:

— Посмотри, какая там погода?

Катя, отдернув занавеску:

— Погода скромная. Небо белое...

Как-то она спросила:

— Мама, кто это все сделал? Ну, деревья, стрекоз, речку?

— Природа-мать,— сказала Галя.

Вскоре услышали от Кати:

Природа-мать живет в ракушке,
А по болоту прыгают лягушки.

Эта всемогущая «природа-мать» долго занимала ее воображение. Среди игр и шалостей она вдруг задумывалась, глядя на высокие золотистые сосны. А засыпая, долго болтала сама с собой, сочиняла.

Ласточки летят над нами
За синие моря.
Зайцы прыгают по суше,
И это все благодаря.
А ты смотри, смотри, смотри,
Всё за всё благодаря.

ПОСАДИТЕ ДЕРЕВО...

Среди его бумаг я нашла грубый серый конверт, а в нем — «Аттестат к пленочному фотоаппарату «ФЭД». Характеристика камеры, характеристика объектива... Для чего отец сохранил это? Он, ценивший самую новую технику, давно пользовался другим аппаратом, куда более совершенным. В аттестате, приданном «ФЭДу», была указана дата выпуска — 2 сентября 1936 года...

Взглянув в левый верхний угол, я все поняла. Там значилось: «Трудовая Коммуна НКВД УССР им. Дзержинского. ФОТОПРОИЗВОДСТВО». Для меня по-новому открылось и привычное слово — «ФЭД», составленное из инициалов того, чье имя было присвоено этой коммуне...

Папины беспризорники!.. Совсем молодым врачом он в двадцать третьем году работал в изоляторе имени Дзержинского в Москве. А спустя два года заведовал медицинской частью детского эвакуационного пункта в Харькове. Я пишу здесь — папины беспризорники, потому что они называли его: «Наш доктор!» Они любили его. И когда на маленьком полустанке врывались в вагон, поселяя панику и сумятицу среди пассажиров, раздавался чей-то звонкий выкрик:

— Доктора не трогать!

Встретив его в Ленинграде, в Летнем саду, к ужасу мирно гуляющей чистой публики, вдруг бросались к нему, повисали на нем:

— Наш доктор! Наш доктор!..

Маленькие оборванцы, сироты, — дети голодных лет и разлуки, их подбирали, брили наголо — часто насильно. Они убежали опять. Воришки, они орудовали стаями. Больше всего было их на вокзалах. Они срывали шапки —

котиковые, каракулевые. Выхватывали из рук кошельки, сумки...

— Я пришел в изолятор около рынка, и меня поразило: более сотни полураздетых мальчиков от десяти до семнадцати лет... В изоляторе мне обрадовались, — им был нужен врач. С помощью персонала я организовал дезокамеру... Металлический барабан с ручками для вращения с двух сторон. Он отапливался дровами. Мы разогревали его до ста градусов и закладывали туда их тряпье. А ребят — в душевую... Я был там один, — других врачей не было. Жил в комнате-амбулатории, там же, где днем — а часто и ночью — вел прием. Проводил работу среди персонала...

В который раз я это слышала от него. Теперь, когда папа болел, я рада была его немного отвлечь. И еще — хотелось все запомнить. Он рассказывал это уже навсегда...

— Как-то среди дня пришел Макаренко, — продолжал папа. — Я впервые тогда увидел его. На вид ему было лет сорок пять. В белом кителе и в сапогах — несмотря на жаркое лето... Он говорил с нами о специфике контакта с беспризорниками. Потом он не раз приходил к нам — отбирал в нашем эвакуационном пункте ребят для трудовой колонии. Тряпье заменили куртками и брюками серого цвета... Они были сыты... и все же многие убежали...

Папа помолчал, глядя в окно, за которым сгустился вечер. Его глаза лихорадочно блестели, — должно быть, опять повышалась температура.

— Обычно они убежали весной, — сказал он. — Их тянула свобода...

Отец проработал в изоляторе-эвакуационном пункте четыре года. Через его руки прошли тысячи беспризорных. Он пользовался их симпатией — умел находить с ними общий язык.

Отец вспоминал, как в дни Первой мировой в общем потоке шагала стройный отряд бывших его подопечных. Шла трудовая колония имени Дзержинского, с красными флагами и барабанной дробью. Впереди Макаренко — в белом кителе и сапогах... Это он, Макаренко, организовал в Померках, под Харьковом, производство знаменитого впоследствии фотоаппарата.

Макаренко знал, чем увлечь способную молодежь. Вырастая, становясь крепко на ноги, обретая уверенность в себе, они хранили память и о том, кого называли:

«Наш доктор!» И однажды, разыскав его, подарили ему свой «ФЭД».

«Их тянула свобода...» Он им сочувствовал. Он и сам любил свободу. Последние десять лет моя мать не отпускала его от себя. Это случилось после того, как отец упал в коридоре, на миг потеряв сознание. Видимо, был небольшой криз. Он никогда больше не повторялся, но отец был лишен права выходить из дому самостоятельно.

— А если б тогда ты упал на улице? — говорила мама. — В чем дело?.. Сейчас я оденусь — и мы выйдем вместе...

Они всюду ходили вместе. В читальный зал Ленинской библиотеки, куда оба были записаны. В булочную. В кино. Мама долго собиралась, — папа ждал ее уже в пальто и шапке, покрикивая:

— Зоя! Я ухожу!..

Она знала, что он не уйдет.

Порывистый, нетерпеливый, он был с ней редко и терпелив.

У любви есть только один синоним — терпение.

А что такое свобода? «Свобода — это осознанная необходимость». Так определил свободу Энгельс. И это был любимый афоризм моей мамы. Я впервые услышала его еще девочкой, страстно чего-то желая, стремясь куда-то. И потом слышала множество раз.

Мама была слабее отца. Он был еще крепким, бодрым. Они шли рядом, и она опиралась на его руку, повисала на ней, — во второй руке у нее была палка.

«Моя старуха», — называл он ее в последние годы. «Мы с моей старухой...» Она не любила готовить. Когда была моложе, готовила моя бабушка. Потом научилась готовить я, — в те годы мы жили все вместе.

Выйдя на пенсию, стал кулинаром папа. Мама в быту человек хаотический. «Устойчивый беспорядок дня», — так это определила наша Галя.

Отец страдал оттого, что мама не завтракает до полудня. Сам он вставал рано, приводил себя в порядок, завтракал, иногда кормил и нас, прочитывал утренние газеты.

— Зоя, что тебе приготовить?..

— Не знаю... Мне пока что не хочется...

— Ну, я прошу тебя!.. Сделать тебе яичницу?..

— Опять яичницу!.. Ну, сделай... Только на одно яйцо. И кофе...

Отец шел в кухню. Вскоре оттуда звучало:

— Зоя, иди!..

Но мама, углубившись в книгу или прибирая в комнате — это была ее обязанность, — не отвечала.

— Зоя, все стынет! Я тебя прошу!..

Молчание.

— Ты идешь или нет?..

— Сколько можно звать? — отзывалась она. — Я должна причесаться, вымыть руки... Что за нетерпение?..

Она садилась за стол, говорила брезгливо:

— Все холодное... И потом, сколько раз я тебе говорила, что люблю к яичнице черный хлеб... Какой ты все-таки невнимательный!..

Наконец еда вновь подогрета, черный хлеб нарезан, в чашке дымится кофе.

— Я же сказала тебе — на одно яйцо, — говорит мама.

— Я все сделал, как ты просила... — (И торопливо убирает четыре скорлупки, что остались возле плиты.) — Ешь, дорогая! Доставь мне радость!..

Он протирает очки, характерным жестом приглаживает свои еще черные волосы с обозначившейся сединой.

— Я могу идти?..

— Принеси, пожалуйста, мои очки... Они в сумке. И книжку... Французскую, в коричневом переплете. Кажется, она лежит на кресле...

— Ты же только что ее читала!..

— То другая... А эту я читаю во время еды...

Папа приносит книжку и хочет уйти. Он не успел дочитать начатую утром статью. И ему тут жарко...

— Я же тебе все подал...

— А если я поперхнусь? — говорит мама. — Мало ли что бывает...

Не помню, чтобы она когда-нибудь поперхнулась. Ей просто приятно, чтобы папа сидел рядом. Мама читает французский роман, не отрывая глаз от страницы, на ощупь берет ломтик хлеба. Отпивает кофе маленькими глотками.

Папа сидит тут же, углубившись в газету.

...Они сидят друг против друга, мои старики.
Сколько еще им осталось сидеть так — друг против друга?..

Черноволосый гимназист и девочка Зоя — его первая любовь.

— У мамы стал очень тяжелый характер, — пожалуется он однажды. И тут же добавит: — Она чистейший, благороднейший человек... Но характер!..

Мама была глубоко равнодушна к нарядам, комфорту, ко всем преходящим ценностям. Ее страстью было делать подарки, читать книги и «приносить себя в жертву»... Она всю жизнь воспитывала отца, борясь с его легкомыслием и неразумными фантазиями. Денег с больных он не брал, называл себя гордо «врач-общественник» — тут несомненно сказало влияние мамы.

В нашей семье сохранился по этому поводу анекдот. Они жили тогда под Москвой при больнице. Папы не было дома, не было его и в туберкулезном отделении, которым он заведовал в ту пору, — после войны он работал уже фтизиатром. Из деревни приехал к больному родич. Не застав врача, отыскал дом, где он живет, взошел на деревянное крыльцо. Дверь открыла мама. Сказав, что отца нет, спросила привычно:

— Что ему передать?

— Сначала повидать, а уж потом передать, — сказал родич, сощурился. Истолковал мамин вопрос по-своему.

Я любила, когда они вспоминали старые романсы, которые папа пел в моем детстве.

Только раз бывают в жизни встречи.
Только раз судьбою рвется нить...

И еще:

Василечки, василечки,
Голубые васильки,
Ах вы, милые цветочки,
Ах вы, цветики мои...

Но почему-то больше всего меня трогало это:

Я был дитя, привстав в кроватке,
Прижавшись к няне в поздний час.
Я слушал, словно в лихорадке,
Про Змей-Горыныча рассказ...

Мне казалось, что папа поет о себе. По его рассказам, в детстве он был трусишкой, боялся темноты и, проснувшись от страшного сна, забирался в кровать к своей маме. И за это его дразнили — подцицник...

Сидя за столом, друг против друга, они вспоминали своих друзей. Их почти не осталось. Время опустошило записную книжку с телефонами и адресами.

У мамы еще оставались подруги детства и несколько сослуживиц. Моего дяди Якова уже не было. Все друзья папы были врачи. Пережил его только друг молодости, хирург. Ему, как и папе, было под восемьдесят. Но отец звал его Женькой.

— Остался фактически только Женька, — говорил папа, и в его голосе слышалось недоумение.

И я вспоминала, как наш ленинградский дед на склоне лет говорил:

— Все умерли!..

Деду было тогда девяносто три.

Болеет папа трудно. Так болеют врачи, лишённые самобмана. Он знал, что умирает. Знал отведенный ему срок и то, что каждый новый день для него еще один шаг к смерти. Коллеги приходили к нему, говорили незначашие слова ободрения, прописывали незначашие лекарства. Отец грустно усмехался, принимая условность этой игры.

— Почему ты не веришь, что твое состояние лучше? — спросила я как-то. — Ведь это хороший врач...

— Она хороший человек, — сказал папа.

— Папочка, расскажи, как ты помог ленинградскому деду выпустить книжку, — просила я, отвлекая его от печальных мыслей.

— Я приехал из Харькова в Ленинград... Незадолго перед войной. Дед ждал нового издания своего учебника, ведь он был крупный отоларинголог... Этим учебником пользовались студенты-медики во всех вузах, он был очень нужен... А переиздание откладывалось из года в год. Дед огорчался. Я узнал фамилию директора медицинского издательства... Оказалось, мой соученик по Одессе. И я взялся деду помочь... Прихожу в издательство, в приемной сидит секретарша. Говорю ей: «Доложите директору, что пришел его старый товарищ...»

Приглашают войти. Вхожу и вижу — не он! Совсем не знакомый мне человек. Однофамилец!.. Но — отступить

поздно. Говорю: «Привет, дорогой!.. Как поживаешь?» Он смотрит на меня во все глаза — не узнает! Но сознаться в этом не хочет,— совестно: «Ничего, говорит, понемножку! Садись, дорогой!..»

Я сажусь. Спрашивает про мои дела. И зачем пожаловал. О себе рассказываю, как есть,— заведую скарлатинозным отделением в Харькове. Женат, дочь школьница... Потом излагаю просьбу: лежит без движения нужная книга... Надо переиздать!.. Он обещает помочь. Под конец все же спрашивает, как меня зовут.

Говорю: Анатолий. Он кивает радостно: дескать, вспомнил. И спрашивает: «Ты сейчас в Харькове? У меня там сестра... Передай ей посылку!» И дает мне сверток. Я, конечно, взял и отвез его сестре... А учебник деда включили в план выпуска. Он вышел в том же году!..

— А ты у нас шалун,— говорю я.

— Был,— уточняет папа. И прикрывает глаза. Он устал.

У папы был свой любимый девиз, где-то им вычитанный, возможно в рыцарском романе: «Если это возможно — это сделано, если невозможно — это будет сделано!»... Свой девиз он всегда оправдывал. И мама верила: для него невозможного нет. Но прежде всего в это верил он сам. Больным становилось легче, когда он брал их руку, определяя пульс. У него самого были красивые руки, всегда сухие, теплые. Казалось, уже от их прикосновения шло исцеление. Внимательный взгляд за стеклами очков, фраза: «Послушайтесь старого доктора!..»

Вера больных в него была велика. Недаром сосед-столяр, не раз обращавшийся к папе за помощью, сказал, умирая от той же болезни, которая погубила отца: «Был бы жив старик, он бы мне умереть не дал!..»

Эти слова я привела в своих записках о Воскресенске, «Знакомые деревья». Все последние годы жизни отца были связаны с этим городом. Здесь он работал, здесь вышел на пенсию. Здесь жил потом подолгу «со своей старухой», ожидая наших приездов, вглядываясь в людей, идущих по тропинке под соснами... Может быть, с электрички?..

С отцом то и дело здоровались. В отличие от доктора, изображенного мной в рассказе «Медпункт на вокзале», папа узнавал почти всех, мог рассказать историю каж-

дого. Не историю его болезни, а историю его жизни...

Меня иногда спрашивают: не своего ли отца я вывела в том рассказе? Прочитавший эти страницы поймет, что характеры двух старых врачей во многом полярны. Но общее у них есть,— это их возраст и преданность своему делу...

Когда я начала писать, мой отец был еще жив. Он еще ходил по дому, пошатываясь,— его силы таяли. Иногда спускался вниз, в садик, и, повернув к нам лицо, зная, что мы глядим сверху, слабо махал нам рукой, и его очки отблескивали на солнце. Я писала и думала об отцах. Об их жизни, о неизбежной скорой разлуке. И мне было невыразимо грустно...

Вскоре я прервала работу.

С каждым днем он таял. Только мама внимала утверждению, что «папе стало лучше»... Моя прозорливая мама словно ослепла и верила лишь в милосердный обман. Мне казалось, что врач ходит уже не ради папы, а ради нее...

Он болел кротко, терпеливо. Любовь — это терпение.

Газет он уже не читал. Радио выключал почти сразу же. Когда кто-нибудь оставался с ним в комнате, говорил: «Иди отдохни...»

Или: «Пойди поешь...» Люди его утомляли своим присутствием.

Но брился он каждую неделю,— приходил парикмахер. В последний раз — за пять дней до его конца. Папа надевал очки, и его похудевшее лицо с большим лбом и грустными глазами было очень благородно.

Был вечер. Он позвал нас. Сказал:

— Посидим...

Как перед дорогой.

Мамы не было в комнате. Мы помогли ему сесть. Он дышал тяжело.

— Вот, умираю,— сказал он. И замолчал. Недоставало дыхания.

— Маме... капли,— сказал он— И ты... прими капли...

Умирая, он думал о нас. О том, как мы перенесем его смерть.

Он опять лег. И негромко, себе самому, сказал:

— Врач...

Он мечтал о сыне, но родилась я.
Мечтал о внуке, но родилась Галя.
И вот теперь появилась на свет наша Катя.
Он нас очень любил и, я знаю, любил бы ее. Иногда мне кажется, — любит... Это не мистика. Разве не окружает нас любовь ушедших?.. Разве не различаем мы их голоса — не во сне, а наяву...

Я смотрю на Катю и слышу голос моего отца: «Ну, что, худышка?..» Вижу осторожные движения, которыми он, врач, привыкший лечить детей, массирует ей животик. Слышу, как он уговаривает ее съесть еще ложку каши... Как в детстве уговаривал меня, а после свою внучку Галю. И огорчается, слыша в ответ Катюно решительное: «Фсё!..»

Любовь ушедших сопровождает нас. Она в тишине ясной ночи, в перестуке дальнего поезда, в распутившейся белой яблоне...

Может быть, то, что мы называем земной атмосферой, что не дает нашей планете сгореть в лучах беспощадного солнца, и есть любовь ушедших, которая нас охраняет...

— Посадите дерево, — говорил папа, болея, — и будете приезжать раз в году...

Дерево мы посадили — клен. Он уже подрос.

Когда мы хоронили отца, был золотой, с дымкой, сентябрьский день, и на Хованском кладбище, еще не ороженном, новом, пахло полем и близким лесом. Снижались самолеты, заходя на посадку во Внуково.

...Но переведем дыхание.

Первые шаги на земле. Первые друзья. Первая любовь. Первые ошибки и первые утраты.

Первая книга...

Пусть и Дерево Памяти отдохнет.

На его ветвях, в тени листьев, останется то, чему еще предстоит созреть.

ПЕРЕПОЛНЕННАЯ ЧАША

*Брат,
Никогда уходи. Ты же ушел —
сам на ней стоишь, ты же стоишь
и в жизни. Но как же вышло
всем по-прежнему, что же вы же
созвучны его душе.*



(Вокруг одного письма)



войной листок почтовой бумаги... В правом верхнем углу дата — 3 апреля 1900 года. Ялта. Воображение поможет вам дорисовать хрупкость и желтизну бумаги, проступившие на страницах коричневатые, как бы кофейные, пятна. Орфографию того времени — «и» десятичное, наподобие украинского, с точкой наверху, букву «ять». И безукоризненный женский почерк.

Так выглядит письмо, найденное мной в небольшой пачке других писем и дневников, принадлежавших совсем иному времени. Хозяйка этого скромного архива скончалась несколько лет тому назад в Харькове, и ее племянница, подруга моих детских лет Наташа Перепелицына, принесла мне эти письма и дневнички со словами: «Посмотри, может быть, найдешь что-нибудь для себя интересное»...

Ей было жаль выбросить ветхие листки — все, что осталось в память о женщине, страдавшей болезнью позвоночника и годами пригвожденной к постели. Я тогда же их просмотрела — маленькие блокноты, испещренные краткими ежедневными записями. В них — военные годы, эвакуация, хлебные карточки, скудный быт, горькие и радостные радиовести, погода за окном, впечатления от прочитанного. Мир человека, обреченного на неподвижность.

«Ветреный день. Р. выменял мое зимнее пальто на мешок картошки. Это большая удача. По радио сонаты Бетховена. Спала плохо, — все болит».

«Мороз и солнце. Читаю Фета. По радио выступление Ильи Эренбурга. Слушала и плакала. Сколько горя принесла людям война!»

«Р. задержался в госпитале, и я волновалась. Сорвалась, потом жалела. Он очень устает, а тут еще я. Больше не буду. На улице настоящая весна. Тополь за моим окном весь блестит. Этот тополь всегда напоминает мне наш родной Харьков. Увижу ли я его когда-нибудь?»

И так — день за днем, из года в год. Записи, сделанные простым карандашом, отнюдь не предназначавшиеся

для посторонних глаз. Не претендующие на чье-то внимание. Сюжет в них не развивался, а если развивался, то слишком медленно. Тут было о чем подумать — о том, что человек в силу каких-то обстоятельств, — допустим, болезнь, как в данном случае, — подверженный неподвижности, живет как бы в ином временном поясе, в ином измерении. Длинней это время, чем у людей активных, или короче, зависит, наверное, от подвижности его мысли...

Перелистав блокноты и будучи занята другой работой, я их отложила до лучших времен. То же сделала я и с письмами, большинство из которых было адресовано Константину Георгиевичу Паустовскому. Да, их было штук десять—пятнадцать, этих начатых и брошенных на середине, недописанных и неотправленных посланий. Благодарные письма любимому писателю.

«Дорогой Константин Георгиевич!

Вам пишет женщина, давно и жадно читающая все, что...»

«...Простите, что решилась обратиться к Вам с этим письмом. Будучи неподвижна, я уже много лет, как...»

«Константин Георгиевич! Спасибо за все то доброе и прекрасное, что создали Вы...»...

Ни одно из начатых писем не показалось их автору достойным отправки. И хотя это желание возникало не однажды, в разные годы, — все они тут непосланные, неоконченные. Тут тоже было о чем подумать — о странности односторонней связи писателя с неким читателем-другом, чьих писем он никогда не получит. А ведь близость их душ несомненна, нерасторжима. И дело тут вовсе не в письмах — придут они или нет. Эта близость держится на том, что один — одержимо пишет, а второй — одержимо читает все, что написано первым. Обратная связь тут вроде и не нужна. Но не в этом ли, не в отсутствии ли обратной связи кроется причина острого одиночества, знакомого в той или иной степени всякому художнику? Сколько бы ни получал писатель писем, одиночество его невосполнимо уже потому, что никогда в полной мере не узнает он своего читателя. И поэтому каждое доброе письмо оттуда, из неведомого, — радость...

Да, тут было о чем подумать, но я отложила и эти черновики неотправленных писем вместе с блокнотами. Тоже до лучших времен, когда смогу все прочесть внимательно.

Получилось так, что лишь спустя год я вернулась к

этим запискам. И тут меня ждал сюрприз. Среди бумаг и дневничков я обнаружила двойной и еще пополам сложенный листок линованной почтовой бумаги. Письмо, написанное семьдесят пять лет тому назад. Каким-то образом оно сохранилось — в болезнях, тяготах жизни, перемещениях, просто во времени, — высохшее до пергаментного хруста. Письмо без конверта.

Ялта, апрель, девятисотый год!.. Чехов? Неужели — Чехов?!..

Я пробиралась по строчкам, словно подкрадывалась к заветной цели, уже почти предчувствуя ее там, за аккуратной вязью посторонних слов. На второй странице возникло слово — Елпатьевский. Фамилия ялтинского врача, лечившего Чехова, дружившего с ним. «Горячо!» Как в детской игре в «горячо — холодно», когда ищут запрятанный в доме подарок.

«Елпатьевский говорит, что это чисто нервное, и дает бром...»

Затаив дыхание, я перевела взгляд на следующую страницу и прочла: «4 Апреля, 6 ч. утра.

Сегодня и на моей улице был праздник. Третьего дня я послала Чехову свои рецензии при письме, а на другой день, т. е. вчера, он был у нас...»

Я позвонила Наташе Перепелицыной. Она удивилась, обрадовалась. Сказала, что понятия не имела об этом письме. Конечно, она приедет ко мне и мы вдвоем попытаемся прочесть подпись.

Ах, почему такие письма подписывают неразборчиво!..

Впрочем, пора привести его целиком.

«3 Апреля 1900 г. Ялта

Марья Николаевна!

Вы не пишете мне, и я не буду отправлять Вам писем, но не писать Вам здесь, в Крыму, я не в силах...

Сегодня мы проезжали мимо домика Эшлимана — ставни закрыты, пустота, неожившая еще зелень как-то мертвенно застыла на стенах. Да, все умерло, надежды, мечты, желания, волнения, и только ноет неугомонное сердце и рыдания подступают к горлу. Только оно не хочет успокоиться и разлюбить.

Завтра день моего рождения. Сейчас получила телеграмму, что А. К. не приедет. Еще бы! Будь мне не 59, а 29 лет, он конечно бы приехал, а исполнять желания

60-летней женщины даже смешно!.. А между тем сердце не мирится с этим, и я плачу, плачу целый день... Благо, что погода прекрасная и Х. с Melle гуляет без конца. Могу на свободе плакать и писать, писать и плакать.

А теперь появилась еще какая-то новая болезнь — удушье. Нечем дышать. Это особенно страшно ночью, так и кажется, что вот-вот задохнешься.

Елпатьевский говорит, что это чисто на нервной почве, и дает бром, который, впрочем, что-то не помогает!.. Да, вряд ли я поправлюсь в Крыму!»

«4 Апреля, 6 ч. утра.

Вчера и на моей улице был праздник! Третьего дня я послала Чехову свои рецензии при письме, а на другой день, т. е. вчера, он был у нас, чтобы благодарить за них и сказать, что никогда ни одна критика не доставляла ему столько удовольствия и не вызывала столько интереса, как эта. Он называл эти рецензии искренними, правдивыми, что встречается не часто, и просил оставить у него на недельку, чтобы прочесть их Горькому. Он обещал познакомить нас с Горьким и достать билеты на Московскую труппу, которая приедет сюда исполнять пьесы Чехова под его непосредственным наблюдением. Он обещал часто заходить к нам и уезжать никуда не собирается.

Чехов произвел на нас самое хорошее впечатление — прост, натурален в высшей степени, ни малейшей позировки или самомнения.

Вчера же получила Ваше открытое письмо. Но, Боже мой, письмо ли это? Несколько деловых слов, и только, Бог с Вами!..

Зато, если бы Вы знали, какое милое письмо получила я от Зуева в ответ на посланную ему «Книгу взрослых». Оно тронуло меня до слез. Убедительно прошу Вас написать мне немедленно его имя и адрес.

Ваша Х. А л. (далее неразборчиво)

Сейчас Клавд. Ник. сообщила мне, что Вы были больны и даже лежали в постели. Милая моя! Дорогая! Быть может, это было причиной того, что Вы не писали мне! Тогда простите мне все мои упреки!

Неприменно напишите о здоровье.

Х. шлет Вам привет».

Вот письмо, счастливой обладательницей которого я стала. Письмо с обилием многоточий и восклицательных знаков. Со множеством неизвестных, начиная от адресата и кончая автором письма. А все эти таинственные сокращения — «А. К.», «Х. с Melles». И некий «домик Эшлимана»! Одно было несомненно — письмо редкостное. Если бы даже в нем только упомянуто было имя Чехова, оно уже представляло бы интерес. Но Чехов, пришедший на другой день, чтобы благодарить за рецензии, сказать, что «никогда ни одна критика не доставляла ему столько удовольствия и не вызывала столько интереса, как эта...»... Чехов, просивший оставить эти рецензии «на недельку», чтобы показать их Горькому... Не станет ли это письмо новой страничкой в материалах о Чехове? Не прибавится ли что-то и к рубрике «Чехов — Горький»?..

В первое время я просто наслаждалась тем, что оно — мое. Я его перечитывала, почти выучила наизусть. Показывала друзьям, надеясь в дальнейшем поделиться находкой и с читателями — если удастся расшифровать все то неизвестное, что содержит в себе это письмо.

С друзьями проще. Они разглядывали хрустящие страницы, дивились, качали головами, ахали и безуспешно пытались прочесть неразборчивую подпись автора письма. Сама я давно в этом отчаялась.

Правда, в письме был один ключик, на который я очень надеялась. Это упомянутая в нем «Книга взрослых». И я собиралась искать в Ленинской библиотеке справку об этой книге, а возможно, и самую книгу. Тогда, думала я, обнаружится и фамилия автора письма, поскольку в этой «Книге» опубликовано нечто, ей принадлежащее. Может быть, тоже рецензии?!

Наташа Перепелицына заболела и пришла ко мне только месяц спустя. Никаких чудес от встречи с ней я не ожидала. К тому времени у меня уже сложилась первая версия. Теперь я знаю, как это опасно. Сколько таит она в себе коварства, и как невозможно ее избежать. В мозгу, наделенном воображением, происходит первичная обработка полученной информации. В литературном исследовании, как, наверное, в криминалистике, эта первая версия возникает мгновенно, помимо воли. Она как бы навязывает свой вариант, который потом необходимо преодолеть.

Итак — Первая версия.

В сияющем апреле девятисотого года в Ялте прожива-

ла некая дама с инициалами Х. А. Дама эта приехала в Крым лечиться от нервного расстройства, но, судя по письму, адресованному подруге, Крым помогал ей мало. Дама все время плакала, вспоминала ушедшую любовь и молодость, — в Ялте ей исполнилось пятьдесят девять лет. Вспоминала какого-то А. К., сообщившего ей телеграммой, что не приедет ко дню ее рождения. Особую грусть внушает ей домик некоего Эшлимана (возможно, это и есть А. К.), мимо которого она проезжала в коляске. Между тем, не лишенная литературных способностей, она пишет рецензии, в том числе и на рассказы Чехова, и, узнав, что он находится в Ялте, посылает их ему «при письме». Тронутый ее рецензиями, Антон Павлович приходит на другой день, благодарит, называет рецензии «искренними, правдивыми, что случается не часто», и даже просит оставить их у него, чтобы показать Горькому. («Почему именно Горькому? — помнится, подумала я тогда. — Ведь вот какая любопытная подробность! Хотелось, чтобы не кто иной, а Горький прочел эти искренние, правдивые рецензии!») А ведь Ялта весной девятисотого — это праздник искусства, литературный Олимп.

Бунин пишет об этом времени:

«Весною 1900 года, когда в Крыму играл Художественный театр, я тоже приехал в Ялту. Встретился тут с Маминим-Сибиряком, Станюковичем, Горьким, Телешовым, Куприным... Все были возбуждены, оживлены. Чехов чувствовал себя сравнительно хорошо. Мы с утра отправлялись в городской театр, ходили по сцене, где шли усиленные приготовления к спектаклю, а затем всей компанией направлялись к Чехову, где проводили почти все свободное время».

И вот — именно Горькому. Не Куприну, не Телешову, не Станюковичу, не Мамину-Сибиряку. Даже не Бунину. Горькому!..

Ранняя весна в Ялте мне хорошо знакома. Морозный душистый воздух, как будто духи пролиты в снег, — это пахнут гиацинты. Бело-розовое цветение миндаля, урюка, алычи. Ветер и солнце, шум ветра в кипарисах. Гористые улочки, набережная. На базаре продают кедровые шишки — коричневые, плохо отполированные, как будто их сделали на захолустной мебельной фабрике... Белый мед... И вдруг — метель. Снег смешался с цветеньем, море скры-

лось за пеленой снега. Верхушки изогнутых кипарисов качаются, как черные паруса, а гора позади дома то скрывается в порыве пурги, то проступает, как на про-явленном фотоснимке.

И снова солнце. Набережная на закате. Рыболовы, одинаковым движением мотающие леску. Пойманная рыбешка, бьющаяся в лужище, золотой от заката. Акварельное море. Розовое облако посредине горы...

Капризный весенний Крым. Земля Чехова. Его одиночество.

Я не раз приезжала сюда в эту пору, ранней весной, когда в Ялте еще малоллюдно, просторно. Когда высаживают в грунт оранжерейные растения, на набережной и в парке у моря красят скамейки, обновляют таблички, готовят к открытию пляжи... В эти дни сама Ялта похожа на театральную сцену, где устанавливают декорации перед началом спектакля.

— Ну, и что ты собираешься предпринять? — спросила Наташа Перепелицына, разглядывая подпись в лупу.

— Пойду в Ленинскую библиотеку, посмотрю библиографию о «Книге взрослых»...

— Алекс... Алчес... — бормотала, глядя в лупу, Наташа.

И вдруг...

Даже в криминалистике, в строгой логической цепи рассуждений и доказательств, присутствует это Вдруг. Иногда это просто случайное стечение обстоятельств. Но не будь его — дело бы еще долго оставалось запутанным. В жизни это ВДРУГ выглядит убедительней, чем в детективном романе, где кажется, что автор ввел элемент случайности, облегчая себе задачу разоблачения преступника.

И вдруг в комнату вошла моя мама. Она вошла со своей чашкой, чтобы вместе с нами выпить чаю, и, прислушавшись к бормотанию Наташи, сказала:

— Алчевская, наверное... Что это вы разглядываете?

Мы были потрясены.

— А как ее звали?

— Христина Даниловна.

— А вот тут еще сказано: «Х. гуляет с Мадемуазель»...

— Ее дочку тоже звали Христина, — сказала мама, как о чем-то, что само собой разумеется. — Потом она стала украинской поэтессой...

— Зоя Павловна, вы гений! — закричала Наташа.

Приблизив к себе лампу, мама долго, придирчиво вглядывалась в тонкую, безупречную вязь ровных строчек — отдельные слова мы ей подсказывали — и, прочтя письмо, сказала наставительным учительским тоном:

— Ну, ясно, это она, моя дорогая Христина Даниловна!.. И нечего было мучиться, я бы вам сразу сказала, что это Алчевская!..

Я не стала маму разуверять. Для меня же самой было несомненно, что она узнала знакомую ей фамилию именно со слуха. Что зрительно это ей было бы не под силу.

Потом мы пили чай и мама рассказывала о школе Алчевской в Харькове, где ей довелось работать. Это была одна из первых в старой России воскресная женская школа. Маме исполнилось тогда шестнадцать лет. Закончив с золотой медалью гимназию, она занималась на Высших женских курсах. Однажды товарищ ее старшего брата, студент университета, преподававший в школе Алчевской, попросил, чтобы она его заменила, — школа работала только по воскресеньям, ученицы приходили издалека, с городских окраин, поэтому пропускать занятия, не предоставив замены, учителям школы не разрешалось.

Мама рассказывала, как она волновалась, идя на свой первый урок. Школа была двухэтажная, большой зал и несколько классов. Была также комната с пособиями, где висели географические карты и хранились образцы горных пород, коллекции бабочек, чучела птиц и морских животных.

В этой комнате, которая именовалась музеем, она взяла микроскоп и вошла в класс. Там сидели девушки ее лет, в тот день их было четырнадцать. Одеты они были очень скромно, скорее бедно, но их сатиновые платья и ситцевые блузки были тщательно отглажены, видно было их уважение к школе, к тому, ради чего они шли сюда издалека.

Урок прошел оживленно. Мама занималась на естественном отделении и поэтому решила начать с того, что ей было близко. Она говорила о том, что видно простым глазом, и о приборах, которые позволяют лучше видеть окружающие нас предметы. В качестве примера она предложила нескольким ученицам выдернуть волос из головы и рассмотреть его под микроскопом...

Вначале, говорит мама, ее смущало, что дверь из класса в коридор приоткрыта и там стоит кто-то, видимо из

старших преподавателей, наблюдая за тем, как проходит ее первый урок. Но вскоре она об этом забыла.

С того дня она стала преподавать там постоянно, не пропуская ни одного воскресенья. Работа в школе Алчевской велась на общественных началах, — опытные учителя безвозмездно отдавали школе свой единственный свободный день. Среди учителей мама была самой молодой. Особенно заметно это было на педагогических советах, которые проходили в доме Христины Даниловны.

В те годы она была уже стара и слаба и редко приходила в школу, где все дела вел ее сын Николай Алексеевич. Другой ее сын, знаменитый певец Иван Алчевский, в один из своих приездов в Харьков спел по просьбе учителей несколько арий и романсов. Он постоянно отчислял в пользу школы часть своих гонораров.

Все это я уже знала, — как все старые люди, мама по многу раз вспоминает одно и то же, — но теперь слушала будто впервые.

Кое-что я и сама помнила — красивую пасхальную открытку с ангелами и загадочной в моем детстве надписью «Христос Воскресъ». Открытка эта хранилась у мамы в заветной шкатулке. На обороте открытки крупным нетвердым почерком было выведено: «Дорогой Зое Павловне от Лизы Седых».

Лиза Седых была очень способная ученица. Она жила на окраине, на Холодной горе, в домишке с палисадником, где росла сирень. Каждую весну она дарила маме букеты сирени...

Слушая мамин рассказ, я все время помнила о том, что автор письма установлен.

И душа моя ликовала.

В Большой Советской Энциклопедии (Второе издание, 1950 год) я прочла:

«Алчевская Христина Даниловна (1843—1915)¹.

Русская прогрессивная деятельница народного образования. В 1870 г. открыла в Харькове бесплатную женскую воскресную школу, которая вскоре прочно завоевала репутацию методического центра по вопросам обучения взрослых и привлекла деятелей воскресных и вечерних школ для взрослых с разных концов страны.

Школа Алчевской просуществовала около 50 лет, не-

¹ По свидетельству ее родственников, Х. Д. Алчевская родилась в 1841 году и скончалась в 1920 году.

смотря на неоднократные притеснения, чинимые Алчевской царским правительством.

Алчевская вместе с группой преподавательниц воскресной школы составила получившее широкую популярность рекомендательно-библиографическое пособие «Что читать народу?» (т. 1—3, 1884—1906), учебное пособие «Книга взрослых» (1899) и др....

Вот и «ключик», с помощью которого я надеялась узнать автора найденного письма. Он повернулся, но дверь была уже открыта!..

Вслед за Христиной Даниловной Алчевской в энциклопедии шел Алчевский Иван Алексеевич, русский певец, драматический тенор — «один из выдающихся певцов русской и мировой оперной сцены». Были перечислены его основные партии — Германн («Пиковая дама»), Дон Жуан («Каменный гость»), Хосе («Кармен»)...

Я написала в Харьков. Просила друзей узнать, не осталось ли у Алчевской в Харькове родственников. С их помощью я надеялась выяснить фамилию Марьи Николаевны, которой Алчевская адресует свое письмо, а возможно, удастся расшифровать сокращения, коими оно изобилует. Не забывала я про «домик Эшлимана», с которым у автора письма связаны «надежды, мечты, желания, волнения»... Помнила об отказе А. К. приехать в Ялту в ее день рождения...

Вскоре из Харькова пришел ответ. Моя школьная Учительница, — само собой получилось, что я написала это слово с большой буквы, — такая уж это была Учительница, к которой и сейчас приходят ее ученики — среди них уже есть седые и старые, — а она, молодая, встречает их у порога, темноглазая, смуглая, с ямочкой на щеке, и узнает их мгновенно. И сейчас она первая, с помощью своих бывших учеников, узнала и сообщила мне адрес внучки Алчевской, Елены Алексеевны Бекетовой.

И я приехала в город своего детства.

Но еще перед этим пришел ответ из Ялты на мою просьбу прислать сведения об Эшлимане, — значился ли в начале века в Ялте домовладелец Эшлиман. Ответ превзошел все мои ожидания. И хотя он разрушил мою Первую версию, не могу отказать в удовольствии себе, а может быть и читателю, и не сообщить ему то, о чем с интересом узнала сама. Тем более что присланная мне выписка принадлежит

сборнику статей о Южном берегу Крыма, выпущенному издательством «Крым» в помощь экскурсоводу, и тираж его мизерный — одна тысяча экземпляров.

«...с конца 1834 г. первым архитектором Южного берега стал Эшлиман... Карл Иванович Эшлиман (1808—1893) был швейцарским подданным. По окончании Пражской академии художеств и недолгого пребывания в Берне он в июле 1828 приехал в Крым в усадьбу А. С. Голицыной в Кореизе. Эшлиман попал в Крым довольно случайно. Согласно объявлению одной богатой семьи он вызвался сопровождать на Южный берег больного испанского графа Ошандо дела Банда. Вначале у него не было мысли оставаться в Крыму, но из-за чумы, свирепствовавшей на юге России, он вынужден был задержаться... Голицына познакомила Эшлимана с М. С. Воронцовым, который предложил ему должность второго, а затем и первого архитектора Южного берега Крыма. (...) Эшлиман был больше исполнителем, сам он проектировал мало и главным образом второстепенные сооружения.

Наиболее значительна его работа по составлению проектного плана Ялты. (...) ...после преобразования в 1837 году местечка Ялта в город, появилась необходимость составить перспективный план застройки и развития Ялты. Это было поручено Эшлиману. Он работал больше двух лет. В начале 1843 г. проект был утвержден».

Далее сообщалось, что Карл Иванович Эшлиман был похоронен возле ялтинской церкви, строительством которой он руководил.

«Могила его находится там и в настоящее время».

Итак, версия о романтических отношениях между Алчевской и «неким Эшлиманом» отпала. В девятилетнем возрасте Карла Ивановича уже семь лет как не было в живых, да и умер он восьмидесятилетним стариком — прямо скажем, не лучшая пора для лирических походов. Оставалась надежда, что «А. К.» — не кто иной, как сын Эшлимана, — инициалы и предположительный возраст «сына» давали такую возможность. (Первая версия не сдается без боя!)

Но — был ли у Эшлимана сын?.. «Был ли мальчик?»...

...В Харькове было прохладно. Пожалуй, слишком прохладно для сентября.

Осень — лучшее время в моем городе. Я говорю в моем, хотя покинул его давным-давно, в отрочестве. Но все же я здесь родилась и, возможно, прожила бы здесь

всю свою жизнь. Наша разлука была насильственной — нас разлучила война. После войны я сюда уже не вернулась. Но, приезжая к друзьям, я всегда обостренно воспринимаю свой город, его неширокие старые улицы, дома с лепными карнизами, ложноклассическими портиками, львиными мордами.

Антон Павлович Чехов в одном из писем, присланных из Италии, когда он приехал туда впервые, пишет: «Рим похож в общем на Харьков». Не выносивший пафоса, зная, что от него ждут восторженных восклицаний, он хотел этой фразой приземлить Рим, но при этом невольно возвысил Харьков. Ведь можно сказать и так: Харьков похож, в общем, на Рим!

В этот раз я приехала сюда с дочерью. Она никогда здесь не бывала, и к новизне моих ощущений прибавилась еще новизна ее взгляда.

Мы разглядывали дома, и я многое замечала впервые — возлежащие вдоль верхних карнизов, словно в капелле Медичи, мраморные фигуры. Иронические улыбки сфинксов. Своеобразную архитектурную стилистику, и на многих домах, отличающихся благородством пропорций и формы, — мемориальную доску: «Дом сооружен (или построен) архитектором Бекетовым»...

— Это тот Бекетов, что построил весь Харьков? — спросили у нас, узнав, что мы идем к Бекетовым.

О своем приезде и желании повидаться я известила по телефону. Я позвонила вечером, надеясь, что Елена Алексеевна пригласит меня к себе на следующий день.

— Нет, нет, приходите сегодня, — услышала я в трубке не по-старчески властный голос. — Завтра я лечу зубы... К тому же сейчас дома мой сын — может быть, потребует его помощь...

Было ветрено, собирался дождь. Мы взяли зонтики и пешком направились на улицу Дарвина. Шли городским садом, где по случаю воскресенья бил цветной фонтан, напоминавший мне прежде воду с сиропом. Цветные прожектора освещали и толпу, придавая ей нечто карнавальное. После городского сада город показался пустынным и темным. На тихой улице Дарвина мы не без труда разглядели нужный нам номер. Это был старый особняк в два этажа, с мраморной лестницей. Мы поднялись на второй этаж, здесь, на входной двери, была медная дощечка «Академикъ Бекетовъ».

Мы оказались в большей, скорей пустынной, чем про-

сторной, комнате, гостиной, с круглым столом в центре и остатками старинной мебели по стенам и углам, в обществе Елены Алексеевны и ее сына Федора Семеновича. Прежде всего предстояло разобраться в родстве.

— У Христины Даниловны было шестеро детей,— говорила Елена Алексеевна,— четыре сына и две дочери, Анна и Христина. Я дочь Анны, которая в свое время вышла замуж за архитектора Бекетова. Таким образом, я прихожусь внучкой Христине Даниловне, а Бекетову — дочерью...

Это была небольшого роста с живым взглядом серых глаз пожилая женщина, слишком интеллигентная, чтобы к ней подходило слово *дам*,— в современном звучании этого слова есть некоторая манерность.

Я рассказала ей о найденном мною письме. Нет, никаких свидетельств о дальнейших встречах Чехова с Алчевской у нее нет. Елена Алексеевна даже не помнила, что они были знакомы...

— Федя, принеси книгу,— попросила она сына.— Там бы, наверное, что-нибудь было...

Федор Семенович,— высокий, несколько сутулый человек. В его лице есть что-то детское, возможно, такое впечатление создает большой выпуклый лоб,— мы уже знаем от Елены Алексеевны, что он математик и работает в Институте низких температур. Вскоре Федор Семенович вернулся с увесистым томом. На суперобложке я прочла: «Х. Д. Алчевская. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания».

Книга вышла в Москве в 1912 году в типографии Сытина. Мы тут же посмотрели содержание — «Встречи: Ф. М. Достоевский. И. С. Тургенев. Л. Толстой. Глеб Успенский». И ни слова о Чехове. Лишь потом, в Москве, изучив подробно воспоминания Алчевской, я поняла, почему встреча с Чеховым не описана ею. Потому что это была именно встреча, за которой не последовало длительного общения. Праздник — так называет Алчевская это событие в своем письме: «Вчера и на моей улице был праздник!»... Так она пишет в письме к Марье Николаевне.

Я спросила, кто бы это мог быть. Елена Алексеевна задумалась.

— Видите ли,— сказала она,— их было несколько. Но, судя по тому, что вы рассказали, это Марья Николаевна Салтыкова... Федя, принеси адрес, который Христине

Даниловне преподнесли к пятидесятилетию ее деятельности... Там есть фамилии всех учителей...

Федор Семенович принес большую папку с адресом, где среди учителей, подписавших его, мы сразу нашли Марью Николаевну Салтыкову.

— Скорей всего, это она. Мне известно, что они близко дружили, несмотря на разницу в возрасте,— Христина Даниловна была много старше Марьи Николаевны...

— А Клавдия Николаевна? Та, которая сообщила Алчевской о том, что Мария Николаевна была больна... Она, должно быть, сестра Марьи Николаевны?

— Нет, это невестка Алчевской, жена Николая... Она тоже работала в школе. Все близкие Христины Даниловны были так или иначе связаны со школой, привлечены ею к школьному делу...

Предстояло еще спросить о любовной истории Алчевской, пережитой ею в Ялте. Я колебалась, не зная, удобно ли задать подобный вопрос внучке. Но поскольку внучка сама была уже бабушка — две прелестные девочки, русая и черноволосая, выглянули из-за двери и скрылись,— я рискнула. Глаза Елены Алексеевны гневно расширились.

— Этого быть не могло!.. Христина Даниловна очень любила своего мужа...

— Но там упоминается какой-то А. К., который огорчил ее тем, что не сможет приехать в день ее рождения: «...а между тем сердце не мирится с этим, и я плачу, плачу целый день...»

— А. К.?— Гнев сменился удивлением.— Это муж Христины Даниловны, Алексей Кириллович!.. Во всех письмах и дневниках она называет его сокращенно — А. К. Вам известно, как он погиб?..

От матери я уже знала трагедию семьи Алчевских. Знала, что муж Христины Даниловны, банкир, глава акционерного общества, обанкротившись, бросился под поезд. Это было громкое дело — на всю Россию, но мама знала об этом смутно, с чужих слов, потому что произошло это не то в самый год ее рождения, не то год спустя...

— Об этом есть у Ворошилова,— сказал Федор Семенович и принес из соседней комнаты сентябрьский номер «Октября» за шестьдесят седьмой год. Открывали журнал

«Рассказы о жизни», написанные Климентом Ефремовичем Ворошиловым.

Там говорилось о судьбе Алчевского, основателя земельного и торгового банков в Харькове, и о заводе ДЮМО, где работал в пору своей юности легендарный в будущем слесарь Клим.

«... в царской России начался уже острый экономический кризис, достигший наибольшей силы в 1900—1903 годах. Повсюду производсто свертывалось, и в этом бушующем океане экономического кризиса завод ДЮМО¹ был одно время как бы островком. Здесь еще продолжали плавить чугун и сталь, выпускать разноразный прокат (...) На территории росли груды чугунных отливок и металлических изделий... Но рабочих не увольняли, и именно поэтому здесь не чувствовались в полной мере те бедствия, которые уже свирепствовали по всей империи.

Это странное в условиях экономического спада явление было связано с деятельностью А. К. Алчевского, который хотел противостоять стихии кризиса и, видимо, в какой-то мере облегчить положение рабочих.

Находясь под сильным влиянием своей прогрессивно настроенной жены Христины Даниловны, Алексей Кириллович Алчевский проявлял либеральные наклонности. Но его финансовые ресурсы иссякли, и он оказался накануне банкротства.

Ходили слухи, что в связи с этим Алчевский решил обратиться к самому Николаю II и выехал в Петербург. Рассказывали, что там он беседовал с министром финансов Витте, и царедворец докладывал «его величеству» о просьбе Алчевского выделить ему кредит в несколько миллионов рублей. Николай II якобы разрешил ассигнование лишь трети этой суммы, что не устраивало Алчевского. Он попросил Витте еще раз обратиться к царю, но тот ответил решительным отказом, и тогда Алчевский, выехав в мае 1901 года из Петербурга, бросился под колеса поезда. В память об этом человеке железнодорожная станция Юрьевка и раскинувшийся вокруг нее город впоследствии и получили наименование Алчевск и долгое время сохраняли это наименование».

Многое объяснили мне воспоминания К. Е. Ворошилова, с которыми уже подробней я познакомилась дома, в Москве. Картина жизни тех лет, прошлое

¹ Донецко-Юрьевское металлургическое общество. (От автора.)

нашего Донбасса нарисованы в них живо и непосредственно. Говоря о своей юности, Ворошилов много внимания уделяет заводским школам, самодеятельным драматическим кружкам, этому средоточию роста народного сознания, в том числе и его собственного. Недаром они постоянно преследовались царским правительством. В связи со школами снова возникает в его воспоминаниях имя Алчевской. «Жена владельца поместья — Алчевская — подарила «волшебный фонарь», тогда большую редкость даже в городских школах. Она же высылала из Харькова еженедельно, по просьбе учителя, новые серии диапозитивов. (...) Школа стала чем-то вроде нынешних Домов культуры: Смотреть картины и слушать рассказы приходило все село. Так как школьные стены не вмещали всех желающих попасть на картины, их начали показывать на улице, на белой стене соседнего сарая...»

Я прочла это уже потом, в Москве. И для меня стало ясно, что, сетуя в письме к подруге на охлаждение мужа, приписывая это своему возрасту, Алчевская не предполагала, что Алексей Кириллович находился накануне банкротства. Оберегаемая им от того, что неотвратимо, как лавина, катилось навстречу, Христина Даниловна не знала, что через год станет вдовой...

Мое предположение, что Алчевская не вникала в банковские дела мужа, подтвердилось в письме Христины Даниловны Достоевскому, приведенном в ее книге:

...«В Ессентуки необходимо ехать через Харьков, и вот мы будем иметь счастье видеть Вас у себя. Я говорю мы, так как муж мой один из искренних поклонников Вашего таланта, хотя и возражал на нашем последнем вечере чтения на Вашу заметку о банках. В чем состоял его протест, я не сумею Вам передать, так как ровно ничего не понимаю в его банковых делах и нахожу их настолько скучными, что удаляюсь обыкновенно в другую комнату, когда заходит речь о банках».

И это я прочла уже в Москве. А тогда, в доме Бекетовых, мне показали бережно хранимый сборник, составленный по инициативе Алчевской, при ее личном активном участии учителями ее школы, — «Что читать народу?». В подзаголовке значилось — «Критический указатель книг для народного чтения. С.-Петербург. 1884».

Перелистав его, я обнаружила, что в сборнике были представлены не только рекомендованные книги, но и те, что получили отрицательный отзыв. В таком случае в крат-

кой, но убедительной рецензии пояснялось, почему данная повесть (или рассказ) не заслуживает быть прочитанной народным читателем.

Представленная на Парижской всемирной выставке 1889 года, эта книга была удостоена высшего приза — золотой медали...

Это ли не тема для высокой трагедии, для романа в чисто русском, классическом духе?!

Вспомните историю Инессы Арманд, актрисы Марии Федоровны Андреевой. Женщина высоких душевных идеалов порывает со своей средой. Уходит от обеспеченной беззаботной жизни, от роскоши и изобилия, становясь на тернистый путь революции, принимая сторону тех, кто борется за новое, идеальное общество.

Несовместимость душевного склада губительна для двоих. Роковой исход предreshен. Когда любовь не слишком сильна, дело заканчивается разрывом. В ином случае — гибелью более слабого.

Трагедия семьи Алчевских для меня предстает в свете любви и слабости. Да, слабости банкира Алексея Кирилловича Алчевского перед высоким либерализмом жены, постоянно влиявшей на его деловой характер.

Негоциант, магнат, банковский воротила не смеет быть либералом, пускаться в ненужные сантименты.

Любовь к жене очеловечила, одухотворила машину, какую в идеале должен являть собою делец. Погибло дело, но человек возродился, гибелью заплатив за свое возрождение.

За окном было совсем темно, по стеклам шелестел дождь. Мы отказались от чая с кизилковым вареньем, предложенного нам гостеприимными хозяевами, и заспешили домой. Федор Семенович вызвался нас проводить. Пока он снаряжался, мы разглядывали картины в старинных рамах на стенах гостиной — морские пейзажи. Елена Алексеевна сказала, что писал их ее отец, академик архитектуры Бекетов, — недавно в Харькове состоялась даже выставка его работ...

На улице Федор Семенович, вышагивая под своим черным зонтом, время от времени показывал нам дома, построенные по проекту его деда. На углу он задержался возле белого двухэтажного дома:

— Это здание тоже проектировал Бекетов, — сказал он. — Здесь помещалась школа Алчевской...

У входа висела табличка. Свет уличного фонаря позволил нам прочитать надпись:

«Средняя общеобразовательная школа рабочей молодежи № 10».

Федор Семенович рассказывал о Бекетове, о том, что отец его деда был родным братом деда Александра Блока, таким образом — прадед их...

Надо было опять разбираться в родстве. Мне это было уже не под силу. И пока Федор Семенович оживленно обсуждал с моей дочерью степень своего родства с Александром Блоком, я просто вдыхала сырой ночной воздух родного города. Дождь шелковисто шуршал о раскрытый зонтик, большая мокрая площадь перед нашей гостиницей блестела в темноте, как спина кита.

В ту ночь я долго не могла заснуть. В моей голове странно и прекрасно переплелись события и имена — Чехов, Алчевская, Ворошилов, Бекетовы, моя мама, письмо, посланное из Ялты семьдесят пять лет тому назад. Все это, отдельное и, казалось бы, несоединимое, вдруг соединилось, спаялось в единую цепь, обнаружив тесную связь минувшего с настоящим. Даже то, что в здании, где помещалась школа Алчевской, теперь вечерняя школа рабочей молодежи. Вряд ли Христина Даниловна мечтала о лучшем для себя памятнике!..

Кстати, почему бы не присвоить этой школе имя Алчевской?..

Мы покинули Харьков на другой день. Особенно синий и солнечный после ненастья, он показался нам очень долгим. Мы бродили по улицам моего детства, дольше обычного стояли возле дома, где я родилась, глядя на окна, за которыми давно уже шла своя жизнь и за стеклами виднелись банки с соленьями, закрытые марлей и перевязанные шпагатом. Из этого окна Наташа Перепелицына чуть не выпала, когда ей было два года, но я, уже пятилетняя, каким-то чудом удержала ее за пятку... И теперь мы с дочкой поднялись по шербатым мраморным ступенькам, заглянули в подъезд, где на беленой стене уцелел памятный мне с детства рельеф — вишневые ветки, с листьями и вишнями.

На веселой, пестрой от студенческой толпы Сумской продавались жареные пирожки с картошкой. Старики грелись на солнце, заполнив скамейки Театрального скве-

ра, а у фонтана «Стеклянная струя» всегда наготове стояла игрушечная белая лошадка, впряженная в красную повозку, — реквизит детского фотографа.

Потом мы собирали каштаны в еще сырой траве городского сада и, пройдя по главной аллее к видовой площадке над обрывом, с этого холма Пинчо — если продолжить сравнение Харькова с Римом, — смотрели на город, подернутый дымкой, освещенный косым вечерним солнцем, повилившим над куполами Благовещенского собора.

Возвратившись в Москву, я внимательно изучила все, что было написано об Алчевской, в том числе и ею самою. Тогда для меня окончательно сложился облик этой незаурядной женщины, сказавшей о себе: «Говорят, что у каждого человека бывает свой пункт помешательства. Моим пунктом являлась мысль обучить как можно больше женщин грамоте...»

С трех фотографий, помещенных в книге Алчевской «Передуманное и пережитое», на меня смотрела женщина с открытым решительным лицом и серьезным, как бы в себя обращенным взглядом. Такой изображена она в двенадцать лет, и в сорок девять, и в шестьдесят девять. От первой к последней фотографии волосы, зачесанные назад, побелели, лицо округлилось, но серьезность и решительность остались. По натуре впечатлительная, нервная, очень женственная, артистичная — недаром воспитавшей актрису Асенкову театральный обещал, что, пойдя на сцену, она станет второй Асенковой, — Алчевская знала и ценила в себе именно эти качества — решительность и серьезность. И такой пожелала остаться в памяти потомков, — книга издавалась при жизни Христины Даниловны и фотографии отбирала она сама.

Я так подробно пишу об Алчевской не только потому, что в своем письме она говорит о визите к ней Чехова и разговоре с ним. Конечно, важна уверенность в подлинности рассказа, и тут личность пишущего играет не последнюю роль. Но я убедилась, что многие люди, даже не чуждые литературе, никогда не слышали об Алчевской или знают о ней весьма мало.

Между тем ее деятельность высоко ценили Лев Толстой, Достоевский, Глеб Успенский, Софья Ковалевская, Элиза Ожешко; Тургенев, познакомившись с Христиной Даниловной в Петербурге, приглашал ее на свои литературные чтения. Несомненную ценность представляет собой ее рассказ о встречах с Достоевским, письма его к Алчевской.

Но наиболее интересны ее воспоминания о встрече с Львом Толстым четырнадцатого апреля 1884 года. Лев Николаевич посетил Алчевскую, придя к ней в гостиницу из своего камовнического дома, и они долго беседовали на любимую, занимавшую обоих тему народного образования, — указатель «Что читать народу?» тогда только что вышел.

«Знайте, что я самый рьяный пропагандист вашей книги», — сказал, по воспоминаниям Алчевской, Лев Николаевич. Она приводит высказывание Толстого о том, какую литературу предлагают народу, — лубочную, тенденциозную («Ее не любит народ, не люблю и я...» — заметил Толстой), бездарную. «В ней работают люди, оказавшиеся негодными для литературы, предназначенной для интеллигенции». И, наконец, четвертую: Толстых, Тургеневых, Достоевских, которую, по мнению Толстого, народ не понимает, потому что она пирожное, а не хлеб насущный...

С этой, последней частью высказывания Толстого Алчевская не могла согласиться.

Она всегда была против примитивной литературы «для народа». Не признавала литературы специально женской или солдатской и твердо стояла за то, чтобы поднимать широкого читателя до высоких образцов классики. За это ратовал и ее «Указатель».

Алчевская спорит с Толстым, приводя в пример «Записки охотника» и толстовское «Чем люди живы». Спрашивает его мнение о народных отзывах на сочинения Островского, приведенных в указателе.

«— ...Прелестно, — отвечал он. (...) по прочтении этих отзывов, он (Островский. — Прим. автора.) вдруг опять вырос предо мною во весь рост, и я пришел в такой азарт, что собрался одеваться и ехать к нему делиться впечатлениями, да кто-то помешал...»

Христина Даниловна пожаловалась Толстому на то, что некоторые «находят эти ученические отзывы деланными» и думают, что она «сама их сочинила».

«Если бы мы могли с вами так сочинять, мы были бы гениями», — возразил Лев Николаевич. И, поинтересовавшись, кто изобрел эти отзывы, то есть ввел в указатель отзывы читателей из народа, — Алчевская застенчиво призналась, что это она, — заметил: «Я так и знал».

...Преодолев косность своей семьи, усвоив грамоту самостоятельно, когда, стоя в детстве за дверью, слушала, как обучают братьев, не имея учительского диплома, осилив множество препятствий, она всю жизнь отдала любимому делу — народным школам. Началось с увлечения книгой Чернышевского «Что делать?» (не отсюда ли и вопросительная нота в названии указателя «Что читать...?»), даже была попытка открыть швейную мастерскую. Позже создание подпольной школы для крестьянских детей в селе Алексеевка, — ее вызвали к судебному следователю, в повестке было сказано, что она обвиняется в уголовном преступлении — «в нарушении постановлений о воспитании юношества». И ученики — их тоже вызвали, допрашивали, — крестьянские дети, дав показание следователю, что Христина Даниловна их учила «по азбучке», сами уже смогли расписаться, — таково было для них первое применение школьной науки.

Алчевская описывает в своей книге обыск у петербургского общественного деятеля, основателя народных воскресных школ в столице, Николая Александровича Варгунина, с которым близко была знакома и обменивалась опытом по школьному делу, — Варгунин приезжал в Харьков и многое там для себя почерпнул. Человек одинокий, он нежно любил маленькую племянницу, дочь умершей от чахотки сестры, и воспитывал ее вдвоем со старушкой теткой. Ребенку была отдана лучшая комната в доме, со светлыми занавесками, розовыми обоями, парижскими игрушками...

«...И вот у двери этой комнаты, этой «святая святых», стояло несколько чужих людей — жандармов с тупыми физиономиями и бессердечием грубых невежественных людей... Нет, он не пустит их в эту комнату, он защитит это нежное больное дитя, он унизится, он уприсит, он отстоит силою! Пусть отрывают они всюду доски полов, как отрывают в предыдущих комнатах; пусть роются во всех его интимных письмах и бумагах; пусть посягают на все его сокровища — лишь бы ему отстоять эту заветную комнату...»

Справедливо отметив, что именно это волнение и просьбы возбуждают подозрение «синих» людей (определение Алчевской), она далее пишет: «...Еще минута — и девочка, вся перепуганная и трепещущая при виде этих людей и бледного лица дяди, истерически рыдает в своей розовой постельке, а старая тетя, понявшая вдруг весь ужас про-

исшествия, стоит перед жандармами, точно грозный призрак, в одной белой ночной рубахе».

Следует (привожу в сокращении) диалог старой женщины с жандармом:

«— Не угодно ли вам одеться, сударыня?»

— Одеться?.. Да разве вы люди? Слыхали ли вы, что в старину помещики не считали за людей своих рабов и ни малейшим образом не стеснялись их присутствием? Они были не правы, поступая так; но я права, презирая вас и ваше гнусное ремесло!..»

Между тем, пишет Алчевская, в соседней комнате плакал несчастный Варгунин, обвиняя себя в том, что не сумел отстоять близких от насильственного вторжения. Жандармы продолжали рыться в бумагах, ничего запретного не находя. Вокруг дома собралась хмурая толпа.

«Что думала эта толпа, эти рабочие в то время, как оскорбляли и позорили их благодетеля?! Что думали интеллигентные люди, содействовавшие, быть может, стачке на фабриках?..»

Эта глава «Из дневника» посвящена памяти Варгунина, скончавшегося после обыска от сердечного припадка.

Остается напомнить, что написаны эти строки женой денежного магната, главы банковских обществ. Но такова была моральная сущность Алчевской, ее взгляды. Не напрасно правительство боялось ее влияния на «воспитание юношества», если все окружающие, включая мужа, испытывали это влияние.

Запись о Варгуinine сделана за три года до встречи с Чеховым в Ялте. Но не пора ли вернуться туда, в солнечный апрельский Крым девятисотого года? Вернуться теперь, когда в найденном мною письме почти не осталось «белых пятен» и Вторая версия уже налилась соком, как поспевающий на ветке плод.

Итак. Вторая версия.

Христина Даниловна Алчевская, деятельница народного просвещения, выпустившая при содействии учителей основанной ею воскресной школы указатель «Что читать народу?», будучи в Ялте, переживает тяжелый душевный кризис, — озабоченность мужа банковскими делами она принимает за охлаждение к ней как к женщине. Единственным светлым лучом в эту весну явилось для нее знакомство с Чеховым, которому она послала «свои рецензии

при письме». Рецензии, которые, по свидетельству Алчевской, Антон Павлович оценил так высоко.

Во Второй версии легко объяснялось, почему Чехов хотел показать эти рецензии Горькому, писателю, вышедшему из народа, — ведь это был отзыв о его вещах, рекомендованных для народного чтения...

Сохранились ли эти рецензии Алчевской? И о каких произведениях Чехова шла в них речь?.. Это еще предстояло узнать.

Просмотрев фамилии адресатов в обширной чеховской переписке, писем Чехова к Христине Даниловне Алчевской я не обнаружила.

Но не сохранились ли письма Алчевской к Чехову?

В отделе рукописей Ленинской библиотеки мне любезно протянули переплетенную в коричневый коленкор тетрадь. В ней, в алфавитном порядке, стояли фамилии корреспондентов, чьи письма к Чехову или другим членам его семьи хранятся в Отделе. В этом списке я сразу нашла — «Х. Д. Алчевская. 1900 год». Судя по номерам, писем было несколько...

Дежурная по читальному залу, наведя справку, сказала, что я смогу прочитать эти письма, если подожду полчаса. Всего тридцать минут, а то и меньше, отделяли меня от заветной цели. Тридцать минут счастливого ожидания!..

Мелкий снежок сеялся за окном. За отдельными, на одного человека, столами прилежно работали люди, каждый над своей темой. Их было человек десять, не больше. В тишине было слышно, как шелестят страницы, а порой даже самое дыхание. Окно выходило на боковую улицу, щурясь от снега, спешили прохожие. И я вспоминала, как шла сюда, как не сразу отыскала вход в это великолепное здание, знаменитый дом Пашкова — величаво возносящийся со своего холма Книжный Храм, памятник московской архитектуры. Вспоминала бесчисленные его лестницы и коридоры, украшенные старинными статуями богов и богинь, покровителей муз и наук.

И бесчисленные залы, и шелест книжных страниц, похожий на шелест леса. И постового, которому я предъявила свой документ. Какие великие ценности охраняет он, постовой!..

Подошла дежурная, молодая румяная девушка. Сказала:

— Ваш заказ получен...

И протянула мне картонную синюю папку, в каких школьники хранят иногда свои тетради. Карточка с указанием шифра, единица хранения... И в руках у меня тонкие двойные листки — та же почтовая бумага, знакомый безупречный почерк. Еще более безупречный, чем в письме к подруге. И дата — «2 апреля 1900 г. Ялта...»

«Глубокоуважаемый Антон Павлович!»

Письмо, которое той весной держал в руках Чехов...

Выразив свое восхищение его талантом, Алчевская пишет о том, с каким нетерпением ждет интеллигентная публика его новых произведений, как мгновенно расходятся журналы, в которых они опубликованы.

Алчевская просит принять в подарок посылаемые в знак уважения к Чехову два тома указателя «Что читать народу?».

...«Теперь мы работаем над III томом «Что читать народу?» и нам удалось прочитать в нашей мало подготовленной аудитории Ваш рассказ «Бабы» и «Мужики». (...) «...Вы, быть может, не знаете, Антон Павлович, как именно воспринимаются ваши произведения читателем из народа, насколько они доступны ему. Если вопрос этот интересует Вас, не угодно ли Вам прочитать когда-нибудь в свободную минуту прилагаемую рукопись. Она может оставаться у Вас 2, 3 недели, а затем я попрошу Вас возвратить ее мне, так как у меня нет дубликата.

Адрес мой: Гостиница «Россия», № 25

Глубоко Вас уважающая

Х. Алчевская».

Так вот какие рецензии Алчевская послала Чехову! В письме к подруге она назвала их с в о и м и, потому что это были отзывы учениц е е ш к о л ы. Отзывы ч и т а т е л я и з н а р о д а, записанные ею после прочтения в классе чеховских рассказов.

И вот чьи отзывы Чехов назвал «искренними, правдивыми». Вот о чьих отзывах сказал, что «никогда ни одна критика не доставляла ему столько удовольствия и не вызывала столько интереса, как эта», и просил оставить их у него, чтобы показать Горькому.

«Конечно же Горькому! — думала я теперь, когда все прояснилось. — Не Куприну, не Телешову, не Станюковичу, не Мамину-Сибиряку. Даже не Бунину — Горькому!..»

Второе письмо Алчевская посылает Чехову 3 апреля, на другой день после знакомства. С письмом она препровождает ему «Книгу взрослых», которая составлялась шесть лет и по выходе встречена очень благожелательно, критикой самых разных направлений,— Алчевская уточняет это в сноске. Она также сообщает, что в Ялту приехал ее сын Николай Алексеевич, которого тоже интересуется вопрос с водой, но он не знает, к кому обращаться с этим.

В конце письма Алчевская благодарит Чехова за визит и напоминает про обещание познакомить ее с Горьким.

Это письмо навело меня на мысль, что у Алчевских в Ялте был свой дом, куда они приезжали на лето. Полагаю, что догадка эта правильна, хотя и не имею еще подтверждения ей. Но, согласитесь, зачем бы иначе Николая Алексеевича интересовал «вопрос с водой», который заботил Чехова в связи с поливкой его аутского, тогда еще молодого, сада.

Видимо, той ранней весной Христине Даниловне просто удобнее было жить в гостинице, а не в своем, еще холодном после зимы, доме. Возможно, когда-то в молодости, они с мужем гостили у Эшлимана,— из Ялты мне сообщили, что дом его сохранился.

Вспомним строчки ее письма подруге — «...проезжали мимо домика Эшлимана — ставни закрыты, пустота, нежившая еще зелень как-то мертвенно застыла на стенах...».

Третье, коротенькое письмо, послано Чехову через день, 5 апреля. Привожу его полностью.

«Глубокоуважаемый

Антон Павлович!

Прежде всего позвольте искренно поблагодарить Вас за билеты, полученные мною вчера на все 4 спектакля, а затем просить сообщить мне адрес и имя Горького, которому я хочу послать обещанные книги.

Извиняюсь за беспокойство, остаюсь
Глубоко Вас уважающая

Х. Алчевская
5 Апреля 1900 г.
Ялта».

Должно быть, Горький задерживался, и опасались, что он не приедет вообще. Но он приехал. Тем временем, выполняя обещание, Антон Павлович посылает Алчевской билеты на спектакли Художественного театра.

Бунин пишет: «Привезены были четыре пьесы: «Чайка», «Дядя Ваня», «Одинокое» Гауптмана и «Гедда Габлер» Ибсена...»

Естественно, что разговор с Алчевской шел о пьесах Чехова, но он, со свойственной ему деликатностью, прислал билеты на все 4 спектакля.

Между тем в Ялте разгоралось пламя той незабываемой солнечной весны.

Бунин приводит воспоминания Станиславского об этих днях.

«Приезжали и уезжали. Кончался один завтрак, подавался другой. Марья Павловна разрывалась на части, а Ольга Леонардовна, как верная подруга или как будущая хозяйка дома, с засученными рукавами деятельно помогала по хозяйству.

В одном углу литературный спор, в саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит камень, в третьей кучке И. А. Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит и Антон Павлович и хохочет, примирая от смеха. Никто так не умел смешить Антона Павловича, как И. А. Бунин, когда он был в хорошем настроении.

Горький со своими рассказами о скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами, Москвин с меткими остротами — все это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников. У всех рождалась мысль, что все должны собираться в Ялте, говорили даже об устройстве квартир для этого. Словом — весна, море, веселье, молодость, поэзия, искусство — вот атмосфера, в которой мы в то время находились».

Поистине замечательной фразой венчает Бунин эти воспоминания:

«Мало ли о чем мечтают русские люди, когда им хорошо, — прибавлю я».

В такой обстановке, точнее, в ее предвестии, произошло знакомство Алчевской с Чеховым. Всего три письма!

Но как все сделалось ясно!.. И теперь мне стало казаться, что все было ясно сначала. Наверное, так бывает всегда, когда все пустые места заливаются, как формы, смыслом уже незыблемым.

Дальнейшее неизвестно. Удалось ли Алчевской познакомиться с Горьким? Получил ли Горький ее книги?.. Виделась ли в театре Алчевская с Чеховым, высказала ли ему свои впечатления от спектаклей?..

Я не сразу обратила внимание на серый конверт. Он лежал в той же папке, что и письма Алчевской, но выглядел столь буднично, что я отнесла его к библиотечным бумагам. Прочтя, по счастью, одну из этих бумаг, с перечислением содержимого синей папки, я открыла конверт и достала визитную карточку. На лицевой ее стороне значилось: «Христина Даниловна Алчевская». На обороте визитной карточки поспешным мелким почерком было написано:

«Глубокоуважаемый Антон Павлович!

В понедельник, рано утром, мы уезжаем, а потому убедительно прошу возвратить мне мою рукопись.

Х. Алчевская»¹.

Вот так. Категорически, чуть раздраженно. В этом «убедительно прошу» слышится напоминание о том, что прошло куда больше «недельки», о которой просил Чехов, оставляя рецензии у себя.

Видимо, очень уж не хотелось Антону Павловичу расставаться с этими отзывами. А человек он был, как известно, чрезвычайно обязательный. И аккуратный.

— Вы обратили внимание: на письмах Алчевской есть маленькие пометки — 1, 2, 3... — спросила Алевтина Павловна Кузичева, заведующая отделом рукописей, с которой я познакомилась спустя несколько дней. — Это сделано рукой самого Чехова...

И я тут же вспомнила эти цифры сверху каждого письма, обозначившие порядок их получения. На визитной карточке тоже стояла маленькая цифра — 4.

Можно строить догадки, почему Христина Даниловна

¹ Публикуется впервые.

не пишет о знакомстве с Чеховым в своей книге «Передуманное и пережитое».

Вряд ли потому, что она обиделась на Чехова, не возвратившего рецензии в обещанный срок. Скорей она считала свое знакомство с ним, в отличие от других, слишком непродолжительным.

На этом можно и кончить. Мне остается лишь попросить читателя заново перечесть письмо Христины Даниловны Алчевской к ее подруге, учительнице воскресной школы Марье Николаевне Салтыковой, — в своих воспоминаниях Алчевская называет ее сокращенно М. Н. С.

И еще. Заглянув в Большую Советскую Энциклопедию — новое издание, — я Алчевской Христины Даниловны в ней не нашла. Был лишь ее сын, Алчевский Иван Алексеевич, выдающийся русский певец, драматический тенор, умерший в 1917 году в Баку. Я подумала, что тенору иногда легче уцелеть в памяти потомков.

Я смотрела на его фотографию, помещенную в энциклопедии, и утешалась тем, что внешне он очень похож на свою мать.



Горький, Шепкина-Куперник, Станиславский... Мы читаем мемуары и видим Чехова, каким он предстал глазам своих современников — друзей и родных. Но мемуары — по своему существу жанр субъективный. Между нами и Чеховым стоит непреходящий посредник — автор воспоминаний.

Короленко, Авилова, Иван Шеглов...

Листаю страницы — и вдруг в перекрещенном свете воспоминаний двух разных лиц об одном и том же отчетливо и близко вижу самого Антона Павловича, как бы раздвинувшего завесу мемуарного далёка...

Случилось маленькое, но драгоценное открытие, которым я и хочу поделиться.

Он лежал в клинике профессора Остроумова, в одиночной палате на втором этаже. За окном серенький, как воробышек, московский март, голые ветки тополей. Говорят, река уже тронулась.

Какая нелепость! Приехать в Москву, назначить свидание женщине и оказаться в клинике... Ему было так плохо, когда кровь пошла горлом, что в первые минуты он забыл обо всем. Забыл о том, что просил ее прийти в гостиницу. Он уже тогда чувствовал себя нехорошо, иначе не решился бы сделать ей такое предложение. И теперь, лежа в палате и глядя на голые ветки за окном, он думал: «Пришла бы она? А зашифрованная надпись на брелке, подаренном ему: «Если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми ее»? Что надпись. Слова. Слова, изображенные графически, и только...

Можно ли верить словам?

Она написала ему в Мелихово, что приедет в Москву в конце марта. Они условились о встрече. Он хотел увидеть ее. Он часто думал о ней, вспоминал пушистую тяжесть ее золотой косы, которую ощутил в своей руке в первый день знакомства. Он никогда не видел таких кос. Мог ли он подумать, что она замужем, что у нее ребенок...

«Девушка Флора» — так шутя представил ее хозяин дома, муж ее старшей сестры. Она была молода, румяна, очень стройна. Оказалось, что она пишет рассказы. Ему

нравились женщины, которые умели учить детей, писать рассказы, играть в театре. Она присылала свои рассказы ему. Он отвечал доброжелательно, иногда раздражался и тогда писал язвительно: «То, что есть Дуня, должно быть мужчиною. Сделайте Дуню офицером, что ли...» Она обижалась. И он утешал ее: «Уступаю, оставьте Дуню, но утрите ей слезы и велите попудриться».

Они встречались редко, порой случайно — в театре, на юбилее. Он всегда угадывал: сейчас, через минуту, он увидит ее, она где-то здесь, рядом... И она действительно появлялась. Встречи волновали. И было странное чувство: как будто они были близки когда-то, в какой-то другой жизни, и вновь нашли друг друга после долгой разлуки. Он сказал ей об этом. И они принялись фантазировать. Они были молоды. И любили друг друга. И погибли при кораблекрушении. «Мне давно что-то вспоминается», — сказала она смеясь.

Ей было тогда двадцать семь лет, ему — тридцать два года. Прошло пять лет. Переписка, случайные встречи, разномолвки, недомолвки.

Он все еще не знает, кто она ему и кем могла бы для него стать.

Эта встреча должна была все решить...

И вот он в клинике и даже не знает, получила ли она его записку, которую он послал ей из гостиницы с посыльным, «красной шапкой».

Пришла бы она?

Большая галка опускается на ветку тополя. Ветка долго раскачивается под ней. Должно быть, птице это приятно.

Его мир ограничен двумя окнами и деревьями — топодем и липой. На тополе уже позеленела кора, набухли почки. На пасху выглянут первые листья, зеленые и клейкие, потом землю усыпят красноватые, похожие на гусениц сережки, полетит белый пух... Липа еще не пробудилась. Пробудится ли она? Весной умирают старые деревья. Идешь по аллее, и вдруг мертвое дерево. Так было с той старой березой в Мелихове.

Осенью она сбросила в последний раз свою золотую листву и вскоре застыла по колено в снегу, ничем не отличаясь от своих подруг, соседних берез. И только весной, когда ожили и зашумели деревья, все увидели, что береза мертва и ни первый гром, ни голоса птиц не в силах ее разбудить.

Голова кружилась, и он закрыл глаза. Как он слаб! Не верится, что всего несколько дней, как он приехал в Москву из Мелихова. Сейчас ему трудно пошевелить рукой, поднять голову с подушки.

Он лежал с закрытыми глазами и потерял счет времени. Внезапно он очнулся от ощущения радости. Он это запомнил отчетливо. Он не мог перепутать. Все было именно в такой последовательности — сначала ощущение радости, а потом слова: «Антон Павлович! К вам пришли».

Ее не хотели впустить. Он настоял.

«Он лежал на спине, повернув лицо к двери», — вспоминала она потом.

«Как вы добры», — тихо сказал он.

Она села на стул около его кровати, взяла с тумбочки часы, — ей разрешили побыть около него три минуты. Он отнял часы и, задержав ее руку, спросил: «Скажите: вы пришли бы?»

«К вам? Но я была, дорогой мой...»

Она могла ничего больше не говорить. Могла уйти, не ожидая, пока пройдут отведенные для них минуты свидания.

Он был счастлив. И знал, что это счастье будет с ним и после, когда она уйдет и он останется один. «Но я была, дорогой мой...»

Ее голос, взгляд ее серых глаз, устремленных ему в лицо с тревогой и нежностью. Она была все так же хороша. Ее красота стала как-то значительней с годами. Слабый запах духов, смешанный с мартовской свежестью, наполнил комнату.

Он держал ее руку. «Так завтра непременно приходите опять. Я буду ждать. Придете?»

Она обещала. Ему хотелось озорничать. «Вы похожи на гастролершу!» — крикнул он ей вслед.

Она ушла, а он думал о ней, вспоминал их немногие встречи. В театре, когда она убежала, не досмотрев пьесы, не позволив ему проводить себя, и на его просьбу поговорить, встретиться — «это необходимо» — засмеялась как-то зло и мстительно. Она сердилась на него: он не ответил на посланный ею брелок. Но как ответить, если тебе предлагают жизнь — «приди и возьми ее». Благодарить? Смешно.

Нет, тут можно только одно — отдать свою жизнь взамен. «А в общем, — подумал он тогда, — это годится для пьесы...»

Вспоминал ее в маскарade, в костюме домино, который был ей коротковат. Она говорила ему «ты», как это диктует закон маскарada. Они пили шампанское в пустой ложе, и она призналась, что любила его. Слова лились свободно, легко. Слишком легко. Ему казалось, что она играет, — на женщин так действует эта смесь таинственности и откровенности, этот блеск, огни и, главное, музыка, музыка...

Он всегда боялся громких слов. Особенно в любви. Он считал, что любовь должна выражать себя как-то иначе. Может быть, молчанием. И он сказал, что она артистка, что он знает ее в драматических ролях. Он так долго и упорно дразнил ее, что она почти поверила, будто он обонялся. Он повторял: «Я не знаю тебя, маска». И она не поняла прямого и ясного смысла его слов: «Я не знаю, что ты за человек. Могу ли я верить тебе? Правда ли, что ты любила меня? Или еще любишь?» Она добивалась: за кого он принимает ее? Не за Яворскую ли?..

Да, она часто не понимала его или, казалось ему, не хотела понимать из какого-то женского упрямства.

Он лежал в одиночной палате, на спине, закрыв глаза, и как будто вслушивался в еще звучавший для него негромкий голос: «Но я была, дорогой мой». Так мог сказать только очень близкий, очень родной человек. Жена.

Он был возбужден. Его лихорадило. Ночью часто просыпался, и с каждым разом все светлей проступали высокие, разграфленные переплетами окна, все четче видны были деревья.

Рассвет был розовый, ослепительно яркий после долгих пасмурных дней. Солнце залило палату, жарко горели стекла, блестя влажные ветки тополя. Где-то рядом, видимо на карнизе, чирикали воробьи, радуясь теплу. К полудню солнце ушло из палаты, но во всю силу сияло за окнами, золотило стволы.

Он попросил зеркальце — хотел причесаться, но сестра сама причесала его, сказав, что доктор запретил ему шевелиться.

— Какие мягкие волосы! — сказала сестра. — Сразу видно: добрый человек.

Они и правда были у него мягкие, тонкие. Распадались, образуя пробор.

Он поймал зеркальцем солнечного зайчика и пустил его по стене, по потолку.

— Ну, ну, забавляйтесь, — сказала сестра. — Это вам можно.

«Зайчик», живая капля солнца, прыгая по стене, забирался на потолок, исчезал и вновь появлялся. Неужели отныне вся жизнь будет определена словами: «Это вам нельзя», «Это вам можно?»

Он смотрел на часы. Без четверти два. В два она обещала быть. Вот уже два без пяти. Два и одна минута. И еще пять минут...

Она пришла, опоздав на семь минут, и он упрекнул ее в неточности.

«Я ждал, ждал...»

Она принесла цветы, его любимые — ландыши и розы. Цветы в марте! Розы были еще в бутонах, ландыши только разворачивали свои зеленоватые бубенцы. Сестра поставила их в вазочку с водой. У нее был недовольный вид: душистые цветы в палате легочного больного?

Они остались вдвоем. Он невнимательно проглядел рукописи, которые она принесла по его просьбе. Ему жаль было отрывать время у недолгого их свидания. Сейчас она была для него всем: голубизной и щебетом птиц, обещанием жизни, его надеждой...

Спустя годы она вспоминала:

«— Когда вы едете? — спросил он.

— Сегодня.

Нет! Останьтесь еще на день. Придите ко мне завтра, прошу вас. Я прошу!»

Она показала ему телеграммы. Все три. Ее ждали дома, в Петербурге. Телеграммы были нервные. В их настойчивости сквозило нетерпение, каприз.

Когда она ушла, он думал: зачем она показала мне телеграммы? Чтобы оправдать свой отъезд? Доказать лишний раз, как ее любят и ждут там, как она там необходима?..

Она боролась с собой. Она произнесла «не могу» почти шепотом, не глядя ему в глаза. А ведь он просил об одном дне! Только об одном!

Что ж, он оказался прав. Громкие фразы годятся больше для пьесы, чем для живой жизни.

Она ушла, и двери тихо захлопнулись за ней. Остались цветы в вазочке. Свежо пахли ландыши, распускались розы. Было грустно на душе. Что-то кончилось в его жизни. Он знал, что больше никогда не назначит ей свидания и та, несостоявшаяся встреча в Большой Московской никогда не состоится. Границы ее чувства к нему определились беспощадно и отчетливо.

Цветы стояли долго. Розы распустились все до одной. Сначала сестра аккуратно меняла цветам воду, а потом он сам, когда ему разрешили вставать. Десять дней спустя, когда его приятель драматург Иван Шеглов пришел проведать его, цветы были еще хороши.

Впоследствии Жан — так называл он в шутку Шеглова — напишет в своих воспоминаниях:

«— А это у вас от кого? — кивнул я на букет, украшавший больничный столик. — Наверно, какая-нибудь московская поклонница?

— И не угадали: не поклонница, а поклонник... Да еще вдобавок московский богатей, миллионер.

Чехов помолчал и горько усмехнулся:

— Небось и букет преподнес, и целый короб всяких комплиментов, а попроси у этого самого поклонника «десятку» взаймы — ведь не даст! Будто не знаю я их... этих поклонников!..

Мы оба помолчали.

— А знаете ли, кто у меня вчера здесь был? — неожиданно вставил Чехов. — Вот сидел на этом самом месте, где вы теперь сидите.

— Не догадываюсь.

— Лев Толстой!»

На самом деле Лев Николаевич был здесь уже давно, больше недели тому назад.

Заговорили о Толстом, о поездке на кумыс. Антон Павлович проводил Шеглова по больничному коридору, до дверей. Возвращаясь в палату, думал: «Славный он мальчик, Жанчик. Но зачем он пишет пьесы? Писал бы рассказы. Впрочем, пьесы — штука менее тонкая, а Жанчик в тонкостях не мастак».

Как-то Жан сделал замечание по поводу «Степи», того места, где мальчик Егорушка вспоминает покойную бабушку: «До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики...» «До своей смерти она была жива...» Жан был очень горд, что отыскал эту «стилистическую небрежность». Не хотелось спорить, говорить об особенностях детского восприятия. Проще сделать вид, что согласился. Кажется, Жан и теперь поверил, что цветы преподнес миллионер...

Он вспомнил свой экспромт в защиту ее цветов и усмехнулся. Почему он придумал миллионера? Но разве не была она миллионером в тот день?..

Он чувствовал себя лучше. Ему разрешили гулять, и он

ходил в Новодевичий монастырь, бродил по аллеям, среди могил, вдоль красных кирпичных стен, слушал пение птиц. Иногда останавливался и, задрвав голову, смотрел на зеленый пух листвы, на горящие на солнце золотые купола.

Улыбался и хмурился...

В конце апреля он был уже у себя в Мелихове. В августе он написал рассказ «О любви».

Она узнала себя в героине и прислала ему письмо, резкое и несправедливое.

«Писатель, как пчела, берет мед откуда придется...»

Он читал письмо с удивлением. Еще не утихла боль. Он писал для нее. Она не поняла, не отозвалась на слова признания: «Я чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга...»

Он ответил сухо. Письмо начал без обращения. Он писал, что поедет в Крым, потом на Кавказ. «Значит, в Петербург не попаду». И, в ответ на ее упрек, о цветах и пчелах: «Вы несправедливо судите о пчелах. Пчела сначала видит яркие, красивые цветы, а потом уже берет мед. Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в сфере своих образов и фантазий, — могу сказать одно: чужая душа потемки.

Погода скверная. Холодно, сыро...

Будьте здоровы и счастливы».

Спустя два года появился в печати рассказ «Дама с собачкой» — один из лучших в мире рассказов о любви.

Свидания в гостинице, посыльный — «красная шапка», бегство из театра посреди спектакля. И опять — «они любили друг друга как очень близкие, родные люди...».

И женщина — молодая и не защищенная рассудком, не избежавшая трудной любви, любви, где страдание и счастье так перемешаны, что нельзя понять, где кончается одно и начинается другое.

Это был рассказ о том, чего не было и что могло быть между ними. Но она должна была быть другой.

И он написал ее, другую.

О такой женщине он мечтал, на такую любовь — сильную и горькую — был готов душой.

Лидия Алексеевна Авилова прочитала рассказ и в этой женщине себя не узнала.

ПЕРЕПОЛНЕННАЯ ЧАША



В рассказе Чехова «Дама с собачкой» я очень люблю то место, где Гуров и Анна Сергеевна приезжают в Ореанду.

Они сидели на скамье, смотрели на море и молчали.

«Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет».

Читаю и всякий раз испытываю волнение.

Может быть, потому, что это состояние пережито не только Гуровым, но прежде всего самим Чеховым. Это шемящее «когда нас не будет», куда Чехов включил и себя и нас с вами... Оно так знакомо каждому, кто был у моря и слушал его равнодушный глухой шум.

Мир меняется, но человек сохраняет в себе главное — человеческое, и тончайшие движения его души неизменны.

Мы часто обращаемся мыслями к Чехову. К его книгам и самой личности. К Чехову, настолько не любившему наставительного тона, что многие современники не замечали идеи его произведения, считали, что она просто отсутствует, а его самого называли писателем без идеи и направления. Сейчас нам кажется это почти невероятным — читатель неизмеримо вырос и научился прочитывать идею, заложенную в образе, в самой ткани вещи.

И вот Чехов со своей нелюбовью к поучениям остается для нас очень близким. Не потому ли, что во всех его зрелых произведениях нет четко сформулированного вывода — *resumé*? Это разрешает каждому взглянуть на прочитанное по-своему.

«Там же все написано», — отвечал он Качалову на вопрос, как надо играть Тригорина. Так он мог ответить критику и читателю, буде они обратились бы к нему с вопросом о его авторском отношении к выведенному в рассказе.

Чехов не любил поучать в своих рассказах и повестях. Но в его письмах мы находим множество советов по самому разному поводу — советы житейские, медицинские, литературные. Впрочем, часто и они снабжены шуткой, оговоркой вроде: «Когда критикуешь чужое, чувствуешь себя генералом».

Выделяются его письма к братьям Александру и Ни-

колаю. Написанные в воспитательных целях, они представляют собой свод жизненных правил, коими, по мнению Антона Павловича, должен руководствоваться культурный человек. (Тут нельзя не вспомнить замечательное письмо Александра Сергеевича Пушкина, адресованное младшему брату Льву на пороге его самостоятельной жизни.) Письма Чехова братьям резки и серьезны. В них отчетливо выступает другой — мужественный и твердый Чехов. Этому Чехова знают меньше, чаще говорят о мягком, чуть ироничном, задумчивом. А на деле то был стержень, основа.

Именно этот мужественный Чехов пересек Россию, затеяв трудную поездку на каторжный в ту пору Сахалин.

Именно этот Чехов выходит из академии, узнав, что из нее исключен только что принятый Максим Горький.

Именно этот Чехов рвет с реакционным «Новым временем» и отходит от Суворина, с которым был связан годами дружбы.

«Воля чеховская была большая сила, — вспоминает его современник писатель Потапенко, — он берег ее и редко прибегал к ее содействию, и иногда ему доставляло удовольствие переживать колебания, даже быть слабым.

Но когда он находил, что необходимо призвать волю, — она являлась и никогда не обманывала его. Решить у него — значило сделать».

У Потапенко же находим:

«...все было пережито им — и большое и ничтожное. И если полноте переживаний часто мешали его осторожность и как бы боязнь взять на себя всю ответственность, то причиной этого был талант.

Но Чехов-человек страдал от этого».

Он страдал от болезни, одиночества. Часто от непонимания. Но научился скрывать это даже от самых близких. Таким он воспитал себя.

В письме брату Николаю Павловичу (Москва, 1886) он, перечисляя по пунктам свои требования к понятию воспитанный человек, пишет: «Они (воспитанные люди. — И. Г.) не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они чаще молчат».

Требования, предъявляемые другим, он прежде всего предъявлял себе самому. В силу этой причины многое в его жизни остается еще не раскрытым.

В том же письме он пишет брату, что воспитанным лю-

дям нужно от женщины: «Им, особенно художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть матерью...»

Замечено, что 1898 год был для Чехова необычайно плодотворным. До этого тоже было особенно «урожайное» для него время, тогда появились повесть «Степь», пьеса «Иванов» и несколько водевилей. Возможно, это было вызвано известным письмом Григоровича, в котором маститый писатель призвал Чехова бережней относиться к своему большому таланту.

И вот спустя десятилетие, в 1898 году, — снова душевный взлет. И как следствие — плеяда блестящих рассказов: «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Случай из практики», «По делам службы», «Душечка», «Новая дача».

В чем же причина такого нового творческого подъема? Объяснения этому нет до сих пор. Думаю, что причина в том высоком праздничном избытке сил, который дает человеку любовь.

Не случаен среди названных выше рассказ «О любви». Чеховым пройден путь от прелестной Мисюсь («Мисюсь, где ты?») до Анны Алексеевны Луганович. «Дама с собачкой» написана год спустя. От арифметики детской любви к геометрии любви поздней с ее треугольником.

На треугольнике построен рассказ «О любви» — чета Лугановичей и Алехин. В «Даме с собачкой» Чехов усложнил фигуру до многоугольника, введя в рисунок повествования и тех, кто стал невольным участником драмы.

В невозможности для героев рассказа достижения счастья ценой страдания других — детей в первую очередь — и кроется высокий нравственный потенциал.

Чехов показал историю любви двух людей, которые «любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья». «Сама судьба предназначила их друг для друга». Рассказ слишком известен, чтобы его пересказывать. Но нельзя удержаться еще от одной цитаты: «...точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках». В этой фразе тот же резкий Чехов, что и в письмах братьям. Чувствуется не грусть, а острая боль. О такой боли нельзя написать понаслышке, ее надо испытать самому.

Что побудило Чехова к написанию этого пронзительного рассказа? Были тут скрытые личные мотивы?

Полагаю, что были.

Оба рассказа — «О любви» и «Дама с собачкой» — возникли в конце десятилетия сложных отношений Антона Павловича Чехова с Лидией Алексеевной Авиловой.

...до сих пор многие думают, что Чехов никогда не испытал большого чувства. Так думал когда-то и я.

Теперь же твердо скажу: испытал! Испытал к Лидии Алексеевне Авиловой.

И. А. Бунин

«Много, много у меня времени лежать думать и вспоминать. Ну, думы тяжелые и думать больно. А вспоминать можно с выбором, и часто от воспоминаний вся душа точно пронизывается солнцем и станет легкой и радостной».

Передо мной доселе неизвестные воспоминания и дневники Лидии Алексеевны Авиловой, впервые разобранный и приведенный в порядок ее архив.

Эту работу тщательно, с большой любовью выполнила внучка писательницы. Она же позвонила мне и любезно предложила познакомиться с рукописью. Я с радостью согласилась.

Почему же именно ко мне обратилась внучка Авиловой? И почему я с такой радостью приняла ее предложение?

У меня есть рассказ «Цветы девицы Флоры». Он был напечатан в сентябрьском номере журнала «Юность» за шестьдесят пятый год. Пожалуй, ни на одну свою вещь я не потратила столько нервной энергии. Началось с небольшого открытия.

В перекрещенном свете воспоминаний двух разных лиц об одном и том же я близко увидела Чехова, не заслоненного чужим ощущением.

Тут не было посредника. Не кто-то другой, а я сама стала невольным свидетелем того, как оберегал Чехов имя любимой женщины от посторонних вторжений. Рассказ мой был о взаимоотношениях Антона Павловича Чехова с писательницей Лидией Авиловой. О цветах, которые она принесла ему в больницу. О том, как Антон Павлович отвел подозрение Ивана Шеглова, посетившего его в боль-

нице неделей позже и увидевшего на столике у постели цветы, не была ли это поклонница...

Умер Иван Шеглов, принявший на веру слова Чехова, сказавшего, что цветы ему подарил миллионер. Умерла долго не печатавшая своих воспоминаний Лидия Алексеевна Авилова. Умерла за четыре года до выхода в свет первого издания книги «Чехов в воспоминаниях современников». Чеховеды отрицали серьезную роль Авиловой в жизни Чехова. В отличие от признанной Лики Мизиной — недолгого раннего увлечения и долгой сердечной дружбы — история отношений Чехова с Авиловой была подвергнута сомнению, и ее воспоминания в книге были даны с оговоркой.

Мой рассказ вызвал споры, недоверие — чеховедение, как и всякое «ведение», не любит пришельцев со стороны. В дальнейшем я нашла солидную поддержку: мнение об этом Иване Алексеевиче Бунина, хорошо знавшего Чехова и Авилову, принявшего ее воспоминания безоговорочно. Но в ту пору, когда рассказ был написан, его мнение не было еще у нас широко известно.

Девятитомное собрание его сочинений, где Бунин так высоко отзывается о Лидии Алексеевне, молодой женщине с ясным лицом, вышло двумя годами позднее.

Потом я поняла, почему мне довелось сделать это открытие — маленькое, но ценное. Я не была ч е л о в е к о м с о с т о р о н ы — слишком давно меня занимало все, что касалось Чехова. Этот интерес усилился, когда я стала писать рассказы. Помню, работавший в ту пору в «Новом мире» Сергей Антонов сказал об одном писателе, что у него чувствуется школа Чехова и Бунина.

Чехова и Бунина... Многие объединяли этих писателей при жизни и долго потом. И лишь не скоро поняли, что это две совсем разные, хотя и близкие школы. Но давно почувствовала это Авилова: «...Чехов давал мне советы, которые тогда я плохо понимала: «Будьте холодны, когда пишете». Лучше всего я поняла этот холод не на Чехове, а на Бунине... он в совершенстве владеет секретом писать холодно, а вызывать самое сильное впечатление. Я бы сказала, что он открыл новую школу, и очень хорошо взялась бы доказать это...» Впервые же о возникновении школы Бунина она говорит еще в пятнадцатом году.

Редакция «Юности» проявила разумную осторожность — три известных литературоведа решали вопрос,

можно ли напечатать мой рассказ. Двое из них высказались в мою пользу, и «Цветы девицы Флоры» появились в журнале.

Пятнадцать лет отделяет меня от первого прикосновения к этой теме. Отделяет мой собственный жизненный опыт и опыт литературный, за эти годы много написано, еще более перечитано и передумано. И вот — биографическая рукопись Авиловой, иногда плавные, цельные, порой отрывочные записи, ее дневники. Написанные для себя, для взрослых уже детей в надежде, что когда-нибудь прочтут — потом, когда ее не будет на свете, — эти записи создали для меня заново портрет пленительной женщины. Женщины, которую любил Чехов.

Кто была Беатриче?

Кого сохранил для нас Леонардо в образе Моны Лизы?

Какой была она, вдохновившая Чехова на рассказы о любви?..

Кроме высокой оценки Бунина, она не удостоилась до сей поры серьезного внимания. В сущности, мы долго знали о ней лишь то, что о себе сообщила она сама. И это принято было как истина. Она же в свойственной ей манере всегда смотрит на себя как бы чуть свысока. Слегка себя высмеивая, над собой подтрунивая. Как бы памятуя строки чеховского письма: «Горды только индюки». Вот образцы того, как говорит она о себе:

«В гимназии я училась плохо»;

«...была неуверенность в себе, доходящая до уверенности, что я непременно скажу или сделаю глупость»;

«...никогда я не была глупей, чем когда я говорила с умными людьми».

Говоря о своем первом рассказе, помещенном в «Петербургской газете», которую издавал муж ее сестры Н. С. Худеков, добавляет: «Плохой рассказ». И тут же: «...это был не дебют, а просто родственная любезность».

«За свой первый рассказ я получила двадцать рублей и подарила их Мише¹, чтобы он купил себе черниль-

ницу. Но он не купил. Сказал, что за двадцать рублей чернильницы дрянн, и продолжал писать из пузырька...»

Она себе мало нравится. Но когда хвалят то, что она пишет, когда Максим Горький обращает на нее внимание, она готова поверить словам мужа: «У тебя счастливая наружность, вот и все!»

Ее принимают в Союз взаимопомощи русских писателей. «...но мне не страшно было: уж очень я была безобидна, незначительна. И, конечно, меня приняли».

И в главке «Как я была писательницей»: «Я завела эти записки, в которых убожество моих умственных запасов оставляет мне такое крошечное поле действия...»

«Я была талантливое ничтожество».

Она беспощадна к себе, учиняя анализ прожитой жизни, оглядываясь на себя, оценивая свои поступки, как бы отвечая на чей-то вопрос — не на свой ли?.. Объясняя самой себе — себя.

Послушаем, что о ней говорят другие:

«Я помню ее в юности. Вся бледная, с белыми волосами, с блестящими глазами... Молодая девушка с розами на щеках» (И. А. Бунин).

«В ней все было очаровательно: голос, некоторая застенчивость, взгляд чудесных серо-голубых глаз...» (он же).

«Я любил с ней разговаривать как с редкой женщиной, в ней было много юмора даже над самой собой, суждения ее были умны, в людях она разбиралась хорошо. И при всем этом она была очень застенчива, легко растеривалась, краснела...» (он же).

«Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочел Ваши «Забутые письма». Это хорошая, изящная, умная вещь. Это маленькая, кудря вешница, но в ней пропасть искусства и таланта...» (А. П. Чехов).

«Авилова хорошие темы находит» (Л. Н. Толстой).

«Авилова пишет лучше Андреева. Она выбирает старые нравственные темы и пишет на них» (он же).

Читая сейчас записи Лидии Алексеевны, я часто вспоминала фразу Чехова из письма, ей адресованного: «Верьте, Вы строги не по заслугам».

Так он писал ей, защищаясь. Не по заслугам строга она и к себе.

¹ Муж Лидии Алексеевны Михаил Федорович Авилов.

...Вскоре после того, как «Цветы девицы Флоры» были опубликованы, в редакцию журнала стали приходить письма. Два из них я здесь приведу.

Первое меня чрезвычайно обрадовало:

«Дорогая Инна Гофф!

Извините, не знаю Вашего отчества. Прочла Ваш... рассказ в «Юности», посвященный отношениям, вернее, эпизоду в отношениях моей бабушки Лидии Алексеевны Авиловой с Антоном Павловичем Чеховым, и захотелось поблагодарить Вас за ту лиричность и нежность в интерпретации этого эпизода, просто за то, что Вы ее полюбили и как-то по-своему, но очень трогательно осмыслили и захотели осмыслить их взаимоотношения.

...Вы, верно... знаете, что не все поверили бабушкиным воспоминаниям. Тем более мне было приятно прочесть Ваш рассказ, почувствовать тепло и взволнованность в Ваших строках... Если Вас интересуют потомки...»

Далее следовало приглашение. Было указано два телефона, домашний и служебный — Института русского языка Академии наук СССР.

И стояла подпись — Н. Авилова.

Второе письмо меня озадачило:

«Главному редактору журнала «Юность» тов. Полевому.

Уважаемый Борис Николаевич!

В номере девять журнала «Юность» за сентябрь 1965 года я прочел статью Инны Гофф «Цветы девицы Флоры».

Не откажите в любезности сообщить Вашим читателям, что сестра Антона Павловича Мария Павловна при жизни не один раз говорила мне, что со стороны Чехова никогда не было никаких серьезных чувств к Л. А. Авиловой, что она желаемое приняла за действительность и в изложении ряда фактов не была точна.

С уважением С. М. Чехов.

6 октября 1965 г.»

Вот таких два письма в ответ на мою «статью». Борьба не утихла. Впрочем, я поняла это, натолкнувшись на отзыв одного из трех рецензентов, решавших судьбу моего рассказа, — сторонника версии Марии Павловны.

А я-то обрадовалась, узнав, что И. А. Бунин высоко оценил прочитанные им воспоминания Авиловой.

Я прочла это, когда рассказ был уже написан, и решила, что ссылка на Бунина обескуражит каждого. Но, оказалось, этого недостаточно. Слишком велик авторитет Марии Павловны Чеховой. Да и как ей не быть авторитетом, сестре и другу, столько сделавшей для Антона Павловича при его жизни и еще более после его смерти. Разве сама я не подчинилась в свое время ее влиянию, не подвергла сомнению рассказанное Авиловой, прочтя в предисловии к сборнику воспоминаний о Чехове: «В особой оговорке нуждаются мемуары писательницы Авиловой... Ее воспоминания дают ряд достоверных сведений, в частности о той среде, которая окружала Чехова во время его приездов в Петербург, о первых постановках его пьес в петербургских театрах, уточняют некоторые данные биографии писателя. При всем этом нельзя не отметить чрезмерную субъективность и односторонность автора в освещении материала, связанного с Чеховым. Едва ли также можно считать вполне достоверным, что свои отношения к Авиловой Чехов выразил в рассказе «О любви»...»

Второе издание воспоминаний современников о Чехове вышло в свет в пятьдесят четвертом году, автор предисловия повторяет уже знакомую нам оценку Марии Павловны. Его не вполне ловкая фраза — либо отношение к Авиловой, либо отношения с Авиловой — погасила тогда мой интерес к напечатанному, я проглядела эти страницы бегло, с раздражением: как можно, думала я, сочинять, фантазировать, придумывать свой роман с Чеховым!..

Я многие годы не возвращалась к мемуарам Авиловой, помещенным в книгу, пролистывала их, пока однажды в воспоминаниях Ивана Шеглова не обнаружила ее цветы. Шеглов, посетивший Чехова в больнице, прилежно передает разговор о цветах, свои вопросы и ответы Антона Павловича:

«...и вазочка с букетом живых цветов.

— А это у вас от кого? — кивнул я на букет, украшавший больничный столик. — Наверное, какая-нибудь московская поклонница?»

Я замерла, прочтя этот вопрос.

«— И не угадали: не поклонница, а поклонник. Да еще вдобавок московский богатей, миллионер. — Чехов помолчал и горько усмехнулся: — Небось и букет преподнес, и короб всяких комплиментов, а попроси у этого самого

поклонника «десятку» займы — ведь не даст! Знаю я их, этих поклонников!

Мы оба помолчали.

— А знаете ли, кто у меня вчера здесь был? — неожиданно и с видимым удовольствием вставил Чехов. — Вот сидел на этом самом месте, где вы теперь сидите.

— Не догадываюсь.

— Лев Толстой!

Между тем Лев Толстой посетил Антона Павловича 28 марта, Шеглов же — 5 апреля.

Чехов уводит от разговора о цветах.

Но Иван Шеглов, приняв на веру слова Чехова о миллионере, делает вывод: среди поклонников не нашлось ни единого, который догадался бы «позабыть» на больничном чеховском столике... чек на необходимую сумму для поездки за границу.

В рассказе «Цветы девицы Флоры» приведен этот эпизод — ключ к моей догадке о глубоком чувстве, которое приходилось скрывать.

В редакции журнала письмо внучатого племянника Чехова передали мне с просьбой ему ответить. Сохранилась копия моего ответа. Приведу его здесь полностью, так как это ответ не только ему:

«Уважаемый Сергей Михайлович!

Борис Николаевичи Полевой передал мне Ваше письмо по поводу моего рассказа (именно рассказа, а не «статьи», как пишете Вы) «Цветы девицы Флоры». Это разница существенная, так как статья требует большей аргументации и тем отличается от лирического рассказа, навеянного мыслями о Чехове и открытиями, пусть очень скромными, пристального читателя материалов «вокруг Чехова».

В свою очередь, хочу Вам сообщить, что эти материалы показывают, что Антон Павлович не всегда был до конца открыт даже с Марией Павловной, которую очень любил. Возможно, эта любовь и оберегала покой сестры, пока это было возможно. То есть до того самого момента, когда истина уже непременно должна была обнаружиться. Вспомните столь неожиданную для самых близких женитьбу Антона Павловича, переживания Марии Павловны, вызванные ею.

Есть и другие примеры, говорящие о том, что личная, мужская жизнь Чехова не всегда была известна его сестре.

Ссылаться исключительно на мнение Марии Павловны в таких тонких и сложных вещах, как чувство, испытываемое одним человеком к другому, тем более мужчины к женщине, несколько странно.

Скрытность Антона Павловича оставила много белых пятен в его, казалось бы, так хорошо изученной биографии. Пытаться как-то восполнить эти пробелы, изучая творчество, архивы и переписку Чехова, дело, по-моему, нужное. Ибо «хрестоматийный глянec» сложившихся суждений часто мешает живому делу поисков в литературе».

Теперь, спустя пятнадцать лет, мое знакомство с Лидией Алексеевной Авиловой углубилось, стало ближе. Возникло такое чувство — близкого знакомства.

Это случилось одновременно с выходом в свет моей новой книги «Знакомые деревья». В ней я впервые поместила свой рассказ о цветах «девицы Флоры» — так когда-то шуточно представил ее Чехову муж сестры Авиловой Н. С. Худеков, издатель «Петербургской газеты».

В прежние мои сборники этот рассказ не ложился, тут же был особый раздел моих записок и размышлений и даже новая работа, тоже связанная с именем Чехова, — «Вчера он был у нас... (Вокруг одного письма)».

Звонок внучки Авиловой я вначале связала с выходом моей книги. Но это было только совпадение.

Папка с рукописью — «Авилова Лидия Алексеевна. Воспоминания, дневники». Более двухсот страниц искренней исповеди. Отсвет этих записок, прочитанных теперь впервые, лег и на мой давний рассказ, кое-что в нем осветив по-иному. В нем тоже, думала я теперь, она такая, какой сама представилась нам. Ее взгляд на себя и события по прошествии многих лет.

Взгляд из того далека, когда о себе уже можно писать отстранясь, не «я», а «она», что порой и делает Авилова в своих записках.

«Я добросовестно искренна», — говорит она, боясь допустить «вдохновение» в свои тетрадки. Прежде всего здесь она сама, вся ее трудная, долгая жизнь. И главное в этой жизни — две чаши весов, две ее большие любви.

Любовь к Чехову и любовь к своим детям. Была постоянная боль.

«Две натянутых, напряженных струны», — скажет она спустя годы.

И в другом месте:

«Вот взяла и перечла сегодня эту тетрадь. Когда я писала ее? Давно. Любовь. О любви. В семьдесят четыре года (скоро будет) я думаю о любви. И думаю я, что я ее никогда не знала.

«...Была ли у меня влюбленность в Чехова? Конечно, была, но такая подавленная, такая загнанная! Одна боль...» (запись в дневнике).

Ей семьдесят три года, и она называет влюбленностью то, что прежде звала любовью. Но слово боль выдает ее. Боль осталась.

Иван Алексеевич Бунин по прочтении ее мемуаров пишет:

«А ведь до сих пор многие думают, что Чехов никогда не испытал большого чувства. Так думал когда-то и я.

Теперь же твердо скажу: испытал! Испытал к Лидии Алексеевне Авиловой».

И далее: «Чувствую, что некоторые спросят: а можно ли всецело доверять ее воспоминаниям?»

Лидия Алексеевна была необыкновенно правдива. Она не скрывала даже тех отрицательных замечаний, которые делал Чехов по поводу ее писаний, как и замечаний о ней самой. Редкая женщина!»

И еще: «А сколько лет она молчала. Ни единым словом не намекнула при жизни (ведь я с ней встречался) о своей любви...»

Так писал Бунин в своей неоконченной книге «Чехов», отрывки из которой помещены в девятом томе собрания его сочинений.

Допускаю вопрос: а можно ли всецело доверять Бунину?

Почему Бунину, а не Марии Павловне?

Пусть ответит на этот вопрос сама Мария Павловна Чехова:

«Вы просили меня указать Вам кого-нибудь, кто бы мог написать биографию моего покойного брата, и, если Вы помните, я советовала Вам Ивана Алексеевича Бунина. И теперь советую его же и даже прошу. Лучше его никто не напишет, он очень хорошо знал покойного, понимал его и может беспристрастно к этому делу приступить...» (письмо М. П. Чеховой П. В. Быкову от 10 мая 1911 года).

Последуем совету Марии Павловны и поверим И. А. Бунину. Ведь все дело именно в этом — беспристрастно.

Среди заметок Бунина об Авиловой есть одна фраза недописанная, прерванная на середине: «А вся жизнь ее поистине глубокой любви к Чехову, трагической даже и по...»

На этом месте отвлекли, прервали, так и осталось. Рискну продолжить: «...трагической даже и после смерти Чехова, когда ее имя было отторгнуто от него, вытеснено другими именами, насильственно утвержденными...»

Да простит меня Иван Алексеевич Бунин, если намекался сказать другое.

Но это — напрашивается.

«Разве можно после опубликования воспоминаний Авиловой серьезно говорить о Лике Мизиновой» (И. А. Бунин).

Бунин судит беспристрастно.

Он был частым гостем Марии Павловны, Ма-Па, как он звал ее дружески, и после кончины Антона Павловича. Они много, подолгу беседовали. Результатом собственных впечатлений и этих бесед с его сестрой явились воспоминания Бунина о Чехове, напечатанные в сборнике товарищества «Знание» за 1904 год (вышел в девятьсот пятом году). Много лет спустя Бунин сделал на этом сборнике надпись, перечеркнув то, что писал когда-то: «Написано сгоряча, плохо и кое-где совсем неверно благодаря Марье Павловне, давшей мне, по мещанской стыдливости, это неверное».

Замечание не вполне справедливо. Беседуя с ним, Мария Павловна не догадывалась о существовании у брата другой, скрытой жизни. Она искренне за я в и л а Лику Мизинову на роль лирической героини в жизни брата. Лика была ее подругой, подругой всей чеховской семьи: «привели Лику», «приехала Лика» — то и дело встречаем в письмах Чехова.

«Кукуруза души моей», «канталупа» — таковы нежные прозвища, которыми Чехов награждает «милую Лику», «Ликусю».

С января девятисто пятого года письма Чехова Лидии Стахивне становятся суше, деловитей, перерывы между письмами все длиннее. В них все чаще постскриптумы:

«Маша просит, чтобы Вы привезли 2 пары перчаток и духов» (январь 1895 года);

«Милая Лика, так как Вы приедете к нам встречать Новый год, то позвольте дать Вам поручение: на Тверской у Андреева купите четверть (бутыль) красного вина Кристи № 17 и привезите. Только не выпейте дорогой, прошу Вас. Если не привезете, то мы без вина!!!

Будьте здоровы, канталупа».

И внизу после даты: «За вино я отдам».

Он серьезно влюблен. Все нагнетается, потому что надо от всех скрывать. И это томит. Как позднее будет томить Гурова в «Даме с собачкой».

Чехов чуть не проговаривается в черновике письма жене Суворина, с которой в ту пору был близко дружен, объясняя ей свое бегство из Петербурга после провала «Чайки». Там есть строчка без всякой связи с другими: «Представьте, я чувствую, что я влюблен» (черновик письма от 19 октября 1896 года, Мелихово).

В беловом тексте эта строчка отсутствует.

Кто она, в любви к которой признается Чехов и сам же это вычеркивает? Не та ли, которой он обещал ответить со сцены на многое?

Та, что послала ему брелок с зашифрованными словами: «Если тебе понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее», — и сидела «в амфитеатре, с правого края, около двери» на первом ужасном представлении «Чайки». Вспыхивала и бледнела, ожидая обещанного им ответа.

Его отчаянье от провала спектакля усиливалось от ее присутствия в зале. Услышала она его? Поняла?..

Он ей ответил — на многое — устами Тригорина.

Это ей, пишущей рассказы, он исповедуется в том, что есть жизнь писателя, — «я должен писать, я должен писать, я должен...».

Устами Тригорина он обращается к ней: «...и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший?..»

Это ее, а не Нину Заречную благодарит он устами Тригорина за брелок: «Как грациозно! Прелестный подарок!»

И столько раз, почти назойливо, приносит сам начертанное на брелоке — чтобы она запомнила: «Страница 121, строки 11 и 12...»

И она запомнила. Сквозь хаос провала, сквозь возмущение и хохот, мешавшие слушать, для нее звучало: «Страница 121, строки 11 и 12...»

Вернувшись домой, она прочитала его ответ в томике своих рассказов: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается». Это не был ответ и а м н о г о е. Лишь на то, что он получил ее брелок и знал, с кем пьет шампанское в день маскарада в суворинской ложе.

Сосредоточась на этом, запоминая страницу и строчки, она упустила другое. Ответ Чехова был многозначен. Монолог Тригорина необычайно серьезен для самого Тригорина. Можно сказать, Тригорину поручено здесь высказать мысли Чехова. Ему же, Тригорину, поручено произнести слова благодарности и любви.

Вспомним еще несколько его реплик.

«Т р и г о р и н. ... (В раздумье.) Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так болезненно сжалось?»

Ответ на ее брелок. Ее — не Заречной.

«Т р и г о р и н. Такой любви я не испытал еще».

И дальше, отзываясь на слова Нины Заречной: «Мы увидимся в Москве», — Чехов как бы подсказывает ей их будущую встречу устами Тригорина: «Остановитесь в «Славянском базаре»... Дайте мне тотчас же знать».

Подсказана их неудачная встреча в Москве. От премьеры «Чайки» до того рокового марта менее полугодом. (Встреча в «Славянском базаре» состоялась позднее у Гурова и Анны Сергеевны в «Даме с собачкой».)

Он приехал в Москву, как они с ней условились, несмотря на то, что всю ночь не спал, — мешал сильный кашель. В письме к Лидии Алексеевне Авиловой он написал: «...задержать меня дома может только болезнь».

Но и болезнь не задержала его...

Он остановился в гостинице «Большая Московская», может быть, потому, что в «Славянском базаре» жил Суворин, а ему не хотелось лишних свидетелей. В тот же день он послал ей записку с посылным с просьбой прийти

к нему ввиду его нездоровья. Но когда обедал с Сувориным в «Эрмитаже», пошла кровь горлом...

Суворин увез его к себе, и его мучило, кроме всего прочего, еще и незнание, получила ли она его записку, придет ли к нему...

Пролежав в номере Суворина больше суток, он вернулся к себе в «Большую Московскую».

«Надо знать, что 24 утром, когда я еще спал, Чехов оделся, разбудил меня и сказал, что уходит к себе в отель. Как я ни уговаривал его остаться, он ссылаясь на то, что получено много писем, что со многими ему надо видиться и т. д.» (из дневника Суворина).

Вернувшись утром к себе в гостиницу, он не нашел ответа от той, к которой спешил.

Он не знал, что она уже была у него, отправив с тем же посыльным ответ, что будет вечером. В восемь часов. Не знал, что, не застав его, она ушла обиженная, оскорбленная. Ушла, отыскав среди прочей нераспечатанной почты свою записку и унеся с собой.

Большой и слабый, он снова шлет ей записку — сообщает о случившемся и кончает словами: «...пролежал более суток — и теперь дома, т. е. в Больш. моск. гостинице. Ваш А. Чехов».

Просмотрев корреспонденцию Чехова тех дней, легко заметить, что, кроме брата Ивана, которому он пишет: «Побывай у меня, кстати, есть дело», в д е т ь с я он ни с кем не собирался.

Ни с кем, кроме Авилевой.

Свидание их состоялось в больнице. Она была первой, кто посетил его. Пришла, и ее пропустили к нему — единственную. По его настоянию.

(К нему не пускали тогда никого, был назначен строгий режим. Нужен был пропуск даже для членов семьи — его брат Иван Павлович приехал на Курский вокзал встретить ничего не знавшую Марию Павловну и передать ей карточку для посещения больного.)

Их встречу я описала в своем рассказе:

«Он лежал на спине, повернув лицо к двери», — вспоминала она потом.

«Как вы добры», — тихо сказал он.

Она села на стул около его кровати, взяла с тумбочки часы — ей разрешили пробыть около него три минуты. Он отнял часы и, задержав ее руку, спросил:

«— Скажите: вы пришли бы?»

— К вам? Но я была, дорогой мой...»

Она могла ничего больше не говорить. Могла уйти, не ожидая, пока пройдут отведенные для них минуты свидания.

Он был счастлив. И знал, что это счастье будет с ним и после, когда она уйдет и он останется один.

«Но я была, дорогой мой...»

Ее голос, взгляд ее серых глаз, устремленных ему в лицо с тревогой и нежностью...» (Фразы, взятые в кавычки, из воспоминаний Л. А. Авилевой.)

И обращенное к ней:

«Милая!»

Долгие-долгие годы это слово звучало в памяти лишь для нее одной.

«Я вас очень лю... благодарю», — написал он ей в записке: разговаривать запретили.

««Лю» он зачеркнул и улыбнулся», — вспоминает она.

Отношения с Марией Павловной сложились неблагоприятно для Авилевой.

После смерти Чехова, одиннадцать дней спустя со дня его похорон, Мария Павловна получила от Лидии Алексеевны письмо. Это письмо впервые приведено М. П. Чеховой в ее книге «Из далекого прошлого»:

«Я пишу т о л ь к о В а м, не для публики, даже не для окружающих Вас. У меня именно к Вам личное чувство, и я думаю о Вас, потому что больше не могу думать о том, кого нет... О, если бы мне знать, не рассердит ли Вас то, что я решилась написать Вам? Поймете ли, почему мне это так нужно было?»

Простите меня, пожалуйста, если я тревожу Ваше горе. Поверьте мне: если бы я сама не чувствовала этого горя, если бы я не тосковала, если бы я могла совладать с собой — я бы не считала себя вправе обратиться к Вам... У меня много его писем.

И мне некому, некому, кроме Вас, сказать, как это все ужасно, как это все трудно понять и, когда поймешь, как безотраднo, скучно жить.

...Я написала Вам, что у меня много его писем. Но я не знаю, как он относился ко мне. Мне это очень тяжело...»

Комментируя эти строки, Мария Павловна отмечает: «...она признается в том, что не знала (выде-

лено мной.— И. Г.), как же Антон Павлович к ней относится».

И делает вывод: «Из... воспоминаний вытекает, что Антон Павлович любил ее, что их отношения стояли на грани романа, что он сам говорил ей об этом. Э т о г о н е б ы л о» (выделено мной.— И. Г.).

Л. А. Авилова в своих записках:

«Мне часто вспоминается рассказ Чехова. Кажется, он называется «Шуточка»... Зимний день. Ветер. Ледяная гора. Молодой человек и молодая девушка катаются на санках. И вот каждый раз, как санки летят вниз, а ветер шумит в ушах, девушка слышит: «Я люблю вас, Надя».

Может быть, это только кажется?

Я летела с горы в Москве. Я летела и раньше. Я слышала не один раз: «Я люблю вас». Но проходило самое короткое время, и все становилось буднично, обычно, а письма Антона Павловича холодны и равнодушны...»

Как-то в ответ на ее упрек он сослался на то, что не умеет писать письма... Их набралось двенадцать томов, его писем, исполненных блеска, ума, юмора и печали.

Видимо, он хотел сказать, что не умеет писать письма такие, какие ей хочется получать. Чтобы в них все было сказано и в то же время не сказано ничего. В которых значительность прячется за будничными словами.

Такие письма, если их случалось ему писать, выходили у него холодными.

Он пишет ей даже сердито, и, когда говорит ей о своей любви, вспоминает она, «лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно, требовательно... точно он сердится, упрекает меня...».

То был не холод, а сдержанность.

«Я никогда не верила, что и он любит меня. Его радость при встречах я объясняла его характером и еще тем, что ему было весело со мной...»

Она сомневается. Не знает — верить ли?

Это случается и тогда, когда вместе прожита жизнь: любил он меня? Любила она меня?..

Лидия Алексеевна Авилова ищет поддержки, подтверждения у его сестры, но встречает полное неприятие.

Они впервые встретились, когда Мария Павловна решила издать эпистолярное наследие Чехова.

...В глаза мне бросилось одно несоответствие.

Мария Павловна пишет: «Лидия Алексеевна передала мне все письма (выделено мной.— И. Г.) к ней брата...»

В чеховском томе «Литературного наследия» читаем: «Когда М. П. Чехова готовила издание писем Чехова, Авилова передала ей копии (выделено мной.— И. Г.) всех имевшихся у нее писем — всех, кроме одного».

Так все же — письма или копии писем?

Мария Павловна придает подлиннику большое значение, о чем говорит в предисловии к своему изданию писем Чехова:

«Значительное большинство писем было доставлено мне в подлинниках: их текст был мною тщательно проверен и печатается с сохранением всех его особенностей. За точность тех немногих писем, которые были мне доставлены в копиях... ручаться не могу».

В новом полном собрании сочинений и писем А. П. Чехова в примечаниях к письмам, адресованным Авиловой, то и дело следует ссылка на издание М. П. Чеховой с указанием, «где опубликовано впервые... по автографу».

В отделе рукописей Ленинской библиотеки, по счастью, хранятся еще копии писем Чехова, лично снятые Марией Павловной с автографов, с ее пометками «с подлинника». Мне их показали.

И я окончательно убедилась, что Авилова передала М. П. Чеховой не копии, а самые письма Антона Павловича, что очень существенно. Тем более в случае Авиловой, когда все эти письма были потом утеряны — похищены.

«Лидия Алексеевна передала мне все (см. об этом дальше.— И. Г.) письма к ней брата и, в свою очередь, попросила меня вернуть ее письма к Антону Павловичу, что я и сделала (см. дальше.— И. Г.)... У нас произошли разногласия, и я с ней после того больше не виделась».

Л. А. Авилова (в своих записках):

«Несколько лет после смерти Антона Павловича его сестра, Мария Павловна, отдала мне мои письма к нему. Они были целы. «Очень аккуратно перевязаны ленточкой,— сказала мне М. П.,— лежали в его столе». Не перечитывая, я бросила их в печку. Я очень жалею, что это сделала. (...) На полях я видела какие-то отметки. Почему я не хотела обратить на них внимания? Конечно, потому что мне было больно...»

Больно... Боль.

После несбывшейся встречи и коротких свиданий в Остроумовской клинике Чехов пишет и печатает рассказ «О любви».

Но перед этим были ее «Забутые письма».

Авилова прислала Антону Павловичу на суд вырезки газет со своими рассказами. Из Мелихова их переслали ему в Ниццу. Среди них «Забутые письма», три письма от женского лица.

Женщина, потерявшая недавно мужа, пишет любимому человеку. Она пишет ему: «...жизнь без тебя, даже без вести о тебе, больше чем подвиг — это мученичество».

И: «Я счастлива, когда мне удается вызвать в памяти звук твоего голоса, впечатление твоего поцелуя на моих губах... Я думаю только о тебе».

И там же: «Я не могу припомнить, говорил ли ты мне когда-нибудь, что любишь меня? Мне так бы хотелось припомнить именно эту простую фразу... Ты говорил о том, что любовь все очищает и упрощает... Любовь...»

В последнем письме к героине приходит сомнение в том, что она любима, она переменяет интимное «ты» на «вы»: «В вашей веселой рассеянной жизни я была лишь развлечением — и только».

Л. А. Авилова в своих воспоминаниях «Чехов в моей жизни»:

«Зачем после свидания в клинике, когда он был «слаб и не владел собой», — а мне уже нельзя было не увериться, что он любит меня, — зачем мне надо было... послать «Забутые письма», полные страсти, любви и тоски?»

Разве он мог не понять, что это к нему зывали все эти чувства?..»

Чехов все понял. Услышал.

Из четырех ее рассказов он выделил этот.

«Это хорошая, умная, изящная вещь... в ней пропасть искусства и таланта».

Услышан — «тон, искреннее, почти страстное чувство».

Они не виделись с того марта. Теперь был ноябрь.

На брелок он ей ответил со сцены.

На этот рассказ ответит рассказом «О любви».

В июле он сообщает ей, что пишет — «уже написал, надо кончать» — рассказ для «Русской мысли».

В рассказе ответ на ее вопрос: «...говорил ли ты мне... что любишь меня?»

«...воспоминанье о стройной, белокурой женщине

оставалось во мне все дни, я не думал о ней, но точно тень ее лежала на моей душе».

«Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней».

«Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим».

(«Я вас очень лю... благодарю».)

«Я чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга»...

Она плакала. Слезы застилала глаза, мешали читать. Потом ее задела слова, что, «когда любишь... не нужно рассуждать вовсе».

Много раз она перечитывала рассказ, стараясь постичь его вывод.

«...когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле...»

«...как ненужно, мелко и обманчиво было то, что мешало нам любить», — говорил он устами Алехина.

Герой отбрасывал сложность жизни. Что «не нужно, мелко... обманчиво»? Ее семья? Ее дети?..

«Не ласково было мое письмо», — признается она.

Обида взаимна. Его не поняли. Признанья не услышали. Она сравнивает его с пчелой, которая берет мед «откуда придется». Вспомнила, должно быть, монолог Тригорина в «Чайке» — «для меда, который я отдаю кому-то в пространстве, я обираю пыль с лучших своих цветов...».

Он отвечает ей сдержанно:

«Вы не справедливо судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы, а потом уже берет мед».

Невозможность близости порождает раздражение. Человек от своей боли становится глухим, нечувствительным к боли другого.

Их любовь — цепь несовпадений, взаимонепониманий. Свой девятый вал они пережили в Остроумовской клинике. Ограниченное время, боязнь за его жизнь и его слабость освободили от всего, позволили обо всем забыть...

«Один день. Для меня...»

Но ее ждали дома. И третье свидание не состоялось.

В тридцать девятом году, четверть века спустя после первой — и единственной — встречи с Марией Павловной, Авилова написала ей:

«Думаю о Вас часто и много. И грустно мне, что я Вам чужда и, возможно, неприятна. Мы не сошлись с Вами когда-то в одном вопросе, и Вы огорчились тогда до слез. С тех пор я считала, что Вы не хотите больше иметь со мной никаких отношений. Даже не решилась зайти к Вам, когда была в Ялте... А я до сих пор горячо благодарна Вам за то, что Вы дали мне случай поцеловать руку Евгении Яковлевны¹».

О разногласиях с Авиловой в книге Марии Павловны сказано, что они произошли «по поводу публикаций некоторых писем». Какие же это письма, возможность публикации которых или ее невозможность могла огорчить до слез сестру Чехова?

Видимо, те, где выходит на поверхность глубоко скрытое существование личных отношений, — иного ответа найти нельзя.

М. П. Чехова предваряет первое собрание писем, изданных ею в 1912—1916 годах, своим предисловием. Она пишет: «...в некоторых письмах... вследствие слишком интимного характера сделаны пропуски, везде обозначенные точками».

Сверяя это издание с последующими, я нашла такие пропуски только в двух письмах Чехова Авиловой. В письме от 21 февраля 1892 года из текста исключены слова, прямо следующие за критическим разбором рассказов Авиловой:

«Однако я вижу, не удержался и отмстил Вам за то, что Вы обошлись со мной, как фрейлина екатерининских времен, т. е. не захотели, чтобы я не письменно, а словесно навел критику на Ваши рассказы».

Согласимся, что ничего сугубо интимного в этом нет. Есть лишь повторение — усиление упрека, — с него начинается письмо: «По-настоящему за то, что Вы не пожелали повидаться со мной... мне следовало разругать Ваш рассказ...»

Второе письмо со множеством отточий — от 19 марта 1892 года, но о нем речь впереди.

В этом собрании писем отсутствуют записки совсем невинного характера, как то письмецо от 15 февраля

¹ Мать А. П. Чехова.

1895 года после неудачного визита Чехова к Авиловой, когда их разговору наедине помешали случайные гости — и все было испорчено:

«Вы не правы, что я у Вас скучал бессовестно. Я не скучал, а был несколько подавлен, так как по лицу Вашему видел, что Вам надоели гости. Мне хотелось обедать у Вас, но вчера Вы не повторили приглашения и я вывел заключение опять-таки, что Вам надоели гости...»

Помешали... А он хотел увидаться с ней. Готовясь к поездке в Петербург, писал в канун Нового, 1895 года, брату Александру: «Если бываешь в «Петербургской газете», то узнай там адрес Лидии Алексеевны Авиловой, сестры м-ме Худековой. Опять-таки узнай вскользь, без разговоров».

Получив гранки включенных в первое издание чеховских писем, ей адресованных, Авилова пишет Марии Павловне:

«Я заметила, что некоторые письма пропущены... Вы не знаете, как я была бы благодарна Вам, если бы Вы отказались от печатанья моих писем! Я сама не знала, как мне будет это тяжело... Вы бы сняли с моей души тяжесть, если бы согласились исключить меня».

Письма, отсутствие которых заметила Лидия Алексеевна, получив корректуру, в издании не восстановлены, они были пропущены не случайно. Просьбу о том, чтобы снять еще одно письмо («Я его зачеркну. И пусть его как бы совсем не было») Мария Павловна охотно выполняет.

Это письмо от 21 октября 1898 года, второе после ее не л а с к о в о г о письма в ответ на рассказ «О любви». В нем слышна еще взаимная обида:

«Если в своем последнем письме я пожелал Вам счастья и здоровья, то не потому, что хотел прекратить нашу переписку или, чего боже упаси, избегаю Вас, а просто потому, что всегда хотел и хочу Вам счастья и здоровья».

...Простите, если в самом деле в моих последних письмах было что-то жесткое или неприятное. Я не хотел огорчать Вас, и если мои письма иногда не удаются, то это не по моей вине, это против воли».

Отброшено или сокращено то, что хранит следы глубоко личных отношений.

Л и ч н ы х, что отнюдь не всегда означает и н т и м н ы х.

Мария Павловна Чехова в любви к брату была ревни-

ва и нетерпима. Внезапная для близких женитьба Антона Павловича на Книппер — он обвенчался тайно от всей семьи, не открылся даже брату Ивану, которого видел в Москве в самый день венчания, — вызвала смятение и бурю ревности в душе сестры Маши.

«Милая мама, благословите, женюсь» — телеграмма из Москвы 25 мая 1901 года. И письмо Марии Павловны, будем считать его поздравительным:

«Так мне жутко, что ты вдруг женат! Мысли у меня толкают одна другую...

...факт, что ты повенчан, взбудоражил все мое существо, заставил думать и о тебе, и о себе, и о наших будущих с Олей отношениях... пока не могу себе отдать отчета в своем чувстве к ней...»

И через десять дней:

«...каюсь, что этим огорчила тебя и Олю. Если бы ты женился на другой, а не на Книппице, то, вероятно, я ничего не писала бы тебе, а уже ненавидела твою жену. Но тут совсем другое дело: твоя супруга была мне другом...»

«Была мне другом...» Говорится как о минувшем.

Какую же неприязнь должна была вызвать у нее Авилова, причастная к тайной жизни Антона Павловича, о котором, казалось Марии Павловне, было известно все.

Истолковав по-своему фразу авиловского письма: «Но я не знаю, как он относился ко мне», М. П. Чехова крепко держалась за свое толкование.

Отвергая скрытый смысл этих слов: «Не знаю, верить ли...»

Они встретились летом тридцать девятого года. Мария Павловна навестила Авилу по приезде в Москву. Лидия Алексеевна жила с сиротой-внуком, которого воспитала, в маленькой, узкой, похожей на шель комнате коммунальной квартиры. Внучка Авиловой вспоминает это жилье — «полутемную комнату на пятом этаже. Там с трудом удалось установить две кровати, диван, стол, шкаф и кухонный стол с керосинкой. Готовили в комнате...».

М. П. Чехова вспоминает:

«...я сама зашла к Авиловой на квартиру (следует адрес. — И. Г.). Я увидела старую, больную... женщину. На столе лежала груда окурков от папирос.

Свидание наше было грустным и — последним».

Лидии Алексеевне Авиловой было семьдесят пять лет. Мария Павловна была старше на год, но ни старой, ни больной себя не чувствовала.

Она пережила Л. А. Авилу на четырнадцать лет.

Цель этих записок — попытка портрета Лидии Авиловой.

Чтобы читатель мог составить свое суждение о ней как личности, не раз прибегну к помощи её дневников и записок.

Авилова по мужу, урожденная Страхова, она выросла в Москве на Плющихе, «очень широкой и тихой улице, по которой утром... пастух собирал и гнал стадо на Девичье поле».

Она пишет о Москве той поры — плеск воды в бочках в темноте зимнего утра. Жильцы, квартирующие в доме, — картежник и бедная русская швея, которую почему-то звали мадам Анго. Управляющий, которого дети — в семье Страховых их было шестеро — боялись и не любили. Когда его хватил удар, дворник таскал его на спине и он, сидя верхом, делал распоряжения.

Ее мать была дареной — многодетная бедная сестра подарила ее богатой, бездетной. В воспоминаниях ранней поры присутствуют две бабушки.

И менявшиеся гувернантки, и царившие в доме запреты — зимой детей не выпускали на улицу, не было даже зимней одежды.

Девиз «дареной» бабушки был: «Дети не должны предлагать вопросов».

Гимназия — «когда я стремилась стать гимназисткой, я представляла себе ученье как-то иначе, не так скучно...».

Ей было одиннадцать лет, когда она потеряла отца. Он умер внезапно, едва поднявшись после болезни и сидя под большими часами (эти большие, XVIII века часы английской работы и сейчас хранятся в семье Авиловых и идут исправно).

Городское детство, первая любовь — издали, к незнакомому гимназисту, — первое разочарование. И случайная встреча с ним, уже лысым господином, спустя жизнь, когда эта любовь определена ею как детская глупость.

Имя Клеветки Тульской губернии, поделенное его владельцем Кропоткиным на три части: одной третью вла-

дела Страховы,— было символом свободной, другой жизни.

Клеткам Авилова отводит много страниц. Они истине дышат счастьем.

«Кричат грачи, и ходит волнами весенний, деревенский упоительный воздух, и пахнет молодой крапивой и теплой землей... Все только в начале, все только в обещаниях: ...и в развернувшихся почках, и в немногих еще лютиках, и в порхающих бабочках... Приятен даже запах крапивы потому, что она пахнет тогда, когда других запахов в природе еще мало...»

Воспоминания состоят как бы из отдельных новелл, и те, что посвящены Клеткам, наиболее живописны. «Осень в деревне», «Дождливый день в Клетках», «Летний день в Клетках». Ее живопись импрессионистского толка:

«На столе осыпается букет роз. Пахнет розами, пахнет влагой, комната полна воздуха и свежести. Со ступенек балкона умильно улыбается, кланяется и пригибается Сергей. Он хочет, но не смеет войти и то кладет переднюю лапу на ступеньку, то снимает ее...»

Зеленой стеной стоит сад, и как темный тоннель — аллея. Розы розовые, розы красные, розы белые... тихо, тихо шумит дождь».

После смерти отца она оставалась в Клетках вдвоем с матерью до глубокой осени. По вечерам в пустой усадьбе они иногда играли в четыре руки.

«Мы берем по зажженной свече и идем отпирать дверь в залу... Там очень холодно. Большие окна не занавешены, и в них, а главное, в простеночных зеркалах гостиной мелькают отражения наших свечей. Почему-то это неприятно. От дыхания идет пар, и тени бегут и никнут по стенам... Один композитор сменяется другим... Я случайно оглядываюсь на стену... всегда на одном и том же месте, точно оно нумерованное или абонированное, сидит большой паук... Может быть, правда, что пауки любят музыку и готовы слушать ее часами?... Он оставался еще на своем месте, когда мы брали свечи и уходили, ломая на стенах тени и зажигая огни в зеркалах и черных окнах».

В двадцать лет она стала невестой.

«Это было самое счастливое время моей жизни. Когда я теперь вспоминаю о нем, меня удивляет, что можно такое продолжительное время (целую зиму и лето) быть такой непростительно счастливой.

Летом мы разошлись: я отказала ему».

Он был военным, на балах появлялся в ментике, опущенном соболями. Она отказала ему, потому что он был богат и безволен. Она хотела, чтобы он учился, поступил в университет. Он обещал. Но ничего не получалось.

Отказав ему, она тосковала.

Спустя тридцать семь лет он отыщет ее только затем, чтобы сказать, что всю жизнь любил ее одну...

Писать, вернее, сочинять она начала еще гимназисткой. На выпускном экзамене ее сочинение на вольную тему прочли вслух как лучшее. Об одаренной девушке рассказали В. А. Гольцеву, он пригласил ее к себе со всеми рукописями.

«Несколько раз прошла я мимо подъезда, прежде чем позвонить... Мне сказали, что Гольцев профессор, кроме того, он писатель: печатает свои произведения в «Русской мысли»...

Мы с ним сидели в маленьком зале, за столом, а кругом нас кишели дети. Может быть, их было и не так много, но они были до такой степени шумливы, подвижны и резвы, что заполняли собой все пространство.

Один мальчик все влезал на стул и рисовал у него что-то на лысине. Виктор Александрович только слабо отмахивался...»

Прочитавший эти строки навсегда запомнит Гольцева.

Любовь не требует пояснений. Ее брак с Авилковым в них нуждался. И она поясняет:

«Я решила, что выйду замуж «трезво». Мне жилось хорошо. Весело мне уже не было, но мне было интересно: я много писала...»

Они поселились в Петербурге. Ее муж — донской казак Михаил Федорович Авилков — был студенческим другом ее старшего брата, толстовца Федора Страхова. Она признается, что будущего мужа «не любила, побаивалась... и ценила высоко».

И еще о нем: «Любезность он считал глупостью и сам всегда был дерзок, иногда тонко и умно, но всегда очень обидно... Я знала, что он умный... очень здраво глядящий на жизнь и очень верный человек.

Ужасно я тогда ценила этот «здравый взгляд и верность»...»

...В Петербурге они поселились вблизи Худековых. В тесной квартирке издателя «Петербургской газеты» бывали известные писатели, здесь же устраивались юбилейные обеды и чествования. Жена Сергея Николаевича Худекова, Надежда Алексеевна, переводчица и театральный критик, познакомила свою сестру Лидию Авиллову со многими литераторами.

Тут бывали Минаев, Лейкин, Потапенко. Бывал Антон Павлович Чехов. Впечатления о встречах и беседах с ними вошли в главу рукописи Л. А. Авилловой, озаглавленную «Петербург».

Она, делавшая в литературе свои первые шаги, не прошла для этих людей незамеченной.

Какой была она в ту пору?

«... был высокий рост, прекрасная женственность, сложение, прекрасная русая коса...» (И. А. Бунин).

В ней смесь застенчивости и любопытства к жизни, смешливости и грусти. Она забывала о том, что красива, потому что в ней было еще столько другого — ум, юмор, талант, постоянное ощущение своего несовершенства...

«Писательница! Чтобы иметь право доверять своей мысли, надо суметь провести ее через мысль, уже выраженную раньше... И жизнь и мысль — это всегда продолжение жизни и мысли...»

«Я прочла несколько серьезных книг: Миля, Шопенгауэра. Будто поняла, но почему-то мне это ничего не прибавило.

И вот я поняла: я безнадежна, потому что я не мужчина, а насквозь, прямо неистово — женщина».

В женственности ее сила, но она словно не понимает этого. Впрочем, позже, рассказав о встрече с Максимом Горьким в конторе книгоиздательства «Знание», о том, как, прочтя ее книги, он пришел к ней потолковать с глазу на глаз, оговорив, чтобы им не мешали, она запишет:

«... почему Горький ко мне приехал? Почему он горячо и много говорил? Да просто потому, что я тогда была милой и понравилась ему. Будь я умней в десять раз, талантливей в сто крат, но будь у меня очки на носу и закрученная косичка на затылке, никаких Горьких у меня бы не бывало».

И там же: «Лев Николаевич, конечно, не замечал моей наружности... Он узнавал меня при встрече, справлялся о моих занятиях, считал мои рассказы «хорошими» и даже как-то прочел вслух один мой рассказ... но мне кажется...

что в этом случае, будь у меня очки и косичка, он отнесся бы ко мне еще лучше, еще внимательнее и теплее».

Попад в литературную среду, она вошла в нее легко и естественно.

Дом Худековых, литературный кружок Гнедича, завтраки у Тихонова — светлые, где «всегда не хватало не только вилок, рюмок, но и стульев».

И здесь литераторы — Голицын, Муравлин, Морозов («сидевший в крепости», поясняет она).

Знакомство с Маминным-Сибиряком, Станюковичем. Дружба с Боборыкиным, новым романом которого после смерти Тургенева открывался каждый январский номер «Вестника Европы» и о котором Бунин сказал: «... очень умный был человек, только большим талантом бог его не наделил...»

Эта среда мастерски изображена ею в записках. Законченные портреты и живые наброски, сделанные легким касанием пера.

И если в пейзаже она живописец-импрессионист, то в портрете скорее график.

В ее галерее Лев Николаевич Толстой, быстро сбегавший по ступенькам навстречу молодой девушке, пришедшей к нему за советом, как ей жить, чтобы стать полезной народу. Его отеческий, разочаровавший ее совет — найти дело в своей семье.

И Максим Горький, первая встреча его с молодой писательницей, сударыней, как он назвал ее в разговоре, и ей это не понравилось.

«— Да ведь черт вас знает! Ведь вы все-таки дама? Ведь так?»

— Ну ладно... Дама, — согласилась я, смеясь.

Здесь и данная без грима великая Савина, и гротесковый Н. А. Лейкин со своей простоватой, добродушной женой Прасковьей Никифоровной. Они жили на Петербургской стороне в собственном деревянном доме и держали лошадь.

«И вот почти каждый день Прасковья Никифоровна отправлялась на этой лошади отвозить в редакцию «статьи» Николая Александровича. Его сценки и рассказы она всегда называла «статьями».

Она пишет по ночам. Пишет много. Лидию Авиллову охотно печатают, хвалят. Ее имя встречаем в «Петербургской газете», в газете «Сын отечества», в «Ниве». Она издает свою первую книжку «СЧАСТЛИВЕЦ и другие

рассказы». «Книжонку», — уточняет она. Солидный журнал «Вестник Европы» принимает ее повесть «По совести». (В этой редакции с ней случился конфуз, о котором она потом рассказывала с присущим ей юмором: от смущения она не могла правильно назвать по имени редактора Михаила Матвеевича Стасюлевича и, путаясь, называла его то Стасюлей Матвеевичем, то Михаилом Стасюлеевичем.)

Этот случай стал широко известен благодаря ей самой — она была мастерица рассказывать о себе анекдоты.

Был любящий муж и маленький Левушка. Она жила в Петербурге, писала, печатала... А какие достались ей учителя!

Только вот писать приходилось по ночам.

Антон Павлович Чехов, с которым она встретилась у Худековых, подробно разбирает ее рассказы. Дает советы, которые она, по ее признанию, тогда «плохо понимала». Часто она обижалась, и он терпеливо разъяснял суть своих требований, потому что считал ее талантливой. Он часто призывает ее к холодности:

«... Когда хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее — это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуетя рельефнее.

А то у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте холоднее» (19 марта 1892 года, Мелихово).

Она старалась следовать его советам, но у нее получалось не холодно, а сухо.

«Пишет умственно-сухо», — сказал Лев Толстой о некоторых ее вещах. Он питал интерес к ее работе и один из рассказов, «Первое горе», включил в свой «Круг чтения» и написал ей по этому поводу:

«Я перечитал этот рассказ, и он мне понравился еще больше, чем прежде, то есть очень».

Внучка Авиловой подарила мне книжку, вышедшую в библиотеке книгоиздательства «Посредник» в 1906 году под номером шестьсот двенадцать. В тонкой серенькой обложке, на ней справа сверху автограф — Л. Авилова...

Книжка эта — книжечка — озаглавлена «ВЛАСТЬ и другие рассказы». Слово в л а с т ь в названии набрано очень крупно, остальное мелко, под ним. Пять небольших рассказов, они вместе заняли сорок шесть страниц.

Рассказы, знакомые мне по письмам к ней Чехова. Я прочла их впервые. И удивилась — ожидала другого. Более женского, что ли, письма.

Они написаны так, что не скажешь, будто их автор «прямо насквозь, неистово — женщина». Начиная с названий: «Власть», «Без привычки», «Судебный следователь»... Социальное начало отчетливо в каждом и несколько выпирает.

Чехов учил ее: «Вы мало отделяете, писательница же должна не писать, а вышивать на бумаге, чтобы труд был кропотливым, медлительным» (15 февраля 1895 года, Петербург).

А тут была канва — без вышивки.

Писать приходилось по ночам. Пока в доме спят. Спешила... День принадлежал не ей. Дети — их стало уже трое — часто болели. Вспыльчивый муж разбрасывал по полу неудавшиеся оладьи, говоря, что ими «только в собак швырять».

«Я должна была идти за покупками и брать... кофе на Морской, сметану на Садовой, табак на Невском, квас на Моховой...

И должна была делать соус к жаркому сама, а не поручать кухарке... И еще главной моей заботой были — двери. Двери должны были быть плотно закрыты весь день, чтобы из кухни не проникал чад, и настежь открыты вечером, чтобы воздух сравнялся...»

Уж какой там «кропотливый, медлительный» труд!

Говорят — тема носится в воздухе. Темы она находила, ловила их с быстротою ласточки, на лету. Иногда задолго до того, как их осваивали — обживали — другие.

В рецензии на повесть Лидии Авиловой «Наследники» Бунин (под псевдонимом И. Чубаров) пишет в «Литературном дневнике» «Южного обозрения» за 1898 год:

«В этой же книжке «Русского богатства» напечатана небольшая повесть молодой симпатичной писательницы Лидии Авиловой «Наследники»...»

Бунин излагает сюжет:

«Перед читателем — наследники отживающего и отжившего свой век барства, разоренного и придавленного бессилием и... безденежьем, цепляющегося за обломки широких и благородных в известном смысле традиций...

Второе поколение... Неутешительны отпрыски знатного барства, но еще неутешительнее отпрыски мелкого дворян-

ства... сопоставление сделано удачно, и итог подведен весьма смело. Надо приветствовать это произведение писательницы как значительный шаг вперед на литературном поприще» («Литературное наследство», т. 84).

В примечании сказано: «В повести Л. А. Авиловой Бунина привлекла проблема, в ней поставленная, — судьба русского помещичьего дворянства, истории вырождения которого был впоследствии посвящен «Суходол»...»

«Впоследствии»... И «Вишневый сад» тоже впоследствии, добавлю я.

Она была талантливей своих книг.

Что-то мешало бутону развернуться и благоухать в полную мощь. Потом обстоятельства изменились, и в воспоминаниях «Чехов в моей жизни», написанных «с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом» (оценка Бунина), она уже открыто являет нам свое лицо. Та же внутренняя раскованность и талант в ее записках и дневниках, включая последние годы жизни.

Какая в них свобода! Острый, я бы сказала, веселый ум.

Какая память чувств, давно пережитых!..

Несостоявшаяся судьба? Несостоявшаяся книга?

Но все же они состоялись — и судьба, и книга о ней...

В семнадцатом году в селе Глотова Орловской губернии племянник Бунина Н. А. Пушешников записал:

«Ночью гроза. Иван Алексеевич почему-то, когда распахивалось небо от молний, вспомнил писательницу Авилову».

Пушешников приводит слова Бунина об Авиловой:

«Она принадлежит к той породе людей, к которой относятся Тургеневы, Чеховы. Я говорю не о талантах, — конечно, она не отдала писательству своей жизни, она не сумела завязать тот крепкий узел, какой необходим писателю, она не сумела претерпеть все муки, связанные с искусством, но в ней есть та сложная, таинственная жизнь.

Она как переполненная чаша...» («Литературное наследство», т. 68).

В 1916 году она овдовела. Авилов поехал на Кавказ лечиться и внезапно умер вдали от дома. С опозданием,

уже посмертно, словно из небытия пришла его телеграмма: «Всегда один, ухода нет...»

Смерть мужа поразила ее, оставила чувство вины. В воспоминаниях и дневниках то и дело возникает человек, за которого она вышла когда-то замуж т р е з в о. И чувство ее вины перед мужем возникает тут же как его тень.

Чехов пишет Суворину, объясняя присущее Иванову, герою своей пьесы, ощущение вины: «Это чувство русское. Русский человек... всегда чувствует себя виноватым».

Виноваты были оба.

Авилов выбрал жену не по себе. Любил ее, страдал от нелюбви, которую она не умела скрыть. Ее талант, внешняя привлекательность, живость ума, все, что ценили в ней другие, были для него как бьющий в глаза яркий свет. Его защитой были скепсис и насмешка, мелочные придирки. Ее литературные опыты он считал пустячными. Он ревновал к ним, боясь, что они отвлекут ее от обязанностей жены и матери.

Вина Лидии Алексеевны Авиловой была в том, что она вышла замуж без любви — трезво. Она не ошиблась в «вычислениях на прочность» своего брака с Авиловым. Но в ее расчетах не было учтено главное — как эта прочность и преданность совместится с ее характером, живым и непосредственным.

Я пишу так много об Авилове, потому что без него портрет Лидии Алексеевны не будет полным. Потому что его присутствие, зримое или незримое, ощущалось ею везде, где возникал — пусть только в мыслях — Чехов.

Авилов был добр, когда не вмешивалась ревность. Зная, как дороги ей Клеветки, выкупает их на аукционе, после того как ее брат Павел — они были завещаны ему — успел их промотать.

И он же отказывает ей в деньгах на издание новой книги¹:

«Не принимай всерьез своих успехов. Ерунда! Будет только смешно, если ты о себеобразишь».

«Но мне не вообразить хотелось, — пишет она. — Мне так необходимо было что-то оформить из себя. Я... издала

¹ Первая была издана в кредит.

книгу. Она имела успех. Однако на вторую книгу Миша денег не захотел дать. Так и осталось. И я пропала. Безвозвратно».

В ее жизнь вошел Антон Павлович Чехов.

Это была их вторая встреча. В доме Худековых праздновали юбилей «Петербургской газеты». За столом они сидели рядом — Чехов отказался сесть ближе к «сонму светил» и остался возле нее «в уголке у окна».

В своих воспоминаниях «Чехов в моей жизни» она приводит слова Чехова, обращенные к ней в тот день:

«...не кажется вам, что, когда мы встретились с вами три года назад, мы... нашли друг друга после долгой разлуки?»

И он продолжал: «Такое чувство может быть только взаимно. Но я испытал его в первый раз и не мог забыть...»

Там был ее муж. Он ушел, не дождавшись конца торжества, — не мог вынести ее оживления. Он тогда уже догадался — Лида, его жена, полюбила Антона Павловича. Он понял это раньше, чем поняла она.

Что он мог выставить против такого соперника? Некачественную внешность, в которой «хороши были только глаза»? Свой несносный характер, от которого сам страдал?.. Ни «авторитет», ни «прочная верность», знал он, не победят ее чувства.

Только дети. На них он надеялся.

«Я была страстная мать, — запишет она потом. — Любила своих детей тревожно, болезненно».

Он это знал и пользовался их защитой.

Эти три якоря удержат ее, какая бы там в душе ни бушевала буря.

И удержали.

Дети объединяли двух несхожих, не созданных друг для друга людей в одно. Была семья.

«Любимая семья», как скажет она однажды Чехову в ответ на его, счастлива ли она...

И добавит: «Но разве любить — это значит быть счастливой?»

Смерть Чехова избавила Авилова от ревности и опасений.

Лидия Алексеевна Авилова в неопубликованном эпи-

логе воспоминаний «Чехов в моей жизни» рассказывает о том, как она узнала о смерти Антона Павловича.

Был июль. Они жили в Клеветках и ждали с вечерним поездом гостей. Когда их встретили и развели по комнатам, для них предназначенным, «Миша быстро подошел ко мне, взял меня под руку и вывел на неосвещенный балкон.

— Вот что... — сказал он резко, — вот что... Я требую, чтобы не было никаких истерик. Я требую. Слышите? Из газет известно, что второго в Баденвейлере скончался Чехов. Мы этой газеты еще не получили. Так вот... Веди себя прилично. Помни!

Он сейчас же быстро ушел».

Она описывает эту ночь, которую пережила. Короткую летнюю ночь без сна, с думами о том, кто сделал ее жизнь такой несчастно-счастливой...

Она не видела Антона Павловича пять лет. С той встречи, когда была в Москве проездом с детьми и он пришел на вокзал.

Он просил ее тогда задержаться на день, чтобы посмотреть с ним вместе «Чайку», — ее давали без декораций, для него одного.

«Мне очень хотелось бы, чтобы вы посмотрели «Чайку» вместе со мной».

Она отказала ему. Как тогда в больнице: «Останьтесь на день. Для меня».

Каждый раз отказывала ему в том, чего сама так сильно желала.

Отказывала ему — и себе.

С какой охотой она выполняла все его поручения. Разыскать в старых пыльных номерах «Петербургской газеты» его забытые ранние рассказы, необходимые ему в связи с марковским изданием. Найти людей, которые их переписут, и переслать это ему в Ялту.

«...после долгих размышлений я решил, что больше не к кому мне обратиться с этой просьбой».

Было время, когда он решил купить в Москве дом, и она пересмотрела их множество в поисках подходящего...

Он, не любивший никому докучать, легко обращался к ней — знал, что доставит ей этим радость. Она находит слово более сильное:

«Поработать для Чехова — какое счастье!..»

А тут — отказала.

Прощаясь, «он вдруг обернулся и взглянул на меня строго, холодно, почти сердито.

— Даже если заболите, не приеду,— сказал он.— Я хороший врач, но я потребовал бы очень дорого. Вам не по средствам. Значит, не увидимся».

Это была их последняя встреча. И его последняя просьба к ней.

Как же окончился тот день их последней встречи? День, когда, расставшись с ней навсегда, он смотрел «Чайку», которую играли для него одного?

Она пишет, вспоминая свои мысли в тот вечер: «Кончилось ли теперь представление «Чайки»?

Вероятно, кончилось. Вероятно, после представления ужинают. Станиславский, Немирович, исполнители. Красивые, изящные артистки... Антон Павлович доволен, счастлив, он уже, конечно, забыл, что рассердился на меня за мой отказ остаться».

А вот как вспоминает о том же вечере Книппер:

«По окончании четвертого акта, ожидая после зимнего успеха похвал автора, мы вдруг видим: Чехов, мягкий, деликатный Чехов, идет на сцену с часами в руках, бледный, серьезный, и очень решительно говорит, что все очень хорошо, но «пьесу мою я прошу кончать третьим актом, четвертый акт не позволю играть». Он был со многим несогласен, главное, с темпом, очень волновался и уверял, что этот акт не из его пьесы. (...) Владимир Иванович и Константин Сергеевич долго успокаивали его... Конечно, впоследствии забылось это впечатление, все поправилось, но всегда вспоминался этот случай, когда так решительно и необычно протестовал Чехов, когда ему было что-то действительно не по душе».

И вот он умер...

Она думала о нем всю ночь — без слез. Старалась привыкнуть к тому, что его нет. Вспоминала его письмо, последнее:

«Главное, будьте веселы...»

«Да, сам он когда-то был очень веселый. Я это помню. А потом гасла, гасла его веселость и грусть постепенно, но настойчиво овладевала его душой. Я знала, почему...»

И она приводит его слова из того же письма:

«Да и стоит ли она, жизнь, которую мы не знаем, тех мучительных размышлений...»

Она думала о нем как о писателе:

«Люди читали, похваливали... но не было таких, которые оглянулись бы на себя и сказали бы себе: «Стыдно! Да, действительно, стыдно так жить!» И его уже упрекали, что он не идейный писатель, что он не учит, не руководит, не дает идеала. Разве не пропадал даром весь его громадный талант? Разве он не чувствовал этого?»

Авилова дает блестящее, на мой взгляд, определение Антона Павловича Чехова, отличающее его от других:

«Он не давал формы, внешности, костюма. Вот поклонники учения Толстого сейчас же сшили себе «толстовку», широкие штаны, отказались от мяса, от воинской повинности и поэтому становились толстовцами и чувствовали себя гордо.

Еще раньше девушки стригли волосы, носили косоротки, не чистили ногтей и назывались нигилистками.

...требования Чехова были иные... надо было иначе чувствовать, иначе думать, чтобы не было «стыдно». И за это никаких знаков отличия, никакой этикетки...

Очень любили Чехова и замучили...»

И там же:

«Чехов умер,— напомнила я себе.— Умер.

Я приподнялась и сбллокотилась на подоконник. Уже совсем рассвело, и высоко в небе заалело облачко. И опять всплыло лицо Чехова на подушке.

— Милая,— услышала его голос. Резкой болью кольнуло в сердце, я невольно вскрикнула, и тогда слезы хлынули из глаз».

В год их последнего свидания — на вокзале — Чехов пишет «Даму с собачкой». Годом раньше написан рассказ «О любви».

Это развитие той же темы. Как бы диалогия.

Если прежде его чувство к Авиловой и самая тема владели им, то теперь он владеет ими — своим чувством и темой.

«Цветы девицы Флоры» кончались этой догадкой:

«Свидания в гостинице, посыльный — «красная шапка», бегство из театра посредине спектакля. И опять: «Они любили друг друга как очень близкие родные люди...»

И женщина — молодая и не защищенная рассудком, не

избегавшая трудной любви, где страдание и счастье так перемешаны, что нельзя понять, где кончается одно и начинается другое.

Это был рассказ о том, чего не было и что могло быть между ними.

Но она должна была быть другой.

И он написал ее — другую.

Лидия Алексеевна Авилова прочитала рассказ и в этой, другой женщине себя не узнала.

«...не защищенная рассудком», — написала я тогда.

Не защищенная любовью к своим детям — написала бы я теперь.

В ее записках приведен разговор с Антоном Павловичем о нравственности. Он есть и в напечатанных ею воспоминаниях, но тут подробней, он словно не отшлифован. И тем интересен:

«Я помню, как я один раз сказала ему, что не родители воспитывают детей, а дети родителей.

— Как я могла бы подойти к своим маленьким, если бы на моей совести было пятно? Мне кажется, это было бы невозможно! И тогда как жить?..

Он задумчиво повторил:

— Как жить?

И, помолчав, добавил:

— У вас врожденная, настоящая нравственность...

Был однажды общий такой разговор. Он спрашивал по какому-то поводу: справедливо ли, что ошибка в выборе мужа или жены должна испортить всю жизнь?

Конечно, я ответила, что совсем несправедливо, нелогично и даже непростительно и возмутительно.

Он очень удивился.

— Вот не ожидал от вас такого ответа! Я предполагал, что вы узки и строги.

— Возможно, что вы правы и что для вас мой взгляд и строг и узок. По-моему, нельзя в этом вопросе руководствоваться одним чувством, а всегда надо знать наверное, стоит ли? Взять всю сумму неизбежного несчастья и сумму возможного счастья и решать: стоит ли?»

«Я была уверена, — пишет Авилова, — что он скажет: «Это значит не любить», или возмутится расчетливостью, а он замолчал, думал, нахмурился и потом спросил:

— Но, в таком случае, когда же стоит?

Я сказала:

— Когда нет жертв, которых очень, очень жалко, и с той и с другой стороны. А в одиночку всегда можно все перенести, то есть не пожалеть себя. Именно себя надо поменьше жалеть, и тогда ясно будет, стоит ли?

— Я уже говорил вам, что у вас какая-то настоящая, невыдуманная нравственность, — неожиданно заключил он, и я с радостью почувствовала, что он понял меня».

В рассказе «О любви» все было как в жизни, сохранено даже отчество Авиловой. Одиноким Алехин и Анна Алексеевна, «молодая, красивая, умная женщина». У нее немолодой неинтересный муж, который «рассуждает с таким скучным здравомыслием...». И дети — вначале один, а потом и двое. «Даме с собачкой» оставлено то же имя, изменено только отчество. У нее нелюбимый муж с сухой нерусской фамилией фон Дидериц, который «где-то служит», и... собачка. Белый шпиц.

Так и дамы появилась с о б а ч к а.

Устранено то, что мешало любви. Тайные отношения с Гуровым оправданны, обусловлены желанием жить с любимым человеком и невозможностью преодолеть естественные препятствия: у героя рассказа опять же семья — жена, дети...

Дети в особенности. Он несвободен, потому что не может принести в жертву тех, кого очень, очень жалко...

По пути на свидание с Анной Сергеевной, идя с дочерью, «которую хотелось ему проводить в гимназию», он скучно объясняет ей, почему идет снег.

«— Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это».

И сколько еще всего надо объяснять детям... Они ни в чем не повинны.

Невозможно переступить через них, получив оправдание автора. Для него очень важно, что Анна Сергеевна нравственно чиста.

Всего год отделяет рассказ «О любви» от рассказа «Дама с собачкой». Но как переменялся подход Чехова к той же теме, насколько глубже, серьезней она разработана.

Чудится, переменялся не только подход к теме, но и сам автор.

Прочтя опубликованные воспоминания Авиловой, Бунин рассказал Вере Николаевне Муромцевой-Буниной о своем разговоре с Антоном Павловичем — Чехов советовал Бунину вернуться к жене, так как маленький сын будет страдать (речь шла о первой жене Бунина, с которой Иван Алексеевич расстался).

Иван Алексеевич, улыбнувшись, заметил: «Это влияние Авиловой, как я теперь понимаю, она говорила Чехову: «Ведь непременно будут жертвы. Прежде всего дети. Надо думать о жертвах, а не о себе»».

«Дама с собачкой» — роман, сжатый в этом рассказе. Энергия чувства, заключенного в нем, не убывает. Не высвобождается на протяжении стольких лет, сохраняя разрушительную силу.

Все так явно в этом рассказе, детали его столь реальны. И опять «Славянский базар», подсказанный еще в «Чайке». В нем останавливается всякий раз Анна Сергеевна, приезжая в Москву на свидание с Гуровым.

Как могло случиться, что Авилова не узнала себя в Анне Сергеевне? Не узнала свой голос в коротком монологе, где Анна Сергеевна говорит о себе: «...меня томило любопытство... ведь есть же, — говорила я себе, — другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить...»

Это ее интонация, хорошо знакомая мне теперь по ее записям и дневникам. Тот же взволнованный голос. Самая фраза, словно оттуда вынутая:

«Хотелось пожить! Пожить и пожить...»

Не узнала себя. Помешала неуверенность, «никогда не верила, что он меня любит». Или то, что она знала наверняка, этого не было.

И — не могло быть. Потому что «будут жертвы»...

Юрий Соболев в своей книге «Чехов» (издательство «Федерация», 1930) насильственно притягивает рассказ «Дама с собачкой» к едва возникшей в ту пору в жизни Антона Павловича Ольге Леонардовне Книппер. Первые письма будущей жене датированы 1899 годом. В том же году написана «Дама с собачкой». Это горестный рассказ о любви без будущего. Он создан на перекрестке минувшего с новым, едва возникшим. Рассказ-прощанье.

«Я умею писать только по воспоминаниям и никогда не

писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно...» (письмо Чехова Батюшкову от 15/27 декабря 1897 года).

Близилась пора воспоминаний.

«Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась...»

«...печально сложилась» у Чехова с Авиловой.

С Ольгой Книппер все еще только с к л а д ы в а л о с ь и все было впереди.

Лидия Алексеевна Авилова посвящает главу своих записок поездке в Крым с мужем и дочерью Ниной.

«Я помню свои мысли на балконе — в Симеизе. Миша подошел ко мне и обнял меня.

— Ты думаешь о судьбе своих детей.

— Почему ты угадал?

— Я знаю.

Я прислонилась к нему, и мы думали вместе. Но молчали. Чувства Миши и его мысли были всегда гораздо нежнее, мягче его слов. Я знаю, что тогда мы думали и чувствовали одно и то же...

Разве жизнь так богата счастьем, чтобы его выбирать?

В эту весну двое из моих трех нашли свое счастье, захотели его всей душой. И эти двое спросили у нас: «Можно? Вы согласны? Вы поможете нам быть счастливыми...»

...Мы, разные, но одинаково любящие, мы могли сказать только то, что кричала нам наша любовь. И я, после тяжкого разочарования в себе, в своем знании и опыте... хотела (детям.— И. Г.) счастья во что бы то ни стало. Я хотела его с отчаяньем, с безумьем. Отец хотел осторожно... с пронизательностью, свойственной ему во всем... Он боялся. Но не только боялся: он ревновал.

...Да, когда мы глядели тогда, обнявшись, на море и молчали, это была, кажется, самая многозначительная минута нашей общей жизни. Какое чувство! Ему нет слов! Точно наши двое из трех уплывали от нас в это безбрежное море...»

Переживание, которое мог разделить с ней только один человек на всей земле — Михаил Федорович Авиллов.

...Со смертью Антона Павловича для Авилова наступила пора покоя. И для нее отчасти тоже.

«Разве любить — значит быть счастливой?..»

Покой вспоминался потом как счастье. Главу, посвященную смерти мужа, она называет «Последний день счастливой жизни».

Случались дни, исполненные мира и благодати. Чаше случались они летом в родных Клекотках.

«Я сижу в кабинете со спущенными шторами. Хочется писать, но ручка прилипает к пальцам... из чернильницы лезут мухи.

...Ах, сколько было этих дней в кабинете, с мухами, жарой, с мыслями о чьих-то чужих и небывалых жизнях, потому что в своей было тихо, покойно, жарко...

Протягивалась Мишина рука и подавала на листьях клена ягоды земляники...»

Он умер, не дожив полгода до свадьбы дочери Нины. Она вышла замуж в семнадцатом году и вскоре эмигрировала — так пожелал ее муж офицер Владимир Гзовский.

Революция свершилась. Прежняя жизнь рухнула, новая еще не наладилась. Лидия Алексеевна с двумя сыновьями — Львом и Всеволодом — в Москве.

Ей пятьдесят три года. Трудно переносить лишения, отвыкать от привычного. Она терпит неурядицы наравне с молодыми. Только строка в дневнике — как сдержанный вздох:

«12. 2. 1919.

...И вот хочется быть бодрой, веселой.

Сколько месяцев я сплю одетая, под тяжестью одеял и шубы... Как утомительно, что все, что я беру в руки,— мерзло, сыро, невыносимо!»

В ее комнате плюс два градуса. Она пьет морковный чай и находит, что это «не только не скверно, а прямо хорошо». Потому что «запаха чая нет, но нет и другого запаха».

Трудности быта в ее дневнике. В свои записки — воспоминания — она их не пускает. Там другая, высокая жизнь — жизнь ее души.

Сны ее жизни, как однажды она их назвала. Там она размышляет и вспоминает.

Она пишет: «...я чувствую, что чем я старше, тем больше я люблю жизнь и тем больше жизнь эта не во мне, а в окружающем...»

И о любви к природе: «...это единственная любовь,

которая давала мне только (выделено ею.— И. Г.) счастье...»

Вспоминает, как еще с матерью сажали в своих Клекотках деревья, делали лунки и бабы смеялись, что она копает в перчатках. Смеялась с ними и она — «разве лучше натереть мозоли?»

В ее рассказе «Без привычки» хозяйка имения смотрит вслед брату, идущему по лесу на стук топора узнать, кто рубит. Как он, «неловко ступая среди травы и сухих сучьев, направился к оврагу». И дальше: «Он шел, слегка подпрыгивая на своих длинных тонких ногах; раз или два он споткнулся, и, по движению его локтя, Ольга Ивановна угадала, что он опять поправил очки.

«Коля — дачник,— подумала она,— в деревне он и ходить-то по-настоящему не умеет».

Лидия Авилова не дачница среди природы. Она своя. Для нее смерть — это слияние с природой, растворение в ней. И потому не страшно.

Новелла-воспоминание «Тилька», в ней дама разговаривает со своей собачкой. Авилковский фокс потерялся, они искали его, не нашли.

Вдруг за окном среди молчания зимней ночи раздался негромкий, деликатный лай. И вот он в тепле, дома. Его, гуляку, впустили, дали поесть.

«Дрянь! — тихо говорила я ему.— Где ты шляешься? Что это за идиотские увлечения? Ведь ты маленький, сравнительно слабый...»

В дневниках — радости и волнения будней. Мысли о прочитанном. Она читает Ключевского, Романа Роллана. Спорит с Гёте.

«Если поэт болен,— говорил Гёте,— пусть он сначала вылечится».

Ее мучит неизвестность о судьбе дочери Нины, уехавшей за границу. Огорчает возраст. Впрочем, «старятся все вместе, кто вместе был молод».

И — «я не умею догорать. Я не состарилась... Я превратилась старухой, потому что на мне маска старости, и я должна ей соответствовать».

Душа бунтует. «Я не правильная старуха. И вот я верю... что стоит мне сорваться желтым листком со стебелька, как я опять уже буду почкой. Умру, чтобы жить...»

Ирония над собой. Она намеренно старит себя, ей это

свойственно. Муж называл ее «правильной старухой» задолго до старости. Когда был ею доволен.

Лидия Алексеевна получает известие о дочери. Они в Чехословакии. У них есть маленький Миша — нареченный Ниной в память об отце Михаиле Федоровиче.

Узнав, что дочь тяжело больна, она едет к ним. Гзовские вскоре расходятся, и Авилова увозит на родину неизлечимо больную дочь и внука.

Живя в Чехословакии, она разыскала близкую ей семью Буниных, обитавших в Париже. Началась переписка. В своей неоконченной книге «Чехов» И. А. Бунин приводит некоторые письма Авиловой к нему и его жене Вере Николаевне.

В эмиграции Лидия Алексеевна не прижилась — тянуло на родину. Не только потому, что там остались ее сыновья. Просто там все было свое, а здесь — чужое.

Не всякое дерево может прижиться на новой почве. Думаю, что чем богаче интеллект, чем развитей душа, тем это труднее.

Лидия Алексеевна Авилова принадлежала русской интеллигенции в самом высоком значении этого слова.

Описав по просьбе Буниных свою жизнь в России (те первые после революции годы, голод и холод, доставлявшие ей физические страдания, и вызванную ими болезнь — туберкулез легких; и торговые ряды на рынке, где она продавала свою одежду и где такие же, как она, продавцы в «буржуйном», или «дворянском», ряду разговаривали между собой по-французски; и мышей, которые были везде — «на столе, в постели, даже в карманах платья»), Авилова заключает:

«А теперь я думаю, что все это было терпимо...»

Из другого письма (4 июля 1923 года):

«Но мне мои выступления обходятся дорого... Их тут приезжает много, много, и все идут поговорить ко мне, потому что я недавно... «оттуда»... тут нельзя жить со своей точкой зрения на что бы то ни было. Надо подраиваться.

А у меня и точки-то нет... я ищу, тоскую, и, представьте себе, я люблю до страдания свою родину... Там кто-то что-то понимает. Там мне было очень плохо. Здесь мне противно и скучно. И я боюсь здесь умереть».

...Она вернулась на родину. В 1930 году ее дочь умерла. Не стало той самой Ниночки, которая девочкой сидела на коленях у Антона Павловича в день их последней встречи на вокзале, и он, ласково перебирая ее золотистые локоны, пошутил, что она «похожа на классную даму». Ниночки, «которая очаровала меня в Москве», вспоминал о ней Бунин. Воспитание осиротевшего внука¹ стало смыслом убывающей жизни. И еще — ее воспоминания о Чехове, которые были созданы в тридцатые годы.

В 1940 году она рискнула отдать в печать свою рукопись.

Прошли годы, и она уже не столько опасалась возможного гнева Марии Павловны. Сильней был страх, что воспоминания могут затеряться... Как затерялся ее «литературный сундучок», отданный на хранение семье Даниловых. В нем книжки журналов с ее повестями и рассказами разных лет и красивый ящичек с письмами к ней Гольцева, Бунина, Максима Горького. Из-за этой шкапулки, полагала Авилова, они и были украдены. Возможно, разочарованный содержимым, вор уничтожил драгоценные письма. И среди них письмо некоего Алехина, адресованное Анне Алексеевне Луганович.

А может быть, эти письма еще найдутся? Если бы!..

Узнав о женитьбе Чехова, Лидия Алексеевна решила поздравить его по-своему и тем как бы продолжить рассказ Чехова.

В конверт, адресованный Антону Павловичу, она вложила другой — с письмом Алехину от Анны Алексеевны Луганович (герои рассказа Чехова «О любви»). В сделанной ею приписке она просила Чехова переслать письмо по адресу, который ему должен быть известен.

Луганович писала Алехину, что рада за него. Благодарил его за то, что вся ее молодость была точно обрызгана свежей душистой росой. И спрашивала Алехина, счастливы ли он.

С помощью Чехова Анна Алексеевна Луганович получила письмо от Алехина:

«Низко, низко кланяюсь и благодарю за письмо.

Вы хотите знать, счастлив ли я? Прежде всего, я болен. И теперь знаю, что очень болен. Вот Вам. Судите как

¹ М. В. Гзовского (1919—1971), впоследствии крупного ученого-геолога.

хотите. Повторяю, я очень благодарю за письмо. Очень. Вы пишете о душистой росе, а я скажу, что душистой и сверкающей она бывает только на душистых, красивых цветах.

Я всегда желал Вам счастья, и если бы я мог сделать что-нибудь для Вашего счастья, я сделал бы это с радостью. Но я не мог.

А что такое счастье? Кто это знает? По крайней мере я лично, вспоминая свою жизнь, ярко сознаю свое счастье именно в те минуты, когда, казалось тогда, я был наиболее несчастлив.

В молодости я был жизнерадостен — это другое.

Итак, еще раз благодарю и желаю Вам и т. д.

Алехин».

Так писал Авиловой Чехов на пороге своей новой жизни.

«...ярко сознаю свою счастье... когда, казалось... я был наиболее несчастлив».

Когда же он был несчастлив, Алехин? «Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней...»

Цветы... Сравнение с цветами часто в их переписке.

Мария Павловна Чехова пишет в книге «Из далекого прошлого»: «Лидия Алексеевна Авилова передала мне все письма к ней брата...»

Письмо Алехина Авилова оставила у себя, сочтя его слишком личным. Обнаружив, что оно утеряно, она очень горевала. И сделала для себя копию — она помнила его наизусть, как стихи. Есть ее запись на полях рукописи: «Может быть, добавить и письмо Алехина? Но оно только переписано. Подл[инника] нет. Можно ли?»

Работая над окончательным вариантом своих воспоминаний, она делает запись в дневнике:

«27. XI 1939 года.

Я сегодня уничтожила копию письма Алехина. Жалко. Я сделала ее после того, как погиб оригинал. Помнила каждое слово, даже длину строк. И написала все точно так же, даже подражая мелкому почерку Ант. П.

Так вышло похоже, что меня это утешило. И я долго хранила эту копию. А сегодня уничтожила. Вот почему: нашли бы после моей смерти и, конечно, узнали бы, что это фальшивка, подделка.

Кто мог бы понять, зачем она сделана? Не возбудило бы это подозрений? Не отнеслись бы с недоверием к моей рукописи? Одна ложь все портит...

Один обман — все обман, все ложь, все подделка, как письмо.

И не хотела я совсем упоминать об этих письмах Луганович — Алехина, да не могла вычеркнуть их. Они меня так примирили, так утешили. Без них... После моей смерти... Неужели еще долго жить?»

Письмо «Алехина», оставшееся в воспоминаниях Л. А. Авиловой, было впервые опубликовано в чеховском томе «Литературного наследства» (1960).

А что, если там, в шкатулке, было и другое письмо? Еще более личное? Запись в дневнике Авиловой:

«В этой тетради я пыталась распутать очень запутанный моток шелка, решить один вопрос: любим ли мы оба? Он? Я?»

«...В клинике я был слаб. Я недостаточно владел собой. Но, может быть, мы слишком много рассуждали, слишком сдерживались...»

(«Из пропавшего письма» — пометка Л. А. Авиловой. — И. Г.)

И ниже: «Нельзя забыть, что я больной. Не могу забыть, не должен забыть. Связать с собой женщину молодую, здоровую... Отнять у нее то, что у нее есть, а что дать взамен? Я врач, но я не уверен, что я вполне выздоровею».

(«Из того же письма» — пометка Л. А. Авиловой. — И. Г.)

Внучка писательницы поясняет: «Примечания сделаны на полях тетради карандашом, нетвердым почерком...»

Видимо, они были сделаны в том же 1939 году, когда была уничтожена копия утерянного письма Алехина Луганович. В нем этих фраз нет. Да и быть не могло. Они явно относятся к переписке более ранней. Скорее всего Авилова оставила его у себя как слишком личное. Как оставила у себя письмо, подписанное «Алехин», сочтя невозможным его публикацию.

Письма от Антона Павловича Авилова получала по почте до востребования, о чем сама говорит.

Иногда Чехов писал в Москву на Плющину с припиской: «Для передачи Лидии Алексеевне Авиловой».

В годы, когда Мария Павловна занималась собранием чеховских писем, был еще жив муж Авиловой Михаил Федорович.

Все это надо учитывать, когда мы говорим об их переписке.

Мы можем только гадать...

В книге «Из далекого прошлого» Мария Павловна Чехова пишет, что Авилова попросила вернуть ей ее письма Антону Павловичу, «что я и сделала».

Тут нужна поправка. Три письма Л. А. Авиловой Антону Павловичу остались у Марии Павловны и были переданы ею вместе со всем чеховским архивом в начале двадцатых годов в отдел рукописей Государственной библиотеки имени Ленина.

1904 год. Февраль. Последняя вспышка в их переписке. Перед тем долгое молчание. И вот ее письмо Антону Павловичу с просьбой дать «маленький рассказик, хотя бы страничку на помощь раненым на войне» в затейный его сборник.

Он отвечает ей сразу. И она вновь пишет ему.

Приведу выдержки из второго, наиболее интересного, письма Авиловой Антону Павловичу:

«И вот Вы ответили мне не так, как я боялась!

Я знаю, что мое письмо опять-таки издерганное. Но это оттого, что я сегодня глупо счастлива. Я давно уже не пишу издерганных писем, я выучилась застегивать на все пуговицы свой нравственный вицмундир...»

Воображение подскажет нам, как усмехнулся Антон Павлович по поводу «нравственного вицмундира».

«Пять лет. Я бы очень хотела видеть Вас, рассказать Вам и многое с н я т ь с себя, что мне так ненавистно. И в особенности в мои годы, когда жизнь прошла (Л. А. Авилова в 1904 году сорок лет.— И. Г.), сознавать себя все еще смешной и жалкой так тяжело! Точно позор. А я по совести не чувствую, что заслужила его.

Простите мне, Антон Павлович, мою непрошеную откровенность. Я хватаюсь за случай, но я не искала его.

Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам, что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей.

И что я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло. И это было самое крупное горе моей жизни...

Мне не надо, чтобы Вы мне пр о с т и л и, я хочу, чтобы Вы меня поняли.

Ваша Л. А в и л о в а.

Что хочет снять с себя Лидия Алексеевна? «Точно позор»,— говорит она. Но позор, не заслуженный ею. И в то же время «я... оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло».

Нам известен лишь один случай на ранней поре их знакомства. Она поверила сплетне о том, что Антон Павлович в день встречи с ней на юбилейном обеде «Петербургской газеты» «кутил со своей компанией в ресторане, был пьян» и говорил, что хочет увезти ее, добиться развода, жениться.

И что его друзья одобряли его и даже качали.

Она не вполне поверила, но все же тогда упрекнула его в письме.

Он с е й ч а с же ответил:

«Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик. Что сей сон значит? Мое достоинство не позволяет мне оправдываться... сколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне? Так, что ли?

Убедительно прошу Вас... не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге... Успокойтесь, бога ради. Впрочем, бог с Вами. Защищаться от сплетни... бесполезно.

Думайте про меня, как хотите».

Это письмо Чехова к ней кончалось словами:

«...с удовольствием помышляю о своем решении никогда не бывать в Петербурге».

В опубликованных воспоминаниях Авилова рассказывает об этом недоразумении:

«...меня ужасно огорчало его решение никогда больше не приезжать в Петербург... каждый раз при этой мысли больно сжималось сердце».

Прошло двенадцать лет с той размолвки. Она длилась больше года, до того письма от 1 марта 1893 года, в котором он написал ей, что «уже не сердит». И там же: «У нее (Надежды Алексеевны, сестры Авиловой.— И. Г.) я хотел встретиться и с Вами. Можете себе представить. Как это ни невероятно, но верно».

И сам же вспоминает, что нарушил свое обещание не бывать больше в Петербурге. «... Вы, конечно, умышленно пропустили еще одну мою вину...»

Большой и в то же время не слишком большой срок для случившегося, которое она называет самым крупным горем своей жизни. «Теперь пора это сказать»,— заключает она.

Из того же второго письма (февраль 1904 года):

«Мне суждено всю жизнь порываться так или иначе и потом долго, и н о г д а г о д а м и (выделено ею.— И. Г.) страдать от стыда, презирая себя до того, что и жалости к себе не чувствуешь. Одно чувствуешь: ничего поправить нельзя! Слова — пустой звук. Словами же самое чистое, святое, дорогое чувство облачается в какую-то пошлую захватанную форму и передается людям.

Я всегда была очень неловка. Может быть, и теперь...»

Что побудило ее коснуться этого?

Произошла ли какая-то новая неловкость с ее стороны, случайная и непредвиденная?— «я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло».

Некоторое подтверждение этой версии дает ее письмо Чехову, посланное вслед:

«А я умею изредка устраивать такие штучки. В прошлом году у меня был Алекс [ей] Макс [имович] Горький, сидел вечер, пили чай, а на другой день в Пет [ербургской] газете появилась целая статья о том, что он говорил, что и как пил и ел. С тех пор я его не видела. Он, долж [но быть], думает, что я получила за статью несколько рублей. А я готова была кусаться или повеситься от стыда. Это мне Коля Худеков удружил. Он вообще ко мне не расположен, а тут еще очень рассердился, что не позвала его (пить чай с Горьким.— И. Г.), несмотря на его настойчивое желание».

Возможно, и здесь случился подобный казус.

Впрочем, внимательно сличив воспоминания Авилевой (издание 1960 года) с этим письмом, можно почти с уверенностью сказать, о чем идет речь.

Вскоре после встречи на вокзале 1 мая 1899 года Авилева написала Чехову письмо, но ответа не получила. Решив, что ее письмо не дошло, она написала вновь. Снова молчание. Это было на него не похоже. «Долго спустя», узнав, что он в Крыму, она написала ему в Ялту. Она пишет: «Этого письма он не мог не получить, т. к. оно было заказное».

Мог и его не получить, добавим от себя. Но если получил и не ответил, значит, решил, все решил для себя окончательно. Решил за себя и за нее. Еще тогда, на вокзале.

С того мая все кончилось — их переписка, встречи. Резкое прекращение отношений — уже само по себе отношение. Что-то вдруг как оторвалось, сломилось.

В письме, посланном в Ялту заказным, она «не могла скрыть ни своей любви, ни своей тоски».

И это жгло ее долгие годы: «Точно позор. А я по совести чувствую, что не заслужила его».

Она писала ему о своей любви, не зная, что он не ощущал уже себя одиноким: в его жизни появилась женщина.

«...сознавать себя все еще смешной и жалкой так тяжело!..»

И снова можно только гадать...

Лидия Алексеевна Авилева пишет в своем дневнике: «...в этих тетрадах, которые я сейчас исписываю, я могла бы расписаться. Но я добросовестно искренна. Самое легкое вдохновение уже не допускает искренности, потому, что она ничто перед вдохновением...»

Авилева избегает вдохновения. Я в этих записках избегаю всего, что могли бы счесть вымыслом — литературой.

Моя задача здесь иная — исследовать личность Лидии Алексеевны Авилевой и ее роль в жизни Антона Павловича Чехова.

Повернуть бинокль, который нарочито умалил ее роль, другой стороной и тем приблизить ее. Дать крупно.

Для этого не художество нужно, а документ.

И если догадка, то обоснованная документом — письмом, цитатой. Еще одна попытка «распутать очень запутанный моток шелка». Удалась ли она? Судить читателю. Но судить надо б е с п р и с т р а с т н о ...

Между ними, Чеховым и Авилевой, при их жизни было много тайного, скрытого от посторонних. Скрытого и от них самих.

В своей любви они оба не знали счастья.

«Я был несчастлив» — Чехов в рассказе «О любви». «Одна боль...» — Авилева в дневнике.

Но счастье присутствовало в их отношениях, оно было как солнце за пеленой облаков.

Иногда оно прорывалось и озаряло их лица.



предложила нескольким своим знакомым, людям, читающим много и с разбором, узнать рассказ по отрывку, который прочту им вслух:

«Только один раз, в самом начале их связи, она как-то неожиданно разрыдалась и стала говорить о том, что вместо счастья она чувствует унижение и невыносимую тоску. Она даже стала жаловаться Павлу Аркадьевичу на него самого и доказывать ему, что он первый презирает ее и грязнит ее любовь.

Но, заметив его омрачившееся лицо и недружелюбный взгляд, она вдруг замолчала, долго сидела неподвижная и задумчивая и вдруг так просто, искренно и серьезно попросила у него прощения, что этой просьбой удивила и озадачила его еще больше, чем слезами и жалобами.

— ...Да, я была несправедлива,— со странным смехом продолжала она...»

Трое, не задумываясь, назвали «Даму с собачкой». Один усомнился: разве имя Гурова Павел Аркадьевич? И еще один заявил, что это вообще не «Дама с собачкой», хотя и очень похоже.

Я взяла с полки том рассказов Чехова и прочла:

«Анна Сергеевна, эта... «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то очень серьезно, точно к своему падению,— так казалось, и это было странно и некстати... Она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

— Нехорошо,— сказала она.— Вы же первый не уважаете меня теперь.

...Прошло по крайней мере полчаса в молчании...

— Пусть бог меня простит! — сказала она, и глаза ее наполнились слезами.— Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю...

Гурову было скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она играет роль.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас,— говорила она.— Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок...

— Полно, полно...

Он целовал ее, говорил тихо и ласково, и веселость вернулась к ней, стали оба смеяться».

Сопоставив отрывки, мои знакомые пришли к единодушному выводу: все состояние героев — ее слезы, его раздражение, вызванное неожиданным раскаянием, ее долгое затем молчание и даже переход одинаковы — у Чехова «стали смеяться», а там «со странным смехом»...

Осталось назвать автора приведенных строк.

— Лидия Авилова,— сказала я.— Это из ее рассказа «Последнее свидание». Он был опубликован в газете «Сын отечества» двадцать пятого февраля (девятого марта) тысяча восемьсот девяносто девятого года. Лишь осенью того же года была написана «Дама с собачкой» и помещена в декабрьской книжке журнала «Русская мысль».

Помню свое ощущение, с которым читала это впервые,— изумление, внутреннее чувство протеста: нет, этого не может быть! В конце концов, случаются же совпадения. Тем более в одинаковой ситуации...

Может быть, Чехов не читал этот рассказ. Иначе зачем бы он прибег к столь схожему описанию? Впрочем, прочитав рассказ Лидии Авиловой, он мог сделать это. Но лишь в единственном случае — нарочно.

Попробуем разобраться в этой странной, на первый взгляд почти неправдоподобной истории. Так или иначе, я держу в руке пожелтевшую от времени старую газету. Но по порядку.

Со дня на день должен был выйти в свет апрельский номер «Нового мира» с «Переполненной чашей», где я попыталась дать портрет писательницы Лидии Алексеевны Авиловой, рассказать о ней и о ее большой роли в жизни и творчестве Чехова. Спустя пятнадцать лет после моего первого прикосновения к этой теме я вернулась к ней вновь, познакомьсь с доселе неизвестными, неизданными записями Авиловой и ее дневниками.

Я с волнением ожидала выхода журнала, когда в гости к нам пришли наши друзья Клочкивы. Я рассказала им о моей новой работе, среди прочих был упомянут внук Авиловой Гзовский.

— Не тот ли это Гзовский? — спросил Клочкив.— Он преподавал у нас в Геологоразведочном... Ты должен

его помнить, — обратился он к моему мужу. — Он читал на первом курсе... Тогда он не был еще ни доктором наук, ни профессором, но это в нем уже угадывалось...

Анатолий Клочков — геолог. Когда-то они с мужем поступили в МГРИ и год проучились вместе.

Сверили инициалы — они совпали.

— Михаил Владимирович умер, — сказал Клочков. — Но я знаком с его сыном Володей. Симпатичный малый. Он ездил с нами в экспедицию...

Я попросила Клочкова узнать, не осталось ли в доме у Гзовских каких-нибудь публикаций, бумаг, фотографий, связанных с Лидией Алексеевной Авиловой.

Вскоре Клочков позвонил мне. Сказал, что, по словам Володи, кое-что есть, в том числе чуть ли не целый альбом с фотографиями, но все это хранится у его матери Галины Владимировны. Она работает в Петропавловске-Камчатском в Институте вулканологии и приезжает в Москву всего несколько раз в году. Впрочем, вскоре как будто должна приехать. И тогда обязательно мне позвонит...

Она мне действительно позвонила, и мы встретились. Оказалось, они живут совсем близко от нас — менее получаса ходьбы.

— Понимаете, для меня Лидия Алексеевна была просто Мишиной бабушкой. Она его вырастила, он ее очень любил и часто вспоминал... Я очень любила Мишу, и она была мне дорога только этим... Конечно, если бы я знала о ней то, что знаю теперь, я была бы гораздо внимательней и больше бы запомнила...

Мы рассматриваем вместе старинные фотографии. Многие из них я уже видела в доме у Авиловых. Так получилось, что Авиловы и Гзовские мало общаются между собой, со смертью Михаила Владимировича это общение и вовсе ослабело.

— А вот посмотрите, какая прелестная Лидия Алексеевна в детстве, — говорит хозяйка дома, показывая на миловидную русую девочку.

— Это не Лидия Алексеевна, — говорю я. — Это ее дочь Нина...

В семейном архиве Гзовских я ориентируюсь лучше его владелицы. И вскоре Галина Владимировна уже у меня спрашивает:

— А эта усадьба не их имение?

— Да, это Клекотки.

— Какой маленький дом!..

Сознаюсь, что не надеялась найти здесь для себя что-то новое, неожиданное... Я прочла записи и дневники, полученные мной от внучки Авиловой. Была изучена переписка Лидии Алексеевны с Антоном Павловичем и Марией Павловной, подняты архивы в отделе рукописей Ленинской библиотеки... Что же еще? Тем более работа уже закончена, «Переполненная чаша» написана, принята в журнале, он вот-вот выйдет...

Но не хотелось упустить возможность посмотреть фотографии, поговорить об Авиловой со вдовой ее внука.

Идя сюда, я не ждала никакого сюрприза. Но сюрприз ожидал меня. И не один, а несколько.

На рояле лежала кипа старых газет и журналов, приготовленных к моему приходу. Я просмотрела названия: «Петербургская газета», «Сын отечества», «Живописное обозрение», «Всемирная иллюстрация»... В них рассказы Лидии Авиловой. Иногда совсем маленькие — в рубрике «Летучие заметки», которую вела «Петербургская газета». Иногда большие — в двух газетных номерах...

Как я понимаю, это уцелевшее из когда-то разграбленного «литературного сундучка», оставленного в беспокорные годы на хранение у знакомых. Того самого сундучка, из которого была похищена шкатулка с письмами Чехова, Горького, Бунина...

Чуть поодаль лежит книга в темном переплете. Галина Владимировна протягивает ее мне. Повести и рассказы, изданные в 1894 году. На титульном листе надпись: «Лидии Алексеевне Авиловой от автора А. Чехов». Дата внизу цифрами — 95 год, число и месяц в виде дроби и подпись с характерным росчерком. Книга, подаренная Чеховым Лидии Алексеевне после его неудачного к ней визита. В своих воспоминаниях она пишет о том, что получила «сборник его повестей и рассказов с сухой надписью: «Л. А. Авиловой от автора». Многих, чеховедов особенно, удивляла такая надпись: Антон Павлович, делая дарственные надписи, всегда употреблял полные имена.

Так было и в данном случае, инициалами их обозначила в своей рукописи сама Авилова, не придавая этому значе-

ния. В шестом томе писем последнего собрания сочинений и писем Чехова в примечаниях можно прочесть: «Книга не сохранилась». И вот она передо мной!..

Но главный сюрприз ждал меня впереди.

К моему приходу Галина Владимировна составила картотеку имеющихся у нее произведений Авиловой. Некоторые публикации повторялись. С этими было проще. То, что было в единственном числе, Гзовская положила в отдельный конверт, сделав на нем надпись: «Уникальные экземпляры». И просила меня заказать копии и для нее...

(Так годами лежавшее мертвым грузом где-то на дне ящика старого шкафа или стола, забытое, никем не востребованное становится вдруг у н и к а л ь н ы м, б е с ц е н н ы м!..)

К чести Галины Владимировны, она, человек решительных действий, из любви к мужу и в его память сохранила все, что касалось М и ш и н о й б а б у ш к и. А не то как знать, отыскался бы и когда отыскался этот пожелтевший номер газеты с рассказом Авиловой.

И не странно ли: дом, где хранится книга с дарственной надписью Чехова, был обойден чеховедами. Думаю, что причина в том же неверии — недоверии к мемуарам Авиловой.

Есть незнание. И есть — не-хочу-знание: не знаю и знать не хочу. Жертвой такого упрямого не-хочу-знания на долгие годы стала Лидия Алексеевна.

Вернемся к главному. К рассказу «Последнее свидание», опубликованному в том же году, что и «Дама с собачкой». Эти рассказы продолжили и завершили диалог двух людей, которых, «казалось... сама судьба предназначила друг для друга.»

Диалог их жизни длился в литературе. Для творчества Чехова это было воистину плодоносное чувство. Скрытое от всех, это чувство было не в подтексте — в самом тексте произведений, которые читали все, но в которых п р о ч л и не всё.

В «Переполненной чаше» я проследила начало этого диалога. При этом выявилась некоторая закономерность.

1896 год. Лидия Алексеевна посылает Чехову брелок в форме книги с зашифрованными в нем словами: «Если тебе понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

О том, что брелок прислала Чехову Лидия Алексеевна Авилова, долгие годы никто не знал. Немирович-Данченко в своих воспоминаниях с удивлением отметил, что слова, зашифрованные на медальоне, который Нина Заречная дарит Тригорину, взяты Чеховым из его же рассказа «Соседи». Немирович пытается разобраться в своем о т к р ы т и и. «...эта фраза дышит самоотверженностью и простотой, свойственной чеховским девушкам... Может быть, Чехов полюбил это сильное и нежное выражение женской преданности и хотел повторить его» (Немирович-Данченко. «Из прошлого». М., «Academia», 1936).

В 1937 году, прочтя эту главу о Чехове, Авилова написала Немировичу и получила ответ.

«Многоуважаемая Лидия Алексеевна! Очень благодарю Вас за письмо. Если Вы разрешите воспользоваться Вашим рассказом о медальоне, я это сделаю в ближайшем новом издании книги. Разумеется, с указанием от кого я это получил. Так сказать, на Вашу ответственность.

...С искренним приветом Вл. Немирович-Данченко».
(Архив семьи Авиловой. На конверте штемпель 19.10.37.)

В книге «Из прошлого», переизданной Немировичем в 1938 году, читаем:

«Писательница Л. А. Авилова прислала мне письмо, из которого разрешила мне извлечь следующее:

«В то время, как Антон Павлович писал эту пьесу («Чайку». — И. Г.), он получил через редакцию «Русской мысли» брелок в форме книги, на котором с одной стороны было вырезано название сборника, а с другой цифры... Подарок был анонимный... Антон Павлович смутно догадывался о том, кто прислал ему этот брелок, и придумал оригинальный способ послать благодарность и ответ: он заставил Нину подарить такой же медальон Тригорину и только переименовал название сборника и цифры.

Ответ дошел по назначению в первое же представление «Чайки». Артисты, конечно, не подозревали, что, играя драму, они в то же время исполняли роль почтальона».

Так писала она в 1937 году, по-прежнему оставаясь в тени, не назвав себя, не открыв имени той, что прислала брелок Чехову, — «подарок был анонимный», «ответ дошел по назначению...».

Сообщила, как об известном ей факте.

Трудно не воздать должное столь редкостной сдержанности.

Не сказались ли в этом уроки Чехова?..

Встретясь с ней на маскараде, он сказал, что ответит ей со сцены. «На многое», — сказал он. И он ей ответил на многое в «Чайке».

Вспомним реплики Тригорина, обращение к Нине Заречной, подарившей ему медальон, и в нем те же слова, что на брелке Авиловой:

«Тригорин. Как грациозно! Какой прелестный подарок. (Целует медальон.)»;

«Тригорин (в раздумье). Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так болезненно сжалось?»;

«Тригорин. Такой любви я не испытал еще...»;

«Тригорин. Остановитесь в «Славянском базаре»... Дайте мне сейчас же знать...»

Запоминая указанную в пьесе страницу и строчку, скрывающую шутивную реплику, взятую Чеховым из ее книжки, она упустила многое.

«Я ловила каждое слово, кто бы из действующих лиц его ни говорил, я была напряженно внимательна, но пьеса для меня пропадала...» — напишет она потом в своих воспоминаниях.

И все же — и это тем удивительней, после такого признания, — пьеса не пропала для нее. Достаточно прочесть короткую, но необычайно яркую рецензию Авиловой на премьеру «Чайки» в Александринском театре, скромно названную «Письмо в редакцию», — она появилась в «Петербургской газете» через два дня после скандального провала, 20 октября 1896 года:

«...Говорят, что «Чайка» не пьеса. В таком случае посмотрите на сцене «не пьесу»! Пьес так много... Я не знаю, как сделал Чехов: пришли на сцену люди, и так как эти люди давно жили до бенефиса г-жи Левкеевой и будут жить после бенефиса, то пришли они со своими радостями и страданиями, которые дала им жизнь, и стали жить перед публикой... Публика любит силу, любит, чтобы перед ней боролись. Тригорин мало боролся. Он не плакал и не бил себя кулаком в грудь. Вы спросите: почему же он этого не делал? Я не знаю почему. Я думаю, что он забыл о том, что на один этот вечер перенесся на подмостки. Он просто жил, как жили все кругом, не заботясь о том, что на них смотрят гг. рецензенты...»

Какая острая, современная — с сегодняшней точки зре-

ния — оценка! Не только пьесы «Чайка» — всей новой чеховской драматургии.

Так она писала, почти единственная в те первые дни, противоборствуя улюлюканью публики и «господ рецензентов».

И — в той же рецензии о самой Чайке: «Она пришла вся беленькая, тоненькая, и принесла открытое сердечко, в котором еще не было ничего... и с такой верой и пылкостью молодости отдала Тригорину медальон вместе со своим сердцем и жизнью, которая, казалось ей, уже не имела смысла без него. И он все взял. Любил ли он свою Чайку? Любил, может быть. Но бедная Чайка внесла с собой беспокойство и новое страдание, и тогда он выгнал ее из своей жизни... Отчего она не утопилась?»..

Публика полюбила бы ее, пожалела бы об ней и похлопала бы автору. Но автор знал, что он не выдумал образ своей Чайки, и он не посмел заставить ее кричать и топиться, как топятся и кричат все героини...»

Это менее чем за полгода до их встречи в Москве, в которую вторглась жестоко его болезнь. В «Переполненной чаше» я пишу: «Свой девятый в алони пережили в Остроумовской клинике. Ограниченное время, боязнь за его жизнь и его слабость освободили от всего, позволили обо всем забыть...»

Оказалось, диалог продолжился.

Осенью 1897 года Лидия Алексеевна послала Чехову вырезки газет со своими рассказами. Среди них «Забывшие письма», рассказ, о котором Авилова пишет в своих воспоминаниях:

«Зачем после свидания в клинике, когда он был «слаб и не владел собой», — а мне уже нельзя было не увериться, что он любит меня, — зачем мне надо было послать «Забывшие письма», полные страсти, любви и тоски?»

Разве он мог не понять, что это к нему зывали все эти чувства?»

Чехов в ту пору был в Ницце, ее рассказы ему переслали туда.

Он все понял. Услышал. Он выделил «Забывшие письма» из присланного ему.

«Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочел Ваши «Забывшие письма». Это хорошая, изящная,

умная вещь... в ней пропасть искусства и таланта... Я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство».

В рассказе Авиловой женщина пишет любимому человеку, с которым была близка при жизни мужа. Теперь муж умер, и она пишет любимому и ждет его с каждым парходом, но — напрасно.

В записной книжке в том же ноябре 1897 года Чехов записывает сюжет: богатый чиновник, носивший портрет губернаторши четырнадцать лет, отказывается помочь ей, когда она овдовела, болеет...

Но отшутиться не удается. И тогда же, в ноябре, но чуть позже, возникает запись об уважении к тайне. Потом, два года спустя, в «Даме с собачкой» Чехов разовьет и уточнит свою мысль о явном и тайном в человеческой жизни.

«И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других...» Так размышляет в рассказе Гуров. Но это два года спустя. Ключ же к этим размышлениям возник в ноябре 1897-го.

Рассказ о чиновнике и губернаторше никогда не был написан.

В «Забытых письмах», усомнившись в любимом, героиня спрашивает: «Я не могу припомнить, говорил ли ты мне когда-нибудь, что любишь меня? Мне так бы хотелось припомнить именно эту простую фразу... Ты говорил, что любовь все очищает и упрощает... Любовь...»

Чехов отвечает Авиловой в рассказе «О любви»:

«...воспоминание о стройной белокурой женщине осталось во мне все дни, я не думал о ней, но точно тень ее лежала на моей душе».

Там же: «Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что бы могло открыть нашу тайну нам же самим».

На ее брелок он ей ответил со сцены.

На ее «Забытые письма» — рассказом «О любви».

Можно было предположить, что «Дама с собачкой» — тоже ответ.

В «Переполненной чаше» я пишу: «Мы можем только гадать...» И еще — о «Даме с собачкой»: «Это горестный рассказ о любви без будущего. Рассказ-прощанье».

Последние пять лет они не виделись. С мая 1899 года, когда он пришел на вокзал, чтобы повидать ее. Были только письма. В одном из них, написанном после долгого перерыва, Лидия Алексеевна пишет Чехову:

«Я бы очень хотела видеть Вас, рассказать Вам и многое снять с себя, что мне так ненавистно... Точно позор! А я по вести не чувствую, что заслужила его...»

Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам, что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей.

И я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло».

Мне опять приходится прибегнуть к «Переполненной чаше» (пусть читатель не сетует, но ведь это продолжение, развитие той же истории). Там я писала: «Что хочет снять с себя Лидия Алексеевна? «Точно позор», — говорит она. Но позор, не заслуженный ею... Произошла ли какая-то... неловкость с ее стороны?»

И вот газета «Сын отечества» с рассказом Лидии Авиловой «Последнее свидание». Этот рассказ позволяет утверждать с уверенностью, что и «Дама с собачкой» тоже ответ.

В «Последнем свидании» Авилова продолжает рассказ Чехова «О любви». Повторены даже имена главных действующих лиц. Героиня его, тоже Анна Алексеевна, сближается с другом дома, зовут его, как и у Чехова, Павел, изменено лишь отчество: вместо Константинович — Аркадьевич — П. А. Переставлены инициалы Антона Павловича. (Назвать героя Павлом Антоновичем Авилова не рискнула.)

Писательница пытается исследовать: к чему привела бы героев их связь? принесло бы это счастье обоим?

Ее выводы неутешительны. Анна Алексеевна не находит радости в близости с ироничным, суховатым Павлом Аркадьевичем, который избегает разговоров, «сентиментальных сцен». Он презрителен и насмешлив. Глубоко оскорбленная в душе, чувствуя, что любовь гаснет, уничтожается, сама порывает с Павлом Аркадьевичем, сказав: «Знаешь, пора разойтись. Нам друг с другом стало скучно». Он узнает из газеты о кончине Анны Алексеевны. И, поразмыслив, удобно ли это, все же едет в дом, где уже год как не был. Дом, «где он был принят, как друг, и куда он внес позор, страдание и смерть».

По дороге он вспоминает все, что было между ними. И день, когда они стали близки, и случайную встречу с ней в театре. Их разговор в антракте. Он невольно заметил, что она похудела. Как всегда, он был с ней ироничен, напомнил ей, что она первая предложила расстаться. Спрашивал, любила ли она с тех пор.

— «О, нет! — горячо ответила она. — Верьте мне. Нет!»

Взяв извозчика, он по дороге к ее дому вспоминает последний их разговор. Он словно слышит ее страдающий голос. Ее упреки, на которые он возражал так слабо, вяло, иногда привычно иронизируя.

Он не знал, что больше не увидит ее.

Близился конец их десятилетия, но ни Авилова, ни Чехов не решались освободиться «от этих невыносимых пут». И Лидия Алексеевна Авилова решает сделать первый шаг на пути к концу, сказав устами своей героини: «...нам пора разойтись». Показав, что и она, как ее Анна Алексеевна (Луганович?), устала от дрящейся безнадежной любви.

Антон Павлович прочитал рассказ Авиловой — продолжение своего рассказа. Видимо, это случилось уже после их встречи в Москве на вокзале. Газета «Сын отечества» выходила в Петербурге, он же вообще незадолго перед тем приехал в Москву из Ялты. Поэтому мог о рассказе еще не знать. Тем более что он не был большим поклонником этой газеты.

Потом он ездил по делам в Петербург... Случайно или не случайно, однако газета с рассказом Авиловой попала к нему. У него возникла потребность ей ответить, как это бывало раньше. Но здесь всё взывало к ответу.

И он ей ответил. Появлению его рассказа предшествовало почти годовое молчание. Он перестал отвечать и на письма Авиловой. Не ответил на три ее письма. Она огорчалась, терялась в догадках. Это было на него не похоже.

Она не знала, что вскоре получит ответ. Этим ответом станет «Дама с собачкой».

И чтобы она наверняка знала, что он отвечает на ее рассказ, что речь пойдет о том же чувстве, Чехов нарочно пересказал описанное ею состояние героев, переживших момент близости.

Фабула иная. Но положим рядом столь разные по сюжету, несоизмеримые по уровню мастерства рассказы. И возникнет живой разговор, похожий на те, что случались в их жизни и переписке. Или могли случиться...

Диалог продолжился. Он как никогда насыщен, ответ вплотную следует за вопросом, настигает его и сливается с ним. Два голоса звучат, перекликаясь...

Л. Авилова, «Последнее свидание»:

«— ...помните, каким вы были раньше? Еще тогда, когда вы не говорили мне о любви?.. Я глядела на вас, и мне хотелось смеяться от счастья, что такие люди живут на свете. В каждом вашем слове было столько ума, столько сердечности, отзывчивости и понимания людей. Я знала и слышала от других, что вы талантливы, благородны».

И там же: «Она верила в его превосходство, и она верила, что такие люди, как он, стыдятся любить ради одного наслаждения, ради одной прихоти. На каком основании она верила этому?»

А. П. Чехов, «Дама с собачкой»:

«Все это время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным: очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее».

Там же: «За что она полюбила его? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили».

Л. Авилова, «Последнее свидание»:

«Нет! Нет, вы все тот же. Но видите ли: если такие люди, как вы, не умеют любить...»

Там же: «...умоляю... На один только раз... оставьте этот тон, которым вы причиняете мне такую боль».

А. П. Чехов, «Дама с собачкой»:

«...он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины...»

...Л. Авилова, «Последнее свидание»:

«...если такие люди, как вы, не умеют любить... у кого, в чьей душе искать другой любви, о которой едва ли не в каждом женском сердце запала томительная и неясная тоска? Надо ли искать любви, Павел Аркадьевич?..»

А. П. Чехов, «Дама с собачкой»:

«Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень...»

Он отвечает на ее упрек «вы не умеете любить», и опять возникает слово т е н ь, уже соотнесенное с воспоминанием о ней в рассказе «О любви»: «...я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе».

Да он однажды уже отвечал ей на тот же вопрос, на те же сомнения — любит ли он?.. И снова отвечал почти теми же словами, не боясь повториться, потому что чувствовал теперь то же, что и тогда. «...чувствовал, что она моя, что она близка мне, что нам нельзя друг без друга» (А. П. Чехов, «О любви»).

«...любили друг друга как очень близкие родные люди, как муж и жена, как нежные друзья» (А. П. Чехов, «Дама с собачкой»).

Там же: «Он подошел к ней и взял за плечи, чтобы приласкать, пошутить...», но «в это время увидел себя в зеркале».

Отшутиться не удастся. Как не удалось еще в Ницце, когда он прочитал ее «Забутые письма» и как отзвук желаний пошутить возник сюжет в записной книжке. С той поры прошло два года.

Гуров хотел пошутить, но «в это время увидел себя в зеркале. Голова его уже начала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание...»

Прежний Гуров «успокаивал себя всякими рассуждениями». Этому, новому Гурову «не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание (слово повторено. — И. Г.)... хотелось быть искренним, нежным...».

Л. Авилова, «Последнее свидание»:

«...с тобой мне хочется быть искренней, искренней...»

Искренность, нежность, сострадание...

Антону Павловичу, как и герою его рассказа, около сорока. Авилова моложе на четыре года. И вот любопытная подробность. Говоря в «Даме с собачкой» о возрасте героини, Чехов пишет, что она «недавно еще была институткой, училась, все равно как теперь его дочь».

В другом месте о Гурове говорится, что он «почти вдвое старше ее». Выходит, что Анне Сергеевне немногим больше двадцати. Весьма неожиданно после этого признание героя, что, являясь в его воспоминаниях, Анна Сергеевна «казалась красивее, м о л о ж е, нежнее, чем была...».

Изменив в рассказе возраст героини, — как известно, Чехов прибежал к этому приему, стараясь избежать прямого сходства, — он не обнаружил это несоответствие, хотя правил корректуру четырежды. Не обнаружил потому, что писал о другой и перед глазами была та, другая, которой исполнилось тридцать пять.

Та, что прочтет этот рассказ-ответ и поймет, что он любил и еще любит ее, но что и он устал от бесплодных надежд и ожидания.

«Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда... было бы немислимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец, да она бы и не поверила этому» (А. П. Чехов, «Дама с собачкой»).

В своих мемуарах Лидия Алексеевна Авилова нигде не вспоминает об этих двух рассказах, завершивших диалог, длившийся в жизни и литературе. Ни разу не упомянут ею рассказ «Дама с собачкой». Сказав о нем, ей пришлось бы говорить и о своем рассказе «Последнее свидание». Вспоминать об этом она не хотела.

Как все же ее рассказ попал к Чехову? Не она ли сама послала ему? Или кто-то ему передал без ее ведома? И она справедливо полагала, что, прочитав рассказ, Антон

Павлович мог обидеться: ее Павел Аркадьевич весьма неприятен.

Не в этом ли винится она спустя пять лет, когда пишет Чехову:

«Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам, что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей.

И что я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло. И это было самое крупное горе моей жизни...»

Она прочла его ответ в этом грустном рассказе о возможности для двоих достижения счастья...

Рассказ о любви, которая — счастливая или несчастная — сама по себе уже есть благо.

Примирил ли ее ответ? Утешил ли?

Видимо, так.

Есть только одно — косвенное — свидетельство того, что Лидия Алексеевна, читая рассказ «Дама с собачкой», знала, что это о ней, о них.

В дневнике периода переработки ею воспоминаний о Чехове встречаем:

«И вот опять двойная жизнь: явная и тайная».

Из письма Г. В. Гзовской:

«г. Петропавловск-Камчатский.

...Лидия Алексеевна с внуком Мишей переехали на улицу Воровского. В этой комнате бабушка писала о Чехове. У нас сохранилась чернильница Лидии Алексеевны из толстого прозрачного стекла в форме сердца, с медной подставкой той же формы, на медных ножках. Я забыла Вам показать.

Мебель я тоже еще застала. Туалетный столик из красного дерева, комодик, шкаф для посуды и два кресла, обитых зеленым бархатом.

Все это мы с мужем по молодости заменили на современное...

У нас, на краю земли русской, камни (пока!) с неба не падают, а вот пепел несколько часов сыпался и покрыл весь снег — он после этого быстро стаял. Это извергался вулкан Алаид на Курильских островах, к югу от Камчатки, и тучу пепла принесло к нам.

У нас сейчас пора циклонов. Они зарождаются в Японии, проносятся над Курилами и обрушиваются

на нас. Зимой они приносят ветры, метели и пурги, весной и летом — дожди. Очень хороша здесь осень...

Когда приеду в Москву — приглашу Вас в гости, и будем пить чай (или кофе) из бабушкиных чашек и с ее серебром — сахарницей и вазочкой для печенья. Она их получила от родителей не то к рождению, не то к совершеннолетию. На них ее монограмма «Л. С.» — Лидия Стрехова.

Бабушка решила сохранить это, несмотря на все невзгоды, для Миши — и сохранила!

Уверена, что, когда Чехов приходил к ней, она его угощала из этого серебра. В общем, мы будем с Вами прикасаться к тем же предметам, что и они.

В этом что-то есть!!»

СОДЕРЖАНИЕ

Превращения (<i>Повесть воспоминаний</i>)	4
Переполненная чаша. <i>Рассказы</i>	
«Вчера он был у нас...» (<i>Вокруг одного письма</i>)	178
Цветы девицы Флоры...	206
Переполненная чаша	213
Двух голосов переключка	264

Инна Анатольевна Гофф

ПРЕВРАЩЕНИЯ

М., «Советский писатель», 1984 г., 280 стр.
План выпуска 1984 г. № 35

Редактор *А. А. Елшина*

Худож. редактор *Е. И. Балашева*

Техн. редактор *Ф. Г. Шапиро*

Корректоры *Л. М. Вайнер* и *Т. В. Малышева*

ИБ № 3904

Сдано в набор 09.01.84. Подписано к печати 23.07.84.
А 02506. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Литературная
гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 14,7. Уч.-изд.
л. 15,03. Тираж 30 000 экз. Заказ № 18. Цена 1 руб.
Издательство «Советский писатель», 121069, Москва,
ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграф-
прома при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600,
г. Тула, проспект Ленина, 109